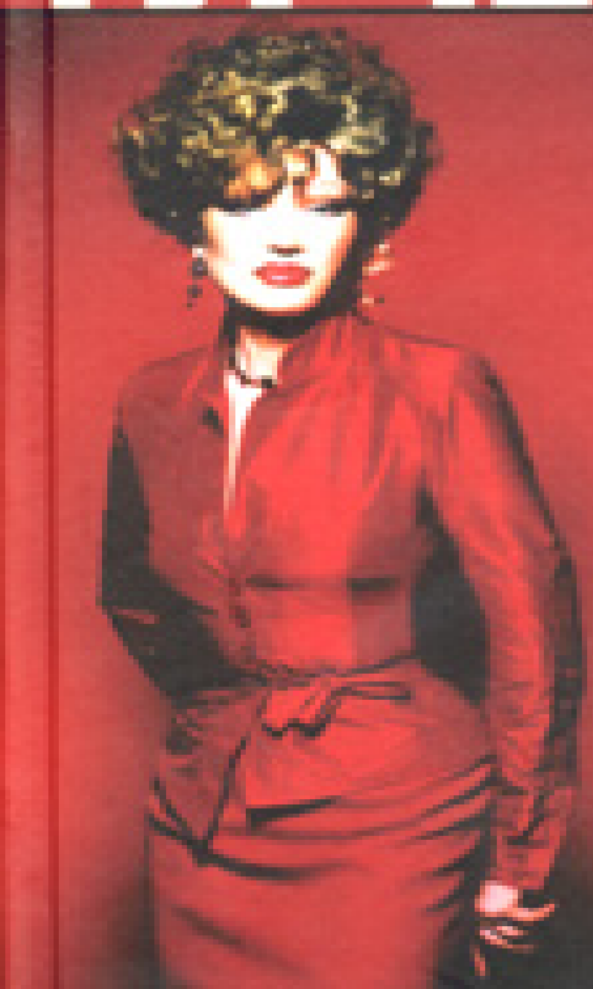
Людмила

ГУРЧЕНКО



Люся, стоп!

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга «Стоп, Люся» охватывает период с 1983 года по 2001 год и завершает мемуарную трилогию, в которую входят книги «Моё взрослое детство», «Аплодисменты». В своей последней книге актриса вспоминает о фильмах и спектаклях, в которых ей приходилось участвовать, о режиссёрах и актерах, с которыми ей довелось работать, о встречах с уникальными творческими людьми и музыкальной карьере, о взаимоотношениях с родными и близкими.

- Людмила Гурченко
  -
  - Глава первая. Сделайте ему минуту счастья!
  - Глава вторая. Урок
  - Глава третья. Золотой Орел
  - Глава четвертая. Sunny boy
  - Глава пятая. Прелюдия
  - Глава шестая. Белые хризантемы
  - Глава седьмая. Ю.В.
  - Глава восьмая. Клёво
  - Глава девятая. Я сегодня смеюсь...
  - Глава десятая. А хуху не хохо?
  - Глава одиннадцатая. Берия
  - Глава двенадцатая. Пойдемте в мое царство...
  - Глава тринадцая. Всё супер!
  - Глава четырнадцатая. Привет, Бродвей!
  - Глава пятнадцатая. Всему начало — случай
  - Глава шестнадцатая. Люди верят...
  - Глава семнадцатая. Марк
  - Глава восемнадцатая. Здравствуй, кляча!
  - Глава девятнадцатая. Пока...
  - Фильмография
  - Работа в театре
  - Дискография

Людмила Гурченко
Люся, стоп!

Новая жизнь. Новые ценности. Новые цены. Новые слова.

Популизм, плюрализм, менеджмент, электорат, консенсус, имидж, менталитет, инаугурация, стагнация, презентация…

Тут как-то несколько лет тому и у меня состоялась презентация компакт-дисков. Я отвечала на разные вопросы вперемежку с исполнением песен. Было много приятных слов.

А это очень-очень приятно, когда коллеги говорят приятное. Это бывает редко. И еще потому — ах, как приятно! Стою вся в «приятном», и чувствую, что вот-вот начну «млеть». А тут уже и завершающая часть презентации подоспела. Когда и выпили, и закусили. Когда не сиделось за своими столами. Когда все смешались и сгруппировались по интересам.

И вот, когда кончились приятные светские речи, подходит ко мне здорово поднабравшийся музыкальный редактор одного из центральных каналов ТВ с рюмкой в руке и, покачивая головой, говорит:

«Я даввно Ввам ххотел сазать… Ввас ведзь ниикто не любт… (Долгая пауза. У меня быстро сформировался желтый шарик желчи: Люся, стоп!) Кромь на-ро-да». Спокойно. «Пролетело, не заметили». А теперь быстро улыбнись и пожми ему руку, как самому искреннему другу.

Так я и сделала. Молодец, Люся!

Дорогой мой народ! Дорогие зрители. Зрители-читатели. Я живу и работаю для вас. Когда я в кадре, я предощущаю, как вы улыбнетесь или заплачете, глядя на экран. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты — это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев, как наркотик, как водка, как адреналин! Много небылиц, сплетен… Лучше я сама напишу. И все, что здесь прочтете, — это для вас. Только для вас.

Глава первая. Сделайте ему минуту счастья!

Это когда же мы с вами расстались? Когда начались съемки «Любовь и голуби»? Где-то сразу после «Рецепта ее молодости». Ну да, летом тысяча девятьсот восемьдесят третьего года. Давненько. Ого, как давненько.

«О, сколько нам событий трудных…» с тех пор пришлось пережить и в душе, и в работе, и в жизни страны, и в жизни личной. Это же еще до великой перестройки? Сейчас 2001 год. И иногда как включишь ТВ — а «Любовь и голуби» тут как тут: «Фух ты, ёшкин кот!» — родной голос Васи (Саши Михайлова). Или: «Людк! А Людк! Смотри, это же она!» — особая интонация актрисы Нины Дорошиной. А наутро вывожу собаку, а за спиной: «Людк, а Людк!» — и смешок. Добрый смешок. Тот, что надо. Да я и сама всегда смеюсь. И не надоедает. Редкая картина. Народная комедия.

Режиссер Владимир Меньшов, пока не доведет партитуру фильма до абсолютной чистоты, где не фальшивит ни один инструмент, мучает нас, себя. Порой в первый же съемочный день очень трудно встроиться в середину картины, в самый разгар отношений. Это не театр. И надо быть готовым в первом же кадре играть смерть-финал, еще не сыграв ни одного кадра начала или середины роли. Просто уходит натура. Или у дирекции фильма график съемок так составлен. Разные причины. Редко когда в картине все сцены снимались по порядку.

И вот первый кадр (это середина моей роли), — мы с Васей выходим из бара вдребезги пьяные и поем на весь пляж «Надежду». Раз дубль — не то. Два — еще больше не то. И все не то, не то, не то. Притихли мы с Михайловым. С ним еще едва знакомы. Живьем видим друг друга впервые.

Вокруг стоят любопытные отдыхающие. Они разочарованы, — что тут такого трудного? Прикинуться пьяным, пошататься и спеть…

Меньшов как ненормальный бегает по гальке, не чувствуя, что брюки по колено мокрые. А потом упал на гальку: «Это я, это я виноват! Ничего не могу придумать! Я, я, я ви-но-ват!»

Тут нужен абзац. Я снималась до этого много. Но чтобы режиссер вот так, открыто, кричал о своей беспомощности… Нет, не помню. Вот что-то из: «Ну-ка, артисты, еще раз», «ну, еще как-нибудь», «ну, вы же артисты!», «артисты, и не можете сыграть элементарного!», «милые, а за что ж вам деньги платят?»,

«слушайте, чему же вас там учили?» — вот это артистам хорошо знакомо. Есть и другие режиссеры. Но к ним надо попасть. А такое нечасто.

Меньшов полежал-полежал на гальке, посмотрел-посмотрел в небо и как вскочит, как затанцует, как захохочет: «Нашел! Нашел! Понял! Есть! Сюда!» Рабочие быстренько взбили кучу гальки. И я, пьяненькая, по этой гальке, из положения «стоя» сразу в положение «лежа» — шлеп! И вместе с текстом съезжаю прямо в крупный план: «Какие звезды на небе…» Неожиданно и смешно. А главное, «лежа» — оно ведь ближе к «любви».

Рано утром сижу на гриме. Входит Меньшов с магнитофоном. Всю гостиничную гримерную — маленький номер гримерши — заливает жгучее танго. С самого утра запахло морем, знойным солнцем, хмельным баром и грешной любовью. На голове у меня рождается модная прическа первой леди райцентра.

— Та-ак, — говорит Меньшов, — он ее раздел! Положил на стол! И голыми руками… там ей что-то раздвинул… «Не больно?» — «Нет, очень хорошо».

У гримерши расческа замерла в руке. Вот оно что… Какая жизнь пошла в группе! Как интересно… Это же только начало картины… Что будет, что будет… О-о-о!!!!

— Он вынул все внутренности — и в таз!

Боже мой, как она вздрогнула! Металлическая расческа со звоном упала на пол. А Меньшов, чувствуя такую реакцию, продолжил с еще большим подъемом. Этой сцены в сценарии не было. Он ее написал ночью. Потом, как только стало понятно, что это сцена для картины, лицо у женщины сразу стало будничным. Она подняла расческу и продолжила достраивать на моей голове халу. Глаза ее мгновенно потухли. Интерес пропал. Это я бы тоже с удовольствием сыграла. Я очень люблю финал этой сцены, когда герой, ошарашенный новшествами филиппинской медицины, спрашивает у меня, то есть у Раисы Захаровны: «Ну и как эта баба? Жива?» — Ого, еще как жива! Правда… не узнает никого.

Цитируют картину повсюду. 8 марта в «России» я принимала участие в шоу у Валентина Юдашкина. Готовлюсь к своему номеру и слышу в толпе артистов: «А ты помнишь: «Людк, а Людк! Сучка ты крашеная». Все дружно засмеялись.

Ну, думаю, я не я, если сейчас не доиграю. Не поленилась, спустилась с подиума, который начинался за кулисами, подошла к веселой компании и доиграла: «Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!» Ну, какая была бурная реакция! Нас даже к порядку призвали. Это были ребята из «Икс миссии».

На съемке я тоже не могла удержаться от смеха. Нет, ну

правда, — то, что сучка, ей не обидно, а вот что крашеная… Как это чисто по-женски.

Картина закончена. Роли озвучены. Артисты уже не нужны. Идет монтаж. А тут вышел закон о запрете алкоголя. Срочно стали вырубать виноградники от Грузии до Молдавии. Люди по домам взялись гнать самогон. Исчез сахар. Исчез одеколон. Из аптек пропали лекарства, в которых есть хоть капля спирта. Ну а в кино, естественно, пошла «вырубка» сцен, где хоть малейший намек на «вздрогнем».

А у нас, в «Голубях», ого сколько таких «вздрогнем»! Я увидела на студии Меньшова с лицом черного цвета, с затравленными глазами. Он всем доказывал, что это комедия, что это несерьезно, что нет там никакой агитации в пользу алкоголя… «Вырезать! Ну не могу, не могу я вырезать! Режьте меня! Меня режьте!»

Не дай бог быть режиссером! Если только этим заниматься, если только этим жить, надо иметь колоссальное здоровье и металлические нервы. А терпение? Терпение!!! Талант же, вкус, слух, музыкальность — это атрибутика. Это аксиома. Это как само собой. Меньшов человек сложный. Зажжется и погаснет. И сразу пустой и неинтересный. Вдруг позвонит ночью, возбужденный, говорит, что только что показывал американцам наши сцены с Михайловым, — а сам хохочет, доволен, говорит мне, что я роль «вышиваю». Это приятно слышать. А через неделю может пройти мимо и не поздороваться. По-человечески он мне не близок.

Съемки «Голубей» были уже в разгаре, а на мою роль еще никого не утвердили. И вдруг (все то же кинематографическое «а вдруг») я получаю телеграмму из Медвежьегорска. Режиссер Меньшов поздравляет меня со званием народной артистки СССР. И такие слова замечательные в мой адрес. Телеграмма большая. Денег не пожалели. Короче, предлагает мне, не читая сценария, приехать в Медвежьегорск. Там он мне все расскажет про роль подробнее и интереснее. Я только что закончила музыкальный фильм «Рецепт ее молодости».

Роль трехсотлетней актрисы в шляпках и перьях. А что? Нырну-ка я в другую атмосферу. Чем черт не шутит? «А вдруг?»

> «Давай, дочурка, уперед, дуй свое. Риск — благороднае дела».

Собрала манатки и поехала. Снимали сцену героини фильма с ее детьми. Меньшов чем-то был недоволен, хотя актеры играли легко и азартно. Мне понравилось. Может, я, свежий человек, еще не в атмосфере? Режиссеру сказали, что я уже приехала, что я на

площадке. И я за спиной слышу голос: «Вы уже так много всего наиграли… Я даже не знаю, что Вы еще можете». Та-ак. Приехали. Ни привет, ни здрасте. Люся, стоп! Вспомни, у тебя был опыт у Германа в «Двадцати днях без войны». Такое же печальное начало. Потому молчи и жди, что будет. Промолчала. Первый раунд выиграла. Приняла удар.

Что дальше? Значит… Никаких иллюзий. Забыть слова из телеграфного бланка. Знай о себе голую правду. Что у трезвого на уме, то у пьяного… Меньшов был навеселе. Вы удивитесь? Актер, пришедший на пробу и даже на первый съемочный день, — это всегда поединок. Доказывать, доказывать, быть все время под вопросительным знаком. Как бы режиссер ни хотел, ни решил, что будет снимать только тебя, — это всегда бой. Пока не увидит первые сцены на экране.

Досадно. Зачем приехала? Что за дурацкий кинематографический азарт? Это идиотское «а вдруг». Спокойно. А сколько раз влетала в кадр без подготовки, в своем собственном костюме. Да с самой той первой веселой картины так. Это уже потом, у очень тонких и умных, работала на полном доверии, без проб. Черт бы их побрал, эти пробы! Иногда смотрю на себя — ну нет, нигде нет ни одного живого места, чтобы пробу поставить… Вся в пробах. Терпим. В таких случаях важен результат.

…А через две недели съемки пошли весело и легко. Меньшов опять был увлечен. Много сочинял, сам смешно показывал, хохотал. И ему почти нравилось то, что я делала в кадре.

Еду в поезде на гастроли. Утром весь вагон выстраивается в туалет. Ну и я тоже. Что я — не человек. Народу много. Подожду. Но уже ясно, что весь вагон в курсе, что я здесь. А мой противный глаз сразу замечает человека, который тут же напрягся, подобрал живот и широко улыбнулся. Он-то уж точно меня не отпустит без… — еще не знаю чего — автографа или, не дай бог, фотографии дуэтом на фоне туалета. Ну, пора вылезать из купе на свет Божий. «Мой человек» стоит, ждет. Деваться некуда. Иду.

— Товарищ Гурченко, я Вас жду.

— Я вижу.

— Значит, так. Докладываю. Я капитан дальнего плавания. У меня есть один грех. Могу запить. Когда по полгода в море… сами понимаете. Но команда меня уважает. Они ждут сколько надо, а потом ставят мне «Любовь и голуби» — помните, где Вы с Васей на юге? — И тихо зашептал: — Каюсь, у меня тоже такое было! Ужас! — И опять громко: — Товарищ Гурченко, Людочка, дорогая! Все, что хотите, — шампанское, коньяк, цветы, шоколад! Умоляю, — как Вы там говорите? Людк, а Людк… Скажите!

— Так Вы наизусть уже все знаете.

— Ну что Вы, Людочка, то кино, а тут — Вы! Живая! Бог ты мой, вот же удача! Всё! Все, что хотите! Ну что Вам стоит? Ну, Людочка! Сделайте моряку-командиру, который годами не видит родных берегов, сделайте ему минуту счастья! Он этой минуты никогда не забудет!

Вот она, моя любимая профессия. Восемь утра. Лицо утреннее, несчастное. И вот сейчас я должна забыть, что я просто слабый человек, что я тоже хочу в туалет. Будь любезна в одночасье, в одноминутье сумей себя встряхнуть, «перевоплотиться» и сыграть ярко и весело, громко и артистично. Та-ак… копятся слезы обиды на судьбу, на серость за окном. А желтый шарик желчи подпрыгнет к горлу и откатится, подпрыгнет и откатится. Слава богу, не взорвался. Не надо. Уйдут силы, энергия. Они нужны для вечернего концерта. Краем глаза замечаю, как из всех купе за нами следят пассажиры. И в восемь утра, около туалета я, в полный голос и в удовольствие, кричу: «Девочки! Уберите свою мать! Ах ты, зараза… Людк! А Людк! Де-ре-вня!!!» Аплодисменты. Повлажневшие и удовлетворенные глаза капитана.

Молодец, Людмилка. Победила себя. Всегда бы так. А то приходят за кулисы мои давние поклонники со взрослыми детьми и внуками. И, прикрывая ротики с зубками через один: «Ой, мы Вас так любим, мы были еще подростками, когда вышла Ваша картина про пять минут. Помните, Вы там с белой муфточкой?»

Мне ли забыть ту белую муфточку? Как же врезался всем в память тот мой жизнерадостный облик. А рядом со мной стоит молодой муж. И я — хоть умри, — но должна быть веселой, молодой и с тонкой талией. Когда-то одна пятидесятилетняя актриса говорила нам, молодым, только начинающим (мы жили с ней в одном гостиничном номере): «Ох, девочки, я с вами целый день хохочу, бегаю на каблуках, а ночью, вы уж извините меня, ночью я храплю, пукаю…» Ночью я, говорят, не храплю, но, наверное…

Почему я не увильнула в то утро, не придумала причину, бросив пару резких слов тому капитану с его предложением в восемь утра? Я об этом думала. Видимо, он на меня смотрел, не замечая, что я «утренняя», в халатике, с полотенцем и зубной щеткой в руках. С виду я была как все пассажиры. А он смотрел на меня как на царицу. Он чувствовал, был уверен, что сию минуту он увидит именно то, что хотел, о чем очень-очень искренне просил. Он желал этой минуты счастья. И он ее получил.

Это самые интересные зрители. Они видят во мне не платье, грим, прическу, шляпку. Они не оценивают меня — сколько я

«стою». Интересно, впервые я о такой «стоимости» услышала в Нью-Йорке. Мои московские знакомые говорили между собой, глядя на свою знакомую из Одессы: «Она тянет на семьсот». — «Ошибаешься, здесь все девятьсот». — «Подумаешь, на двести ошиблась». Мне не хотелось бы, чтобы я «тянула» внешними атрибутами. Пусть «тянет» то, что я умею делать.

А про капитана это еще не конец. Вечером в концерте чувствую какую-то особую, небудничную атмосферу в зале. Ну, это как в советские времена, когда идет заседание, но все знают, что скоро вынесут знамена, заиграет горн, потом марш… И что? В первом ряду я вижу капитана в парадном, со множеством медалей и значков. Рядом с ним очень хорошенькая пухленькая женщина, видно жена. И сразу вспоминаю его шепот насчет греха на юге. Вот интересно, на кого же он ее тогда променял? Такая прелестная молодая женщина… Ах вы, мужчины-чертяки! Кто вас поймет? И что вам надо?

Рассказываю в концерте об утреннем эпизоде в поезде. Играю все в лицах. Зал очень хорошо реагирует. Представляю залу капитана. И началось! Капитан торжественно встал, поклонился залу, хлопнул в ладоши, и из двух противоположных выходов стройным шагом пошли матросы с ящиками коньяка, шампанского, цветами и коробками конфет.

Зал ахнул. Стою среди этого добра, кланяюсь, благодарю. А еще только треть концерта… А как перевести на серьез? А как двигаться среди ящиков? Нет, никаких пауз. Пусть все будет так. Перепрыгивала через ящики, под аплодисменты веселых зрителей. Успех был, чего уж… Но героем вечера стал капитан. У него тоже брали автографы. Вот тебе и «Людк!».

Глава вторая. Урок

1983 год. Последний год, когда казалось, что вот, наконец, наступило небывалое, душевное «перемирие», долгожданное прекрасное затишье. Как долго я его ждала. Достигнут желанный успех и покой. И весь мой подуставший организм, и душевное равновесие сигналили: мгновенье, остановись! Это твой личный рекорд. Не о нем ли ты втайне мечтала, хотя и говорила: нет у меня «мечт», ни о чем не мечтаю. Лукавишь. Разве не приятно, что зрители цитируют «Голуби»? А! Приятно. А «Вокзал» как отшумел! И шумит. И как по душе пришелся людям. Конечно, очень, очень приятно.

> «Людочка! Пишу Вам из мест не столь отдаленных. Я бугор. Меня все боятся и, конечно, уважают, уж Вы поверьте, есть за что. Недавно зашел в библиотеку, взял журнальчик, где Вы на обложке в красном. На шейке у вас фуфло, а вот в ушках вещица стоящая, верьте, я в этом разбираюсь. За это и получил свое. Короче, я в этом профи. Ну что ж, думаю, сидеть мне осталось девять месяцев. Решил, как выйду, первую, кого очищу, это Вас. А тут завезли к нам Ваш фильм «Вокзал для двоих». Смотрел я его два сеанса подряд, ночью не спал. Все разглядывал Ваш портретик, вспоминал картину и думал о Вас. Кровью, кровью и потом зарабатываете себе на жизнь, честно, как говорится, живете. И вот что я решил, — живите спокойно. И всем своим наказал, чтобы порог Вашего дома не переступали.
>
> Уважающий Вас и Ваш труд Леонид».

Ну! Что вы скажете? Разве это не признание народа, пусть даже не совсем ординарное? Приятно? Конечно. Ну так живи и радуйся. А часовой механизм, скрытый в мозгу, подает сигнал, чуть слышный толчок в сердце: «Ой, слишком все хорошо. Ой, что-то не так. Так хорошо, как просто быть не может. Люся, прислушайся!» Наверное, где-то тут прячутся сложности моего устройства. Еще нигде нет видимых туч, ничего такого материального, что можно было бы потрогать, а изнутри уже тихенько пролезают знакомые колючки.

Вдруг по ночам просыпалась в предощущении мрачных прогнозов. Эти мраки прежде отступали, если не могли затуманить вдруг взорвавшуюся атмосферу света и радости. Не важно от чего — от влюбленности или от встречи с интересной

ролью. А тут — не пойму. Тык-мык — и не справляюсь. Люся, все хорошо. Все на местах. Успокойся. Нет! Да что же это такое?

Вот так сижу в царстве сомнений и думаю, перемалываю, где что не так сделала, не так сказала. Многое припоминаю, многим недовольна, многое передислоцирую. Успех? Ну и что? Он еще жестче подчеркивает твое одиночество. Пройдет совсем немного времени, уйдут милые слова, охи и ахи, и получишь: «Перестаньте, она кончилась. Ничего нового не увидим». Нормально. Успеха не прощают. Надо умирать вовремя. Это уже проверено. А что самое поразительное — порой успеха не прощают самые близкие и родные. «Ах, если бы не я, она бы ничего не добилась», «ну, мой вклад здесь тоже есть». Если это семья, то можно ли так разбирать все? Теперь я думаю, что все меня больше любили и жалели, когда я столько лет не снималась. Приятно, оказывается, жалеть и даже высоко оценивать человека, над которым долго висят темные тучи. У него нет успеха. Он безвреден. Он как все.

Недавно мне позвонила моя харьковская подруга Любочка Рабинович. «Ты знаешь, что нужно, чтобы жить спокойно?» — «Нет, Любочка, не знаю». — «Три «Б». — «Ого! Ну, одно «Б» я понимаю. А что такое три?» — «Надо быть Бедной, Больной и Бездарной».

Так вот сидишь во мраке, и наступает полная расцентровка, когда под ногами исчезают старые, протоптанные дорожки. А новые не появляются. О, как становится неуютно, как страшно впасть в панику, стать жертвой собственного психического срыва. И он стал ко мне подкрадываться. Со стороны он непонятен, неуловим. Все происходит глубоко внутри души. Вдруг все замирает. Ничего нет. Ни стука сердца, ни дыхания, ни бульканья в животе. А потом шук-шук, шук-шук… Кто это? Да это я, твоя душа. Она подает свои тревожные сигналы. И объяснить никому нельзя. И слов таких нет.

Это предчувствие чего-то мрачного, ощущение внутреннего раздрызга пришлось на фильм «Аплодисменты, аплодисменты». Сценарий назывался «Актриса прошлых лет». Автор — Виктор Мережко. До этого я снималась по его сценариям в небольших ролях в фильмах Виктора Трегубовича «Уходя — уходи» и Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву». Мережко как-то сказал, что напишет для меня сценарий. И свое обещание выполнил. Героиня фильма — актриса. Эта актриса пробует доказать режиссеру, что только она должна сыграть главную роль.

Она много знает о женщине, которую хочет сыграть. Она ее чувствует. Это ее роль. В сценарии Мережко много интересных эпизодов, но о самой же женщине (что она? кто она?), о ее

биографии и почему моя героиня знает и чувствует ее, ничего не было. И непонятно, в чем же преимущество моей героини перед другими претендентками на главную роль. Режиссер Виктор Бутурлин приходил, рассказывал, как он видит картину, как будет снимать. Я кивала. Изо всех сил встраивала себя в сценарий. Режиссер уходил. Потом звонил: «Ну, работаем?» — «Нет, не сходится. У меня ничего не склеивается. — Боже мой, какие слова: «не склеивается», — что за глупость. Ведь сценарий написан специально для меня. Уже ответственность. — Понимаете, я тут не нужна. Эту роль прекрасно сыграет любая хорошая драматическая актриса».

Еще и еще раз встречались. И расходились ни с чем. Потом стало тихо.

«Што Бог ни делаить, дочурка, усе к лучиму».

Мне встречались режиссеры, которые ярко и завораживающе могли рассказать будущий фильм. Да так, что сразу видишь его, влюбляешься в предстоящую работу и летишь на крыльях. Как-то, еще «на заре туманной юности», я снималась в одном из фильмов для ТВ. О, как режиссер фантазировал! «Тут он (герой) летит по старинной аллее с колоннами, увитыми плющом, а за ним погоня! Монахи с огромными породистыми собаками! Он еще быстрее, они нагонят его вот-вот. Он оглянулся — и бабах о колонну лбом! Колонна вдребезги! Мы уже заказали такую. Да! От такого удара земля провалилась, и его нет! Нет. Только что был, и нет. А? Провалился! Исчез! Совершенно! А монахи с собаками шусть-шусть, шусть-шусть…» И сам режиссер хохочет, и я хохочу! Во попала в какую веселую картину. Мне двадцать два, сил много, хохотать хочется. Счастье, и все тут. Нет, ну ей-богу — лбом разбить каменную старинную колонну. Ничего себе! Смотрю готовую картину. Ни колонны. Ни плюща. Ни аллеи. Ни породистых собак. Нет ничего. Не получилось. Многого на экране не получилось.

Иногда слушаю красочные рассказы, а сама просеиваю через свой горький опыт: это случится, а это чистый вымысел, несбыточные видения и фантазии. Остается то, что возможно, что реально. Компьютерная графика и новая техника в наше кино только стучатся.

И опять звонок в дверь. «Мы разговаривали с актрисой, которую вы предложили, но эта роль только ваша. Только вы, только вы. Будем менять, переписывать». Будем, будем, будем…

Встречались у Мережко. Обсуждали, рисовали, фантазировали. А не зазналась ли я? Вот сценарий для меня. Молодой режиссер. У него первая картина. Говорят, что у него

талант, прекрасная дипломная работа. А я капризная «совковая» звезда. И я сдалась. Сдалась в полном, полнейшем сознании того, что делаю большую ошибку. И к сожалению, так и случилось. Работа оказалась мучительнейшей.

Иногда актера важно заполучить, а там мы его…

Мой учитель, Сергей Герасимов, говорил: «Актер это соавтор. Режиссер и актер это диалог, это наивысшая степень взаимопонимания. И тогда вы все это увидите на экране. Обязательно». Я смотрела на Сергея Аполлинарьевича с восторженным недоумением. Я жутко боялась режиссеров. Еще бы! Идешь по «Мосфильму», а навстречу Пырьев, Райзман, Александров, Ромм… Режиссер. Это бог! Маг! Кудесник! Какой там «диалог»! Страшно подумать…

Но вот, пройдя большой путь, сыграв столько ролей, я могу сказать — да, я несколько раз ощущала себя соавтором, и были прекрасные диалоги и взаимопонимание. И действительно все это видно на экране. Но жизнь летит. Надо работать. Надо быть в боевой форме. Надо получать зарплату. Естественно, неизбежны и другие встречи. И их, к сожалению, большинство. Ну, как это частенько бывает? Говорит режиссер что-то понятное только ему одному. Актеры бывалые, профи. Договариваются между собой. Главное выяснить у оператора траекторию мизансцены и свет. Мотор, — и поехали. Всякое бывало.

Ладно. Обещали: будем, будем, будем? Что ж: давайте, давайте, давайте. На экране появились сцены, которых не было в сценарии. На ходу, в импровизациях рождалась биография роли, которой так добивалась моя героиня. Пришлось вспомнить мою молодую маму и заговорить ее языком и оживить такие узнаваемые детали военной и послевоенной жизни. Страстные монологи режиссера в блестящем исполнении Олега Табакова. Он прямо в кадре вынимал из памяти такое свое личное, что никогда подобного не сочинишь. Виктор Бутурлин был в сложном положении. Он метался между Мережко и тем, что было на экране. Мы начинали съемку с того, что больше ничего не будем придумывать. Хорошо. Не будем. После съемки режиссер считал, что придумывать надо еще многое. Мережко как-то сказал: «Да, не всегда получается хороший сценарий. Да, этот сценарий неудачный». Жаль, что так поздно сказал. Не было бы столько потерь сил, нервов, полугода жизни.

Я вылезла из собственной шкуры. Не спала ночей, проклинала себя за слабость. Понимала, что проваливаюсь, что где-то сковырнусь, а может быть, даже заболею. Выходных у меня не было. Или репетиции танцевальные. Или поиски композитора, а потом репетиции с ним. Или поиски текстов. Горы стихов

перевернула, пока не нашла стихи Расула Гамзатова «Пять минут тому назад». И т.д. и т.п.

А к концу съемок Мережко на худсовете «Ленфильма» отказывался от своей фамилии в титрах. Со мной половина студии разговаривала через губу. А до этого ко мне относились тепло и уважительно.

«Актриса прошлых лет». Каких лет? Прошлых. Но каких? Тридцатых, сороковых? Или прошлого века? Об этом спрашивали артисты массовки. В группе объявили конкурс, — кто придумает название картины. Я безвольно уступила просьбе Бутурлина назвать картину «Аплодисменты, аплодисменты». В то время я как раз дописывала книгу под этим названием. Мне было все равно. Лишь бы вылезти из картины живой. Лишь бы вылезти!..

К концу съемок я иногда плелась в гостиницу пешком. Можно долго идти по Кировскому мосту. Внизу Нева. Тихо-тихо. Я одна. Только редкие такси. Стою на мосту и долго-долго смотрю на суровую воду. И никаких желаний или каких-нибудь виртуозных придумок! Придумки, отпустите меня! Всю жизнь я у вас в рабстве. Больше не хочу! Хочу спать, спать, спать. А спать не могу. Все проверчиваю, все переигрываю, все перемалываю. То так, то сяк. Уже и светает, а его, желанного сна, все нет и нет.

Меня стала преследовать мысль о том, что я уже никогда не засну. Снотворное действует первые полтора часа, но сквозь сладкую дрему я слышу голоса, вижу груду костюмов, бутерброды с чаем в термосе и сценарий, черканный-перечерканный. Бежать, бежать, бежать из картины. Быстренько, тяп-ляп — и привет! Да? Ха-ха! И я, как безнадежный параноик, еще глубже и глубже влезала в роль. А может быть, нужно было довести до конца свое видение? Не знаю. Ничего не знаю. Знаю теперь, что худшее в жизни — потеря здоровья. Остальное не имеет значения. Я всегда сильна задним умом. Он у меня в порядке.

И конечно, я загремела в больницу. Внутри что-то здорово разладилось. Поем — больно. Не ем — легче. Значит, не язва. Слава богу. Поразительно, что фактор здоровья резко дал о себе знать именно к концу картины, к озвучанию. Я все выжидала, что слабость и боли пройдут, но они только усиливались. «Ну, наконец-то!» — прошипела судьба и с наслаждением щелкнула меня по носу. «Дорогая, пошла вон!» Вызов брошен. И, съежившись от такой моей наглости, она, голубушка, попятилась. Я стала выздоравливать. То-то же.

Но с того, 1984 года, с тех «Аплодисментов» я на всю оставшуюся жизнь поклялась себе всегда делать только свое актерское дело. Как точно определил Шура Ширвиндт — играть «свой отсек». А значит что? Видишь промашки, — отвернись, не

заметь, молчи. И нервы сбережешь. И отношений не испортишь. И всем хорошо. И всем приятно. В титрах все фамилии остались. Но когда Мережко по телевидению рассказывал о своем творчестве, «Аплодисменты» он не называл. Ну что ж, так мне и надо. Урок. Хороший урок.

Но вот же парадокс. За рубежом картина имела настоящий большой успех. Купили ее очень многие страны. Несколько фестивалей, тогда еще советских фильмов, открывались «Аплодисментами». Были непростые интересные пресс-конференции. Почему мы не знаем эту актрису? Почему-почему? Да потому, что мы жили в отдельно взятой стране. А у нас все свое. Отдельное. Не как у всех. Режиссер жаловался, что я ему мешала работать. Он прав. Люся, молчи.

А что спасало? Дом! Я знала, что вот доберусь до номера, и тут же, еще с порога, телефон — звонок из дома. Дом! Домой! Как много сказано, спето и написано о родном доме. И все равно — у каждого свой дом. У меня свой. Он особый. С самого детства.

> «Усе у кучичке, уся тройка, и дочурочка моя дорогенькая, и мама дочурки, и главный папусик, Марк Гаврилович Гурченко».

Разве я могу забыть эти слова, эту интонацию, эти сильные руки, эту улыбку, доброту и такую веру в свою дочурку? Ах, да что теперь…

Что такое семья, я знаю с детства. И никогда не меняла и не перестраивала своего сознания и понимания семьи.

Ушел папа. И чтобы я совсем не тронулась, Бог послал, в чем я была абсолютно уверена, милого и доброго человека. И с того памятного 1973 года он был всегда рядом, он понимал, умел выслушать и поддержать. А это главное. Без этой поддержки, тепла и внимания любой женщине, а актрисе тем паче, — эх как несладко! Сейчас поговорили. Завтра Костя приедет. Вот и спускается на меня желанный сладкий сон. Ах, как хорошо!

Последние мои мысли о доме. Как я хочу домой, в семью. Но я еще не знаю, что мой сон и моя семья вскоре рассыплются в прах. А пока спи, Люся. Спи пока… Всему свое время.

> «Береги нервы, дочурка. Типерь они тибе вокурат нужны позарез».

Наступил 1985 год. Год тотальных изменений и перемен.

Глава третья. Золотой Орел

Перестройка! Перестройка! Перестройка! Ура! А что это такое? А бог его знает. Главное, что все будет по-новому. Все? Все! Вот здорово! Вот интересно! Вот жизнь! Она будет как во всех цивилизованных странах. Смотрите, наш вождь говорит без бумажки. Говорит четко и быстро. И так говорить может и час, и два. Да сколько надо. Не чудо ли? «Начни с себя» — вот лозунг. И все стали перестраиваться.

Все мне в этой новой жизни импонировало. Моя душа наполнилась новыми чувствами, мыслями, образами. Меня охватил необыкновенный порыв жизни. Жизни, которая бурлила и клокотала, несмотря ни на какие злосчастные миги и моменты. Несмотря на подкрадывающийся возраст. Жизни, похожей на лихорадку. Жизни переменчивой и изменчивой, как поведение капризной строптивой красавицы. Я дожила, дожила! Дыши, смотри, ходи, ничего не пропускай.

Вон, смотри, Борис Ельцин идет по коридору обувной фабрики. Его сопровождает счастливая директор. Вот он берет детскую кроссовку, мнет ее своими ручищами: «Ну, и это, вы говорите, лучше, чем «Adidas»? Бросил тапку и пошел, оставив директоршу, годами привыкшую верить, что «советское — значит лучшее», в полнейшем недоумении. Ой, что делать, как жить — говорило ее лицо. Фантастическая метаморфоза за одну минуту. «Да, товарищи, эта перестройка посложнее, а может быть и пострашнее, чем революция семнадцатого». Какой красивый, роскошный человек. Богатырь. Царь. Но куда руку поднял? Ого, размах! Революцию побоку? Э, голубчик, сидеть тебе в Бутырке, не сегодня, так завтра. Прошло завтра. Прошло послезавтра. Неужели же правда у нас демократия и свобода?

А на Ленинском, а на проспекте Мира стоят фуры с овощами и фруктами. Все свежайшее, прямо из Грузии, Украины, Армении, Азербайджана. Кончились очереди. Все стоит совсем недорого. Слава Богу. О Нем, о Боге, тоже вспомнили. Только еще вчера одному очень талантливому режиссеру предлагали вступить в партию — это весомо, солидно. За рубеж — пожалуйста. И любую картину легко можно будет запустить. «Что вы, я не могу. Я же верующий». — «Да вы что? Какой ужас. Пожалуйста, никому не говорите о нашем разговоре». А теперь вчера партийный сейчас стоит со свечкой в церкви. И лицо просветлевшее, обновленное, как будто никогда и не было партии, единой и нерушимой.

Кооперативы, приватизация, налоги, забастовки, многопартийность, курс доллара — все как у людей. А выборы?

Выбирай, кого хош, фамилий много. Задавай любой вопрос, да ради бога. Давайте, давайте вопросики, вопросики.

Как будто пружина прошлого грандиозного организма, заведенная до определенного предела тиканья, вдруг растикалась, разболталась и выдохлась. А пятый съезд, первый перестроечный съезд, работников кино? Какие речи! Какие смелые, рисковые мысли! Все это существовало, копилось и только ждало революционного момента. Впервые вовсю зазвучало местоимение «я». «Я говорю», «Я уверен», «Я утверждаю». От непривычки аж в висках стучало. Уничтожали, предавали анафеме вчерашние таланты. А я сижу и слышу голос Сергея Мартинсона из фильма «Антон Иванович сердится». Там он играет роль композитора-новатора. «Что? Бах? К черту! Моцарта и Бетховена туда же, туда же. На помойку, на помойку». Многих отправили на помойку. Никита Михалков был как «один в поле воин». Сумел защитить известные имена. А главное, сумел быть верным. В той жаркой обстановке это был подвиг.

Что ж? Буду жить по-новому, по-другому, не отрываясь и не предавая лучшее во вчерашнем. Где-то в этом направлении бродила моя позиция.

Иногда я всю свою жизнь в профессии перелопачиваю и ясно вижу, что я появилась в ней, когда обязательной была только положительная система ориентиров. Какие бы ни были ураганы, сквозь них должны прорываться светлое и оптимистичное. Потому сквозь все эти коловращения буду играть, как кричит внутри, но прорываться к свету. Обязательно. Но… Опять «но». Такие зигзаги жизни. Одно намечаешь, другое диктует обстановка. Вроде я такими тяжкими путями пришла к достойному месту в профессии. И — враз! — во вчерашнем дне. Во «вчерашних». Отодвинута в сторону. Отодвинулась легко, без борьбы, без протеста. Зачем? Кто тебя услышит, когда вокруг все бурлит и пенится? Ну что ж, отправлюсь на полочку. На новую, перестроечную полочку. Как-то оно там? В дни кинематографического съезда шел по ТВ фильм «Претендент». В нем я снялась в небольшой роли. Я кожей чувствовала кривую усмешку: «Эх вы, претенденты вчерашнего дня. У нас такое будет! Мир перевернем!» Да я и сама этого хотела. Ждала и жаждала. А может, мы все перелопатим по-своему? Чем-то своим, доселе задушенным. Заставим мир смотреть и слушать нас! Я в это верила.

А тут и рядом, в доме, появились перестроечные встряски. Начались прикидки. Куда бы податься. А что бы такое придумать? Поначалу я не придавала этому особого значения, только улыбалась. Отцу Кости всегда хотелось что-то свое открыть, иметь

свое дело. Костя тоже и сценарий писал, и домашними съемками увлекался. Чего-то еще и еще хотел. Слово «фарц» я надолго изжила из употребления. Мы жили в добре и в согласии, без конфликтов. Все завидовали, считали нас примерной парой. Один остроумный артист «возмущался»: «Слушайте, как ни увижу, они все время вместе. Нет, ребята, так не бывает. Ей-богу, здесь есть какая-то загадка». Интересная реплика. Я тогда не придавала этому значения.

Все заметались, разметались. Наш барабанщик уехал в Израиль. Гитарист в Англию. Друг Кости — в Америку. Врачи шли в фирмы. Музыканты в продавцы. Все что-то продают, вывозят, привозят. Офисы, обилие ларьков. Старушки на Тверской выстроились в ряд и вынесли все, что было дома, — наволочки, тапочки, вязаные шапочки, лифчики, лампочки.

А у меня — никакого выбора. В эмиграцию? Даже мысль не залетала. Ничего не умею. Не умею продать. Умею только купить. В бизнесе ничего не понимаю. Руководить не умею. Нет у меня ни хладнокровия, ни умения вычислять ходы наперед. И ничем, ну абсолютно ничем, кроме актерства и всего, что ему сопутствует, не интересуюсь.

Когда в перерыве между фильмами были концерты, и я впервые вышла из самолета где-то далеко-далеко от Москвы, а потом долго ехала по заснеженным просторам, покрытым угольной пылью, я так явно, всем своим существом, ощутила, — кончился бурный, поисковый период моей жизни. Взрывов больше не будет. Во всяком случае, в ближайшее время. Это уж точно. От серого, однообразного пейзажа повеяло временами долгой безработицы, бесконечными переездами и перелетами, выступлениями в шахтах и на заводах, в столовых и тюрьмах. Да вообще где придется.

Добрый вечер! И стоп. Для господ еще не созрела. А «товарищи»… В зале смешок. Потому просто — «Добрый вечер!».

Я снималась в первых фильмах, в которые вкладывали деньги люди далекие от кино. А кто их будет смотреть? В каких регионах они будут куплены? Четких ответов на все эти вопросы еще не было.

В неразберихе, суете, непонимании — что же происходит и куда все идет, — я ухитрилась сыграть и спеть много мелких и глупых ролей и песен. В то же время обязанность зарабатывать толкала на это. А что делать? Ведь перестройка оставила всех нас, «кинозвезд» — всех, без исключения, — нищими людьми. Каждый выкручивался и не сдавался по-своему. А тут за концерты стали платить вполне приличные деньги. Что же так поздно? Поднатужившись и объездив с концертами Брянск, Орел, Курск и

области, я осуществила свое давнее желание — купила себе норковую шубу. Поздно, но осуществила. Ведь их вообще нигде не было. Это теперь каждая третья девушка в Москве в норке. Казалось бы, приличный гонорар, помимо житейских радостей, дает возможность спокойно работать, не размениваться на мелочи, возможность выбирать. Нет. Я разменивалась и разменивалась. И не могла остановиться. А вдруг завтра будет опять как вчера?

Боялась. Страшно было что-то пропустить, отстать, быть опять ненужной. Как хорошо, думала, поэтам, художникам. Они могут уединиться, творить для себя, находя отголоски в душах истинных своих поклонников. А тут как творить? В уединении? Кино — коллектив. Театр — постоянный коллектив. Каждый день бездействия — паника! А возраст? А лицо? Ведь лицо — моя зарплата. А что делать с паспортными данными? А что делать с ролями, которые неумолимо уходят и уходят?

Паника, паника, суета, раздрызг. Где взять силы, чтобы улыбаться, когда внутри одни грустные вопросы? На что равняться? Что есть, чего не знаю и не понимаю? Ого, как здорово, как смело: «ЧП», «Маленькая Вера». Жестокий реализм. Но это же новое о вчерашнем. А дальше? Как смотреть на нашу жизнь? Да, так жить нельзя. Боже мой, ну скажите, как жить? Как неудобно, как стыдно, что так живем. И перед собой стыдно. И перед другими народами и государствами.

Я была в Берлине на фестивале. На этом фестивале просматривали картины для того, чтобы их рекомендовать и даже поддерживать финансово для проката в других странах. Я и не знала о существовании таких фестивалей. Сидела в жюри и, в общем, быстро сообразила, что и к чему. Ко мне относились с вниманием и интересом. С некоторыми членами жюри я была знакома по другим фестивалям. А на одном из банкетов выпили за мою премию на Всемирном кинофестивале в Маниле. Я ее получила за роль в «Любимой женщине механика Гаврилова». На то время я давно не слышала о себе ничего доброго. И это было приятно. А ведь дома, на Родине, с премией меня никто не поздравил. Но это было давно. Теперь же другое время. Теперь, если заработаю, наверное, поздравят. Наверное… От нашей страны, от СССР, показали фильм Станислава Говорухина «Так жить нельзя». Наутро будет голосование, разговоры, дебаты, смех и шутки. О, как изменилось все наутро. С первым шагом в зал меня аж озноб охватил. Я почувствовала такую настороженность — она просто дыбом стояла в воздухе. Как будто в это светлое помещение с золочеными креслами вошел человек вдребезги больной и сейчас всех перезаразит. Каких же внутренних драк

мне стоило не побледнеть, не увидеть, не заметить, не потерять вчерашней естественности. Меня рассматривали в увеличительное стекло. Да, я сейчас единственный живой представитель той жизни, которой жить нельзя. Что ты притворяешься нормальной? Ведь вы все больные, алкоголики, насквозь прогнили. И от вас идет зловоние. А мои любимые духи еще больше в этом контрасте были приторны и удушливы.

Об этом я никому не рассказывала, но то была моя большая личная победа. Даже не через несколько дней, а уже на следующий все вошло в норму. Через самоиронию, шутку, анекдот, через разговоры о нашем новом времени, о демократии, о естественных взрывах на ее первых порах. Кто-то даже сказал, что это смело — так себя вывернуть наизнанку. Это было сказано для меня, чтобы загладить те, первые ледяные часы. Но я поняла, что это наши проблемы. Проблемы для внутреннего пользования. Они все там так далеко улетели в своей сытой жизни. Им наша вопиющая и внезапно открывшаяся всеобщая нищета отвратительна. Такая сильная страна оказалась трухой. Ужас!

Что сказать? Что советский мужчина, получающий копейки за свой труд, превратился в ничто? Что пьяницей его сделали десятилетия такой копеечной жизни? Что даже в песне — «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить, но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить». Вот и все, на что он способен, пока молодой. А потом… С авоськой, в очереди за бутылкой. Вот советского мужчины и не стало.

Тогда я впервые в своей жизни испытала чувство нового и дикого «сиротства». У меня не оказалось за спиной опоры. Что бы ни случилось, как бы судьба меня ни кромсала, я всегда знала и чувствовала, что за моей спиной — моя могучая великая Родина. Она меня поддержит. Нет, не хочу, чтобы было как прежде, но и так, как сейчас, не хочу. А как? Вечный вопрос.

Я приехала с того Берлинского фестиваля убитой. Перестройка. Какие надежды! О, какое будет обновление. А очнувшись, обнаруживаешь себя на краю, без опоры. А жить надо. Надо жить!

Вот так и жила. На ощупь. Этого я точно не буду. Это точно не мое. А это мое. Буду. И все равно ошибалась, чертыхалась и отчаивалась.

Лечу черт знает куда. Роль — ну полная… Хотелось написать слово поточнее. Да вы сами догадаетесь. Потому облегчу и напишу: роль — полная чушь. Но лечу. Начали снимать. Репетиций ни-ни. Разговоров о роли ни-ни. Историйки, анекдотики и сразу: «Мотор!»

Ни во что не вмешиваюсь. Как студентка первого курса.

Перерыв. Должна прилететь актриса. Слышу голос режиссера: «Готовьтесь, приедет актриса. Не суйте ей сразу тряпкой в хайло». Это юмор. Ясно. Приехали. Так мне и надо.

Еду в Минск. Там интересная роль. «Прости нас, мачеха Россия». Героиня, член комиссии по расследованию преступления, совершенного в годы войны, начинает сопереживать преступнику, понимая, что тот обвинен несправедливо. За правду, которую ей на суде не дают сказать, она кончает свою жизнь самоубийством. Она бывшая летчица, хотя по ее кокетливому изящному костюму никогда не подумаешь. Блистательный художник по костюму Элла Семенова. Какая светлая и чистая картина. А какой Будрайтис! Вот же загадочный артист. Столько мощи внутри, а внешне спокоен. Прекрасно мы работали с режиссером Юрием Елховым. Но что поделаешь, наши герои на тот момент были несовременны. Нужно только бьющее по нервам и по мозгам. О войне вообще перестали говорить. А она живет во мне. Я с ней выросла и возмужала. Ах, как та роль мне была близка. Очень родная роль.

Бывают сцены, к которым долго готовишься, боишься их. И сил хватает только на один дубль. У меня было несколько ролей с самоубийствами. Болею и до и после. Короче, я уже «там» побывала не однажды. В этом фильме такому выстрелу предшествует огромная сцена, где героиня уже в кадре мертвеет — ясно, что так просто она не сможет жить дальше. Выстрел из дамского пистолета — и все! Жизнь кончилась. Та жизнь ей больше не нужна.

На съемки со мной всегда приезжал мягкий и добрый Костя. Закончилась сцена. Я еще лежу на полу. В голове туман. Полное безразличие ко всему вокруг. Руки и ноги ватные. А где же он? Я села, осмотрелась. И увидела совершенно незнакомое лицо. Отчужденное, глубоко погруженное во что-то, очень далекое от съемки, от меня. Я отрезвела. Что это? Да нет, показалось. Я проклятый Скорпион. Показалось, конечно.

Да нет, не показалось. Уже тогда шла параллельная жизнь, о которой я и не догадывалась. Мне администратор отеля сказала — «Ого, сколько у вас телефонных переговоров!» Да я вообще никому не звонила. Я с утра до вечера в павильоне.

А тогда, о, как далеко было до моего осознания двойной жизни рядом. Легче, чтобы мне все это показалось. Силы, силы нужны. Завтра лететь в Одессу. Картина «Ожог». Более близкая к сегодняшнему дню история. Мать вора. Конец фильма — она в тюрьме! Ну и роли. В одной самоубийство, в другой тюрьма. В новое время пустили в настоящую тюрьму.

Старая одесская женская тюрьма. Тюрьма-парилка. Меня

выводят из камеры. А там еще четыре такие, как я. Только настоящие. И сразу по-другому играешь. Да какая там игра, забываешь о всяких играх. Жизнь. Она бурлит и здесь. Щели вместо форточек. И оттуда: «Маня, мы ждем! Адвоката еще не нашли! Петька Лешке врезал, все нормально!» А в камере: «Людочка, дайте автограф на память». Но надзирательница не разрешает. Снимается только мой выход из камеры. Но и в эти секунды женщина успевает спросить: «Люда, а что сейчас носят?» С ума сойти.

А домой приедешь, — что-то явно разладилось. Вообще, я так долго не верила в то, что человек может быть вот таким идеальным и любящим. Но шли дни, недели, месяцы, годы, в конце концов. Пора, пора поверить. Трудно жить на полувере. И вдруг фраза: «Не всю же жизнь мне быть пианистом». То есть? А кем? Музыкант — это призвание. И папа, и мама преподаватели музыки. Интересно, им никогда не сиделось на месте. Всю жизнь переезжали из города в город. «Немногих добровольный крест». Львов, Петрозаводск, Алма-Ата, Ереван, Минск, Москва. Что-то везде не устраивало. Ехать в Ереван, потому что там фрукты? Везти такой воз вещей, и вообще, само слово «переезд». Никогда ничего не понимала. Кто-то мешал им, кому-то мешали они, кто-то завидовал. Хотелось нового и нового! Когда мы совсем расходились, вдруг фраза: «Это типичная наша семья». Поскольку мы расстались без особых объяснений, многие фразы пришлось расшифровывать, чтобы понять, почему, когда и в общем-то за что такая длинная подготовка у меня за спиной и тонкая актерская игра в лицо.

Сижу в аэропорту Шереметьево-1, и перед глазами пролетают, как казалось, счастливые годы. И вдруг их закрывает глухая черная стена. Как внезапно. Как же я не была готова. Стоп, Люся. Когда я была здесь? Очень давно…

Аэропорт Шереметьево-1. VIP-зал. И диванчики вроде такие же. Многое переоборудовано. Но здесь со мной происходило что-то неординарное. Но что? Жду багаж. А пленка в мозгу летит, летит и нигде не останавливается. VIP-зал. А, да-да, отсюда и сюда мы улетали и прилетали от Госкино на зарубежные фестивали и недели советских фильмов. Тогда готовили Шереметьево-2 к Олимпийским играм. Я сидела на спинке одного из этих диванчиков вместе с руководителем делегации и как всегда встречающим меня влюбленными глазами Костей.

Тогда тоже ждали багаж. Летели мы из Манилы со Всемирного кинофестиваля. Летели в Москву, а прилетели в Ленинград. Наш самолет уже спускался над Москвой, уже все пристегнулись, аплодировали: «Здравствуй, Москва!» Костя

сказал, что видел наш самолет, но он почему-то, сделав круг над аэродромом, быстро набрал высоту и скрылся. Оказалось, просто не успели вычистить посадочную полосу от снега. Это бывает только у нас. И никто не удивился и не возмутился. Как будто так и надо. Нормально, Григорий? Отлично, Константин. После жаркой и пряной Манилы приземлились на оледенелом заснеженном аэродроме города-героя Ленинграда. Жители вечнозеленых стран выползали из самолета в майках и шортах, укрываясь клетчатыми одеялами из самолета. На их лицах застыл ужас. Все притихли. А в салоне самолета несколько минут назад так веселились.

От Манилы до Токио лететь шесть с половиной часов. Самолет местных авиалиний. Стюардессы одеты в экзотические костюмы, предлагают меню с такими яствами, всевозможными напитками, ах! Хочешь — тапочки, чтобы ноги отдыхали. А хочешь — массаж ног. Руководитель из Госкино спросил: «А что, если я возьму тапочки как сувенир?» А бог его знает. Такого сервиса в тот январский день 1981 года наш советский человек еще не встречал. Только через двадцать лет догнали и перегнали. Ура!

Да, пишу подробно для вас, уважаемые зрители. Это интересно. Так вот. От Токио до Москвы одиннадцать-двенадцать часов. Родной «Аэрофлот». «Приготовьтесь к завтраку, откройте столики». Голубой цыпленок с рисом, кусок маринованного огурца. Перец, соль, сахар в пакетиках. Да, еще в пакетиках кофе и чай. На выбор. Вот и хорошо. Вот и славно. И никаких вопросов. Скорей бы домой, в свою родную кроватку. Так нет же, идем через ленинградский аэропорт, забитый людьми, с удушающим запахом буфета. А по ТВ поет ослепительная Любовь Орлова:

Нам ли стоять на месте?!
В своих дерзаниях Всегда мы правы!

Ах, «Светлый путь»… Мое детство, мои мечты, моя любимая Родина. Непобедимая! Родная!

Вы не поверите, но меня стали сотрясать рыдания. Куда спрятаться? Тащу свой приз, неподъемного Золотого орла во фланелевом мешке с гербом Маркесов. Кто знал, что этого «Орла» придется так долго таскать. В делегации все злые, измотанные. Наши мужчины потеряли свою галантность, — тащи сама. Тащу сама. А мешок все прорывается. И «Орел» показывает свой золотой клюв, напоминая о желтых берегах и зеленых пальмах. Все сразу сели в общий вагон. Зазнаться было невозможно. Р-раз! По башке — и ты в строю.

На фестивале в конкурсе было двадцать фильмов. Семь из них названы женскими именами. О призе нам не могло идти и речи. Но так интересно было побывать в далекой Маниле, о которой ничего не знали. Тамара Федоровна Макарова, мой педагог, сказала: «Люся, говорят, там так красиво и ярко одеваются. Ты возьми с собой все, что у тебя есть красивого из одежды». Спасибо, а то я бы имела бледный вид. Горстка богатейших людей острова устроила себе развлечение. Присмотревшись ко всем этим людям, самонадеянным в своем богатстве, я впервые в жизни увидела настоящую крепость миллионеров. На первый Всемирный фестиваль в Маниле пригласили звезд со всего мира. И все приехали. Все. Никто не отказался.

Ей-богу, такого богатства я не видела никогда. Как там говорит Фамусов? «Не то на серебре. На золоте едал». Бедный Фамусов! Видели бы вы эти залы с розовыми столами, резными стульями, розовой посудой и необычным вычурным столовым серебром. А какие наряды! Ручная работа, изумительная вышивка, с вправленными настоящими драгоценными камнями на шлейфах. Изумруды, жемчуг, сапфиры — и на шлейфе! Ну, безобразие!

Несчастное голодное детство. Так и бродила преступная мысль — вот бы наступить на шлейф.

А какая роскошная выставка платьев Имельды Маркес! В этом, золотом с изумрудами, она была в Лондоне. А в этом, зеленом с красными рубинами, в Париже.

Что сказать? Сейчас 2001 год, нас этим уже не проймешь. И залы есть, и посуда, и одежда, и драгоценности.

Но это же были времена еще непобедимого СССР. Как сказала Имельда Маркес: «Мы вас уважаем и боимся. Вы такая огромная территория. А мы что? Мы — маленькие островочки». Ничего. До развала СССР еще десять лет. Мы тоже скоро станем маленькими островочками.

И если в первые дни я скромно украшала себя жемчугом и цветочком, то к концу фестиваля на мне было все: и розочки, и оборочки, и бантики, и цветочки, и сено, и солома. Ведь я была первой советской актрисой в этом краю. Меня пристально рассматривали, фотографировали, изучали.

Жаль, ничего они не знают о нашей великой стране. Живут себе своей жизнью. Что интересует? Поесть, одеться, машина, домик и деньги: «Dollars, dollars!» Вроде мелко и по-мещански, если с нашей духовной точки зрения. Ведь не хлебом единым сыт человек. А может быть, это психология или, как говорят теперь, менталитет русского или советского человека? Не знаю. Хорошо

бы соединить и дух и dollars.

Думаю, что заплакала я в ленинградском аэропорту неспроста. Никому я не нужна была в моей великой Родине. Вот и тащила сама своего трехкилограммового «Орла».

А получила я его так. Чего-то мне сейчас себя жалко стало. Не знаю… Просто хочу еще раз сказать, что все это я пишу для вас, потому что, кроме вас, меня никто не любит. Этого я не забываю. Знаю, что повторяюсь, но вот… повторяюсь.

Назывались фильмы так: «Лола», «Соседка», «Жена французского лейтенанта», в которой снимались супермодная тогда Мерил Стрип и английский актер Джереми Айрон, известный нам после «Лолиты»… А «Лола» — новая немецкая волна знаменитого режиссера Фассбиндера. И был еще фильм с главной женской ролью «Ночное представление». И если по всем номинациям — лучший фильм, оператор, актер, режиссер и т.д. — члены жюри вынесли решение сразу, то насчет «лучшая актриса» мнения разделились. Три дня в газетах фестиваля описывались предположения и сплетни вокруг этой номинации. «Женщина французского лейтенанта» получила специальный приз. Значит, Мерил Стрип уже из претенденток отошла. В «Соседке» главную роль играла Роми Шнайдер. Ой, что будет, что будет…

А споры разгорелись вокруг испанской актрисы из «Ночного представления» и, извините, советской, то есть меня. О чем «Ночное представление»? Главное действующее лицо — кровать. Большая скрипучая кровать. Манильцы, у которых каталикоз катастрофический, это как у нас партком или товарищеский суд, очень похожи на нас. У них тоже нет секса. А у нас еще и социалистическая высоконравственная мораль… Совсем забыла термины. Неужели это было?

На испанском фильме в огромном зале яблоку негде было упасть. В течение двух серий муж и жена на кровати выясняют свои самые интимные отношения. Камера то сверху кровати, то снизу. Во всех ракурсах. Застает, настигает и удаляется от страсти, от вздохов, воя и криков, символизирующих полное удовлетворение. Удовлетворение? Черта с два! Никакого удовлетворения. И опять ох, ах, э-эх! И зал сидит в мертвой тишине, затаив дыхание. Потом, вместе с актерами — фуух! Впечатляюще по тем временам. А в конце фильма оказывается, что героиня все это время притворялась. Оказывается, что он как мужчина полный нуль, что у нее нет больше сил его заводить. Что-то в этом духе. А какое у бедного артиста лицо! Да, не дай бог. А этот актер по жизни еще и муж этой актрисы. А она сама сценарист и продюсер фильма. Это здорово подогревало публику.

Где правда, где вымысел? Актера на фестивале нет. Она одна. Ага, значит, обижен. А может, даже разошлись. Но актриса очень интересная. После фильма зал горячо ее встретил.

А тут мы со своим «Механиком Гавриловым». У нас такая скромная картина, без скрипучей кровати. На пресс-конференции вопросы, на которые я не могла ответить. Нет, могла. Но никто на свете этого бы не понял. Никто. Почему у вас очередь за тазами? Что у вас, тазов нет? И почему их продают не в супермаркете, а прямо на улице? А что такое рыбный день? А если человек хочет мяса?

Что ответить?

Когда задают вопросы, на которые нет ответа, я думаю, как правильно я сделала, что отказалась от собрания трехкнижника: Вивьен Ли, Марлен Дитрих и моих «Аплодисментов». Зачем? Чтобы «там» недоумевали, что такое кинозвезда без московской прописки? А что такое «московская прописка»? Почему актриса снимает углы и комнаты? Что такое «угол»? Что такое комната, да еще в коммунальной квартире? А почему у нее нет «two bathrooms»? Что такое безденежье звезды после фильма, побившего все рекорды по посещаемости на многие годы вперед? Что такое безработица для молодой популярной музыкальной актрисы, находящейся в полном здравии?

О, сколько вопросов! Когда я читала, как Марлен Дитрих выбирает обувь, сгибая туфлю вдвое… Ну, знаете, я до конца девяностых таких туфель в руках не держала. Слава богу, что при жизни застала такие времена и магазины. Нет, никому наша советская жизнь не была понятна. А советская женщина? Что там «Любимая женщина механика Гаврилова»?..

«Пять вечеров»! Вот это классика! Классический пример настоящей счастливой советской женщины! В Канаде, на фестивале, где была представлена наша картина, публика сорок минут не могла разойтись. Мы стояли на сцене красивые, элегантные. Еще бы! Наш руководитель Никита Сергеевич Михалков и мы, члены его делегации, — Станислав Любшин и я. Какой мы потом с Никитой на банкете танец «врезали»! Все визжали! А все равно, — в глазах искорки недоумения.

Отчего же эта женщина там, на экране, счастлива? От каких таких пяти вечеров? Надеть нечего. Работа — по шестнадцать часов. Воспитывает племянника. Ни разу не улыбнется. За городом никогда не была, только слышала, что там красиво. Что же это за феномен? Нет у нее ничего. Абсолютно ничего нет. А она — что говорит? «Я здесь хорошо жила. У меня было в жизни много счастья. Дай бог каждому!» Да боже сохрани! Не надо нам такого счастья, милые советские гости. Езжайте к себе и живите

там. И будьте себе трижды счастливы.

А есть же еще и слова: «И потом, я никогда не падаю духом, никогда»! Вот это, про дух, никогда никому на свете не объяснить.

А когда, после вечеринки и нашего с Никитой танцевального дивертисмента, где смешались элементы танцев всех народов мира, мы, под утро, еще пошли на «джеймсейшн», - о! У меня правая нога после перелома. Хромаю на правую. У Любшина что-то с коленом левой ноги. Он прихрамывает на левую. Он на левую. Я на правую. Сзади — наш руководитель Никита Михалков: «Ну и делегация у меня! Хромые мои работнички!»

Рассвет. Монреаль. Джазовый вечер, переходящий в утро… Любшин, как в старинной русской пьесе, вдруг падает перед Никитой на колени. Все за столом вздрогнули. «Подустали мы, барин, отпусти, бога ради!»

Вот, попробуй переведи им это. Нет, наша жизнь — жизнь на другой планете. Что говорить…

Простите, отошла немного в сторону. Короче, жюри на том фестивале в Маниле разделилось. И тут выступил член жюри из Америки. Да, картина средняя, но сейчас мы оцениваем работу актрисы. Сказал, что видел много фильмов с советскими актрисами, видел и меня у Кончаловского в «Сибириаде». Здесь же с трудом меня узнал. В общем, говорил очень лестные слова обо мне, чего уж… «И главное, — сказал американец, и это решило все, — главное, что эта «любимая женщина» так исступленно ждет своего механика, что то, чего в течение двух серий не могла получить от своего мужа испанка, эта русская от своего механика будет иметь!»

И я получила Золотого орла.

Глава четвертая. Sunny boy

Джаз, джаз, джаз… Кровь вскипает, мозги тикают, ноги отбивают такт. Как из такой простой мелодии музыкант взлетает к умопомрачительной импровизации, перелопачивает все каноны и создает тут же, вот сейчас, в сию минуту, у всех на глазах, произведение новое, оригинальное, неповторимое. Когда у меня над головой тучка, я слушаю. Слушаю, восхищаюсь, встряхиваюсь и иду в бой с жизнью.

> «Жисть ета борьба, дочурка. Маркс, он тибе не дурак, якую багатую книгу наскородил. Не, дочурка, музыка ето великое дело. Ето тебе не книжонка. То усе брех. То для библиотик. У музыки не нада знать ни немецкага, ни американськага. Не-а, музыка проникаить прямо у кров, у душу, у самое сердце. Она тибе усе расскажить и за тебя и за усех. Она и плачить, и веселить. Як паедешь у Москву, зразу иди у консерваторию. До великих людей. Усе слуший. Усе мотай на ус. И к усем людям будь по чести и по ласке».

Дорогой папочка! Дорожку в консерваторию я проложу. Сколько будет радостных праздничных вечеров! О, «Весна священная»! О, мой любимый Евгений Светланов! А трио гениев: Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Давид Ойстрах! Да, папочка, великие, великие. Я все «мотала на ус».

А первое место, куда побежала восторженная девушка из Харькова, была площадь Маяковского. Там был кукольный театр Сергея Образцова. Аж до самого моего Харькова гремел на всю страну спектакль для взрослых «Под шорох твоих ресниц». Музыкальные пародии. А названия! «Смерть в унитазе», «Старушка в тисках любви», «Фиалки пахнут не тем». А чем? — думала я. Вот дура была. Да я и сейчас не смогла бы объяснить, чем именно не тем пахнут фиалки. Не тем, и все. Почему я туда бросилась? Там играли, пели, а главное, синкопировали. А какие аранжировки! «Сердце бьется чаще, чаще, чаще под шорох твоих ресниц». А «Необыкновенный концерт»?

Люся, стоп! Что за голос! Что за редкий голос прячется за куклой? Куклой, ведущей этот необыкновенный концерт! Дура-то дура, а неординарное схватила сразу. Зиновий Гердт. Ага. Запомним. Летом, будучи на втором курсе ВГИКа, отдыхала в Евпатории. Смотрю фильм «Фанфан Тюльпан». А голос сразу узнаю, — золотой голос Зиновия Гердта. А в Москве, на эстраде,

вижу его в номере, где с неизменным успехом он исполнял музыкальные пародии. А потом, видно, остыл к эстраде. Очень хотелось познакомиться с ним, близко услышать его голос. И поучиться настоящему русскому языку.

В то время меня уничтожали в институте за мой несусветный харьковский диалект. Юрия Левитана я слушала по радио в течение всей войны и после. Он был моим негласным учителем русской речи: «Говорит Москва. От Советского Информбюро»… Как же это было не похоже на наше родное харьковское: шорыте? (что говорите?). И вот Гердт, мой второй учитель. Я его выбрала. Я знала весь его закадровый текст из фильма «Фанфан Тюльпан».

Случилось это, когда я впервые снималась в первой своей драматической роли у Владимира Яковлевича Венгерова в фильме «Балтийское небо». На любимой студии «Ленфильм». В это же время в Ленинграде гастролировал Марк Наумович Бернес. Я никогда его концертов не пропускала. «Темная ночь», «Шаланды», «В далекий край товарищ улетает», «Почта полевая»… С этим начиналась моя жизнь. Бернес по-своему, порой даже грубо, меня воспитывал терпеливой, скромной. Учил выбирать нужный и подходящий мне репертуар. Учил быть мягкой и несуетливой. «Знаешь, за что я тебя люблю? Ты не блядь. Глазами не рыщешь. Нет, ты настоящая. Приходи в «Европейскую», вместе пойдем на концерт». — «Спасибо, Марк Наумович, обязательно приду».

Вот я и пришла в свою любимую «Европейскую». Вы заметили? У меня в то время все было любимое. Все любимые, все прекрасные, добрые и чудесные.

— Ц-ц, тихо! Проходи сюда. Стань спиной и смотри в окно. Ага, так и стой, пока я не скажу повернуться.

Из ванной доносился замечательный баритон. Чисто, чуть свингуя, баритон напевал «Sunny boy». Я знала эту вещь.

— Ну, давай подпой ему, — шепчет мне Марк Наумович.

В этой мелодии есть интересный полифонический ход. Я подпела. Открылась дверь из ванной, и голос зазвучал в нескольких шагах за моей спиной. По некоторым обертонам я расшифровывала безмолвный диалог: «Кто это, Марк?» — «Ты пой, Зяма, пой». — Голос запел увереннее, без вопросительных знаков. Я стою, смотрю в окно на здание Ленинградской филармонии и чувствую, как голос потихоньку приближается ко мне. Я слышу, как в голосе появляются слегка фривольные фиоритуры — мол, что за чувиха, пусть повернется, Марк, дурацкая ситуация, я хочу на нее посмотреть.

— Все, ребята, сколько можно петь, познакомьтесь, наконец, — сказал Бернес, как будто не он был инициатором всей

этой сцены.

— Здравствуйте, девушка! Ваше имя?

— Ой! Я вас узнала! По голосу! Вы — Зиновий Гердт! Я вас видела, то есть, извините, слушала в ваших спектаклях, видела на эстраде в пародиях — потрясающе! И знаю все, что вы говорите в фильме «Фанфан Тюльпан».

— Зеленая, хватит тарахтеть. Назови свое имя. Тебя спросили: «Ваше имя?» Отвечай.

— Извините.

— Марк, а я могу ее знать? Где-то я ее видел.

— Это же знаменитая Люся Гурченко.

— А-а, да-да… Значит, вот это и есть Люся… Гуурчинка…

Никакого удовольствия от знакомства со мной на лице Зиновия Гердта я не увидела.

— Слышишь, Зяма, я у нее спрашиваю, после этой твоей «Ночи», у тебя есть ну хоть пол-лимона? Ты знаешь, что она мне ответила? Она больше любит апельсины! Что ты скажешь? Все они немного «цудрейте», тебе не кажется? Примитивные бутербродники.

Гердт и Бернес смеялись. А мне хотелось возразить насчет бутербродов. Мы в Харькове да и в институте больше пирожки любили, особенно с повидлом. Но промолчала. И правильно сделала. Позже я, конечно, узнала, что такое «бутербродники».

Потом мы еще пели из «Серенады Солнечной долины», из «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина, пели все, что можно было знать по тем временам, жестким и суровым запретам на джаз.

Впервые мы снимались с Зиновием Ефимовичем в фильме «Тень». Зиновий Ефимович в роли Министра. Я в роли Юлии Джули. По сюжету я любовница Министра. Гердт — Министр изумительно кокетничал с Юлией Джули. С таким фарсовым плюсом. Ужасно смешно. С иронией к своему персонажу и к себе, легко совмещая. Гердт прихрамывал. И это делало его оригинальным, запоминающимся. В фильме Министр передвигается с помощью слуг: «Взять! Да не меня, а ее! Посадить на колени! Мне, мне на колени, идиоты!»

Зиновий Ефимович рассказывал мне, что однажды в концерте он получил записку: «Скажите, что вы чувствовали, когда Гурченко сидела у вас на коленях?» «Ты знаешь, что я ответил? Дай бог вам хоть раз в жизни почувствовать то, что я тогда чувствовал».

А что же чувствовала я? Много-много было партнеров, но те биотоки были наивысшими ощущениями юмора и оптимизма! Да это же здорово, когда тебя принимают и восхищаются тобой.

После дневной съемки мы смотрели английский мюзикл «Оливер». А потом шли по вечернему Ленинграду, пели только что услышанные мелодии и пританцовывали те оригинальные па, которые стали популярны после этого фильма.

А с Андреем Мироновым у них была особая дружба. Они разговаривали на языке намеков. Когда в одной фразе: «А я стою в трусах, как мудак, и спросонья ничего не соображаю» — надо увидеть историю о том, как однажды, гуляя и кружась по Москве и не желая и не имея сил остановиться, а желая еще и еще чего-то, незнамо чего, — ну загул, одним словом, — они с Шурой Ширвиндтом и еще с кем-то, не помню, в четыре утра позвонили в дом к Гердту — догулять! Довеселиться! Не хватало Гердта, его реакции, его остроумия, его иронии. О, как они воспроизводили ту ночь! Фейерверк! Как они носились вдвоем по закоулкам загульного веселья, по вдруг вспыхивающим в памяти деталям!

— Мотор, снимаем! — призывала их к работе режиссер Надежда Кошеверова. «Да-да, мы готовы!» Играли мастерски сцену. И как только раздавалось: «Снято!» — тут же, без перехода, — взрыв смеха и продолжение воспоминаний о той замечательной загульной ночи. И с той самой фразы, на которой их перебили. И на той же самой высокой ноте. Это очень, очень талантливо! Хоть это происходило с ними и меня там не было, я заражалась их мятежным духом, летала с ними в той ночной Москве, в том времени. И видела Таню, жену Зиновия Ефимовича, которая с удовольствием накрывала стол для гостей в четыре утра.

— Зяма, надень халат.

— Нет, пусть будет в трусах, это пикантно, — желает Миронов. И хохот, смех, хохот, смех…

И эти бурные, веселые воспоминания переходят в ночную «Стрелу», где истории и анекдоты перемежаются стихами. И тут стоп. Я восхищаюсь актерами, которые хорошо читают стихи. Может быть, потому, что сама не умею этого. Но восторг от чтения стихов я испытывала крайне редко. Впервые плакала, когда читал стихи Дмитрий Николаевич Журавлев. Великолепно читал стихи мой учитель Сергей Аполлинарьевич Герасимов. И вот — Гердт и Миронов!

До утра! Наперебой лились стихи Пушкина, Пастернака, Лермонтова, Заболоцкого. И спать не хотелось. И не хотелось, чтобы наступал рассвет. И не хотелось расставаться. Хотелось слушать и слушать. Слушать и слушать. Два моих могучих современника. Зяма и Андрюша. Андрюша и Зяма. Так просто. Как достичь вот такой простоты? Такой доступности на всех уровнях? Их слушали и понимали тети и тетеньки, дяди и

дядечки, и дамы с господами, и леди с джентльменами, и пионеры, и товарищи. Ах! Ах, ах и ах!

В 1972 году, в марте месяце, у меня был первый и единственный творческий вечер в Москве в ЦДРИ. Гердт рассказывал о наших съемках в фильме «Тень». Зал очень бурно его приветствовал.

Рассказывал смешно. Он меня похвалил за смелость. Я первая отважилась спеть Вертинского. У меня не было никакого страха. Страх появился потом, когда осознала, что действительно «отважилась». Но «Маленькая балерина» прошла на ура.

Как часто в нашей актерской жизни фильмы, концерты разбрасывают нас по разным городам, по разным коллективам. После «Тени» и «Соломенной шляпки» мы с Зиновием Ефимовичем долго не встречались. У меня началась бурная работа в кино. И параллельно пошли разговоры о сложном моем характере. Характер был всегда. Успеха не было. Появился успех, появились и разговоры о тяжелом характере. А как же. Это аксиома. Успех бесследно не проходит.

Подряд выходили фильмы, которые с успехом шли на экранах. И пошли сплетни, разговоры. И что было, и чего не было. И чего вообще не могло быть. Я работала и многого не знала. И если оказывалась в местах, где люди самые разные, я видела, как изучали меня жадными и даже испуганными глазами. Наверное, так смотрят на того, о ком слышали много разного и о ком сами думали самое разное. И вот, этот объект появился. Как интересно! Надо иметь, скажу я вам, дорогие мои читатели, много мужества и еще чего-то и чего-то. Зная, что это такое, никогда не рассматриваю людей, о которых говорят много небылиц. Да у меня прямо страсть к людям, которые делают что-то первоклассное. Я ими восхищаюсь.

Вообще, я много думала о том, почему у меня тяжелый характер. Думаю, главное в том, что мой рассудок, мой мозг не мог подчиняться людям, в которых я подмечала провалы, недостачу чего-то важного для меня. А какая-то непреодолимая гордость мешала мне подчиняться из-за осторожности. Ну не могу подчиняться. Если не чувствую уважения. У меня это сразу на лице. Виделись мы с Зиновием Ефимовичем или по случаю дней рождений у общих друзей, или в праздники на званых ужинах. Я с Костей всегда пела, и Гердт всегда хвалил мою музыкальность. Но по взгляду, по каким-то незаметным на первый взгляд деталям поведения, репликам, — ведь он человек очень тонкий и чуткий, — я видела некую раздвоенность между тем, что слышал обо мне, и тем, что видит сейчас. А есть еще и третья сторона. Мы многое прошли вместе. Не сходилось.

Вопросов я не задавала. Нет-нет, к тому времени я научилась не обнажать своих мыслей. По моему лицу ничего нельзя было прочесть. Пусть будет так. Время все расставит по своим местам. Или нет. Что делать.

На ТВ-6 была прекрасная передача. «Чай-клуб». Вел ее Гердт. Вел ее показательно. Говорил своими личностными словами. Сразу было слышно, — говорил не по написанному. Перемежал рассказы стихами. Знал он их великое множество. Замечательные вечера!

Предложили мне принять участие в этой программе «Чай-клуб» к 9 Мая. «С удовольствием». — «А с кем бы вы хотели прийти в гости к Гердту?» — «Конечно, с Ю.В.» (Юрием Владимировичем Никулиным).

На даче у Гердта в кадре сидели трое — двое воевавших и я, «ребенок войны». Все те песни наши. Все те стихи наши. Вся та атмосфера наша. Родное, родные, родная, родня. Мне уже было абсолютно все равно, есть ли у Гердта раздвоение в отношении меня. Да я забыла об этом. Мне нужно было более всего в тот день почувствовать важность того, особого, военного братства.

В то время моя страна сильно спотыкалась, и я не понимала — Родина она или Отечество. Предел у нее или беспредел. И демократично ли любить свою Родину до одури? И вообще, что демократично, а что нет. Тот день меня здорово поддержал в моей преданности — ладно, пусть будет Отечество. Все равно внутри я говорю — Родина.

После передачи за столом у Гердтов полились анекдоты и истории. Ю.В. и Гердт! Одну историю из военной жизни Зиновия Ефимовича я запомнила давно и еще раз попросила ее рассказать. У них был в роте повар. Говорил он на каком-то невероятном языке. Его солдаты провоцировали, чтобы он побольше поговорил. А они бы посмеялись. Дальше они распоясывались, и повар говорил свое коронное: «Идите вы все на …!» — ставя ударение не на предлоге, а на том самом коротком популярном русском слове. Дождавшись, солдаты смеялись. А мы опять, еще и еще раз смеялись за столом. Вот и сейчас я так ясно и близко слышу голос Гердта… Аж в горле защипало.

— Все, братцы, все, — Гердт встал с рюмкой водки, — идите вы все на …, - естественно, ставя ударение на том самом популярном коротком слове, — выпьем за День Победы!

Как важно, если в жизни тебе выпадает такой день. Его не ждешь. Он вроде случайный. Но нет. Именно такой день тебе и был нужен. Этот день уберет суету и сомнения. Он скажет: «Люся, стоп!» Не надо «под время» наспех переделывать свои манеры, одежду, походку. Не надо перестраиваться посезонно. Будь собой.

Кланяюсь тому весеннему победному дню!

Как-то, спустя месяца два, сидим на кухне, завтракаем, звонок. «Люся? Это Зиновий Ефимович». Я его никогда не называла Зямой, и Зиновий Ефимович это помнил. У нас всегда в отношениях сохранялась уважительная дистанция. Очень важная вещь в актерских отношениях. «Я тебе хочу сказать вот что. Я хочу, чтобы ты знала…»

Этого писать не буду. Он сказал самые-самые те слова, которые невозможно говорить так вот прямо в лицо. По телефону они воздействуют вдвойне. После тех его слов, ей-богу, можно сойти с верной дистанции и взлететь. И стать звездой недосягаемой. Но он знал, что те слова он адресует человеку битому. И тот никуда не взлетит. Эти слова ему нужны. «Так что никого не слушай. Всякие разговоры… В общем, это естественно. Живи и работай на радость нам, твоим друзьям и поклонникам».

Тот звонок дорогого стоил.

На юбилее Зиновия Ефимовича желающих сказать, выступить было очень много. Мне хотелось сделать что-то емкое, чтобы в выступление вместить те самые разнообразные моменты, в которых нас сводила жизнь, судьба. Я решила спеть песню, которую слышала с трех лет по нашему довоенному репродуктору. Ее пел хор имени Пятницкого в сопровождении баяна. А папа мой так восхищался баянистом, который играл «як зверь», и народными «вольными» голосами. Через столько десятилетий я осуществила затаившуюся в душе мысль: а не спеть ли мне под родимый баян «На закате ходит парень возле дома моего»?

На сцене были Ю.В., медсестра, которая вынесла с поля боя раненого Гердта, и сам герой вечера, Зиновий Ефимович. Они, конечно, знали эту песню и подпевали мне. Попала! Песня внесла нужную динамику в атмосферу вечера. Как же это здорово, когда всеми фибрами чувствуешь — туда, туда! Попала! У Гердта, под лохматыми бровями, заблестели его прекрасные добрые глаза. А после песни я рассказала о том, как нас познакомил Марк Бернес. И мы спели вдвоем с Гердтом «Sunnu boy».

Эта мелодия, как любимый с детства аромат дома, вдруг возобладала с такой силой, так воскресила то наше «музыкальное» знакомство, что все настоящее, все, что было вокруг, в этот миг исчезло совершенно.

«Европейская». В окне зал филармонии. И чувственный баритон «Зямы». Марк Бернес. И эта американская мелодия перенесла нас в то время, когда запретным было многое, чего хотелось. В то время, когда все еще было впереди. Надежды, надежды.

Судьба непредсказуема. Кто бы мог в те годы предсказать Марку Бернесу такую параболу будущего. Через тридцать пять лет, в Америке, я познакомлюсь с его внуком. В гримерную войдет молодой человек. И рост, и сложение, и пронзительный взгляд. Аж мурашки по телу. Только русского языка не знает. Я ему буду петь песни его знаменитого деда. Внука тоже зовут Марк Бернес.

Ах, «Sunny boy», ах, «Солнечный мальчик».

А когда все отпели и отговорили, Зиновий Гердт читал стихи. Читал и читал. А зал не отпускал и аплодировал. И аплодировал. И аплодировал. И не хотелось расходиться. И не хотелось, чтобы наступал рассвет. А хотелось слушать и слушать. Слушать и слушать.

Глава пятая. Прелюдия

Лето девяносто первого года. Фильмы снимают все. Все, кто может достать деньги. Ассистент по реквизиту (мы работали с ним в одной из картин) спрашивает: «Как вы думаете, а не снять ли мне фильм? Деньги могу достать».

Раньше я бы ответила ему то, что думала. А сейчас, кто его знает? Может быть, он гений, но его душило государство. «Там» некоторые режиссеры начинали с осветителей, а он сразу с реквизита. Да и Рафаэль Суриковского училища не кончал. Так что молчи, Люся, смотри, что будет.

Летом девяносто первого мне выпала работа в фильме «Моя морячка». Режиссер Анатолий Эйрамджан писал сценарий для другой актрисы, но… В кино всегда есть разные «но». И я должна была быстро войти в материал. Снять летнюю натуру надо за десять дней. И сняли! Костюмы притащила свои. Музыка и песни к фильму тоже мои. Композитор был не по карману. Режиссер просил делать роль по его видению. У меня не было возражений. И мы вполне нормально отработали картину.

Неужели было такое время, когда фильмы снимали по году-полтора? Деньги-то были государственные. А теперь дают деньги спонсоры — свои, личные. И ждут прибылей, а как же. В прошлой жизни самые большие доходы государству приносило что? Водка, табак, кино. Вот, по старой памяти, и вкладывали свои деньги. Поначалу. А потом у спонсора погорело дело, и картина — стоп. Ищи другого. А за это время герои постарели, дети выросли. А то узнаёшь, что спонсор плюнул на все и уехал жить за рубеж. А многие, далекие от кино, соприкоснувшись близко с «фабрикой грез», охладевали: «Нет, милые киношники, это не фабрика, это какой-то сумасшедший дом. Слезы, амбиции, судьбы, нервы, инфаркты. Будьте вы неладны. Выкарабкивайтесь сами!» И привет.

«Морячка» много раз прошла по ТВ. Милая, ни на что не претендующая картина. Имела успех у тех, кто любит такие легкие фильмы. А что я помню? Десять дней работы с утра до вечера, горы текста, и хоть умри, но держи себя в самой боевой форме.

Костя приехал, когда я уже несколько дней снималась. Странно. Мы всегда приезжали вместе. Но он был у родителей. Святое. Приехал вместе с моей костюмершей. Она привезла еще кое-какие вещи для роли. Картина малобюджетная. Спонсор прижимистый. Актриса, то есть я, понимает, что лето в разгаре. Народу много. Костюмерша не из группы. Есть только моя

комната. Вот мы и жили втроем в комнате. «Наше трио», как выразилась однажды она в одном из писем. В фильме снимались все члены семей работников съемочной группы. Кто в эпизодах, кто в массовке. Костя ни за что не хотел ни фотографироваться, ни попадать в кадр. Проводили свободные мои часы «нашим трио». Он, в том девяносто первом году, уже совсем не мог без третьего человека. Стыдно было смотреть мне в глаза. Позже как-то я спрошу: «А что это за игра была с костюмершей?» «Да она была буфером».

Типичное слово его типичной семьи.

Потому для меня «Моя морячка» была последней картиной, где я, как слепец, «дула свое» и «ничегошеньки» не видела вокруг. А может, мое ведьмино чутье просто не подпускало меня близко к мысли о разрыве? «Ты не готова. Взорвешься в прах. Подожди, не замечай. Еще не время. Не время».

Я теперь иногда думаю, а правильно ли мне с раннего детства внушал мой папа: «Усё людя-ам, людя-ам, ничегенька себе»? «Артист выйшов на сцену, вдарив у зал. И люди усе завлыбалися, заплакали, притулилися ближий друг до друга и разомлявилися. Не, дочурка, главное ето люди. Усе людя-ам».

Ну, жила бы я рядом с мужем, не ездила бы в экспедиции, в концерты, холила бы его и лелеяла, и не было бы ни «Пяти вечеров», ни «Двадцати дней без войны», ни «Вокзала», ни «Гаврилова»… Ах, да много чего не было бы.

Спрашивают: почему опять замуж? А что делать? Загнанная лошадь никому не нужна. Ну и не надо. Ее сильно обидели. Она гордая. Прячется от глаз. Плачет-плачет, кувыркается-кувыркается. И враз увидела себя в зеркале: ой, да что это со мной? «Нет, так не пойдеть. Ну-ка, подберись-подкрасься, моя птичка, положи на усех семь куч и иди упереД!» И что? Смотришь, через год-два, а то и три она, эта лошадь, ну, не лань, конечно, но вполне пристойная лошадка. Обновленная, слегка утомленная, что, несомненно, вносит в ее облик оригинальность и тайну. Проверено. Гарантирую. Как говорится, есть справки с последних мест. Правда, есть и пожелания. А я думаю так: гордая женщина уйдет из той жизни, где ее обманывают.

Но это преображение еще впереди. Пока я рабочая лошадь.

Меня подстерегала новая картина. Эротическая. «СекСказка». А что? Гулять так гулять. У нас демократия. Что хочу, то и делаю. Вон по ТВ, в Думе ходит мужик в красном пиджаке, а сверху прицепил большие женские груди. И ничего. А мне сам Бог велел. Я актриса.

Так. Что я знаю об эротике? И есть ли она у нас? И была ли? И какая она на ощупь? С самого первого шага на съемочную

площадку я знала: челка — это вульгарно, приоткрытое колено — кафешантан. О приоткрытой груди и речи нет. Короче. Ни челки. Ни плеча. Ни груди. Ни ноги. Разрешили талию глухо зачехлить в черное платье. Разрешили белую муфточку. А вот уже и челка вошла в моду. Вот и ноги открываем выше колена. Вот и плечики открываем в водевилях, ну так, чтобы как можно ниже плечиков. А такой свободы и откровения, как там, у них, — нет. Слабо! Всегда в голове отстукивало: за флажки нельзя. Жесткий самоконтроль. А ведь меня многие зрительницы не любили именно за фривольность. Ничего. Вот и пришло время. Я со своими легкомысленными штучками плетусь далеко в хвосте наших бурных эротических будней.

«Сибириада». Режиссер Андрей Кончаловский. Впервые, в 1977 году, я встретила режиссера, который про женщин знает все. Ну, если не все, то очень-очень многое. Меня навсегда поразило, как он смог мне внушить, что я неотразима, что я самая-самая. Это я-то. После сильнейшего перелома ноги, с палкой, с мешками под глазами. Пробовала хихикать. Жалкое это зрелище, когда прыг-скок, а нет ни прыжка, ни скока. Сиди, Люся, и вежливо помалкивай. Хорошо бы помалкивать загадочно. Как будто внутри все бушует и разрывает тебя на части. А ты сдерживаешь. И только милая загадочная улыбка. Десятки раз я это видела на кинопробах. Актер недодает. Но режиссер знает, что в фильме он так его раскрутит, ха-ха! Утвердят. Крутят его, крутят, а кроме недодавания и загадочной улыбки ничего нет. А иногда есть успех. Оказывается, это и есть «имидж». Кино — штука нечистая. В театре, в сольном концерте ты весь как на ладони. А в кино — музыка, шумы, спецэффекты. А на крупном плане катится слеза. А чего не всплакнуть? Жизнь трудная, режиссер разочарован и раздражается при одном появлении актрисы в кадре. Ну! Слезы! Мотор! И пожалуйста, — революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась! Ура!

В «Сибириаде» была сцена любви в полном сексуальном смысле. А в Госкино эту сцену снимать запретили. Но Андрей Сергеевич поклялся, что он это снимет смешно. «Ну, только если смешно. Снимайте. Посмотрим».

Та-ак. Отрепетировать это трудно. Значит, играем, договорившись, горячим способом. То есть с ходу. А у меня безумные боли в ноге и страх — вдруг партнер, Никита Сергеевич Михалков, заденет или наступит. Нет, он очень осторожен. Все видит и ничего не забывает. А вдруг… Репетируем начало сцены. Пока стоя. Лежать будем в следующем кадре. Никита прекрасен. Он мне нравится. А это очень важно, когда партнер приятен. Это и на экране сразу видно, и себя не нужно вздрючивать. Сняли

дубль. Нормально. Андрон (так Андрея Кончаловского называли в семье) отводит своего брата Никиту в сторону. Они о чем-то говорят, поглядывая в мою сторону. Я срочно себя осматриваю. Ни чулки, на резинках выше колен, не сползли. Ни бюстгальтер, на восьми пуговицах, не съехал.

Интересно, как в нужный момент давние-давние воспоминания оживают. И органично вплетаются в роль. Время наших сцен в «Сибириаде» — годы 50-е. После войны, в Харькове, «на дому» стали шить женщинам вот такие лифчики. У мамы тогда вес был около девяносто кэгэ. Хотелось быть стройнее. Однажды вечером мама пришла с работы с большим пакетом. Пришла очень счастливая. «А иде это ты была? А? Лялюш? Во, як глаза блестять!»

— Да вот, Марк, смотри.

Папа взял в руки сложное сооружение с петлями, пуговицами и резинками, смотрел, крутил: «Ну, Лёль, тут тибе полная збруя, прямо як у лошыди». С тех пор у нас дома даже нормальные лифчики назывались сбруями.

В «Сибириаде» у меня была точно такая же сбруя. Такая родная. Пахло моим домом, семьей. Ах, какой художник по костюмам Майя Абар-Барановская! Знает все. До самых-самых мелочей. В последний момент, перед тем как мне войти в кадр, приколола мне английскую булавку с висящими еще такими же пятью штуками. Зачем? А вот так. А вдруг понадобятся. Как папа говорил: «При всякий случай».

Снимаем второй дубль. И вдруг Никита, как цирковой маг, молниеносно отщелкал пуговицы от петель, вынул на поверхность мою испуганную грудь, — пульс забил в висках до умопомрачения. Вида не подаю.

— Андрон, мы же не говорили об этом, ну как же…

— Люся, не волнуйся, этот дубль я никому не покажу. Это для заграничной копии.

А потом мы с Никитой лежали под плащ-палаткой. Лежали «бутербродом». Вот так, Марк Наумович. Сколько лет прошло, впервые играем плотскую сцену. Но чтобы было смешно, какая самая советская мизансцена? Конечно, мизансцена «бутербродников». Никита надо мной. Держится на локтях, осторожно, чтобы не задеть мою больную ногу. А я здоровой ногой брыкаюсь, а он ее опять под плащ-палатку, я брыкаюсь, а он опять… Смешно получилось. А общий план снимали без меня. Пригласили из массовки девушку-студентку. Андрон их накрыл плащ-палаткой, и поехали — мотор! Потом Никита рассказывал, как девушка под плащ-палаткой спросила: «Скажите, а как фильм называется?»

Вот и весь мой экранный сексуальный опыт. И вдруг свобода. Делайте что хотите. Сексуальная революция дождалась своего момента. Режиссер только набрал воздуху, чтобы крикнуть: «Мотор!» Бац, — и все голые. Ну, не победа ли свободы и демократии?

Кассеты с порнографией. В киосках, рядом со стиральными порошками, апельсинами, сигаретами и колготками, бледно-розовые мужские фаллосы. Стоят, как новогодние свечи. И пошло, и поехало. В последние годы в исчезнувшей из эфира, но здорово заинтересовавшей наших зрителей программе «Про это» бывали такие «экземпляры». Дура ты зеленая, ничего-то ты не знаешь. Как твоя жизнь бездарно прошла. Но даже в дурном сне невозможно себе представить, что можно «жить с душем». «Для меня драма, когда в доме нет горячей воды». Я чуть со стула не упала. Мужчину заменил душ! Из шланга течет теплая вода. Она счастлива. У нее острый оргазм. Зал на нее смотрит. Да что зал — страна смотрит. И интересно, что у ребят в зале ни смешинки, ни иронии. Во времена! «Она такая свежая. Когда я ем «Juicy fruit», у меня душа поет». От чего? От резинки? Да, реклама. Но как самозабвенно, без иронии. Один маленький мальчик мне сказал: «Люся, спой мне что-нибудь «мущинское». А в глазах смешинки. Может быть, из него выйдет мужчина?

По рассказу Владимира Набокова «Сказка» был написан сценарий к фильму «СекСказка». Я стала размышлять, вспоминать, сопоставлять, читать «про это». Эротика. Что для меня означает это слово? Да ничего. Я об этом никогда не задумывалась. Как его обозначить одним понятным словом? Не знаю. Но почему я влюблялась в голос мужчины? По телефону я слушала голос, а внутри разливалось нечто такое, что нужно было немедленно завинтить, чтобы не расслабиться, не стать доступной. Почему я влюбилась в Машиного отца? Я не могла оторвать глаз от его профиля, затылка, век.

А почему такое простое стихотворение: «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись», - мне представляется загадочным и чувственным? Мое воображение рисует их рядом. Он ее нежно обнимает. А может, они и не рядом, это только фантазии поэта? Почему в фильме «Римские каникулы» так хочешь героям счастья, аж до вопля: «Ну же, милые, вы такие красивые, вы такая пара! Будьте вместе на всю жизнь!» А на экране ничего сексуального. Почему, когда Андрон Кончаловский мне что-то объясняет про роль, я смотрю на его прекрасные выразительные руки? И эти внутренние приливы чувств, чувственности, чего-то очень интимного я передавала партнеру в кадре. Что это? Ничего еще в

чистом виде сексуального нет, а как волнует.

Может, главное — это «до»? Может, главное — это прелюдия? Эротика — прелюдия?

Да, это самое сильное, непобедимое чувство. Оно сильнее. А там — будь все проклято! Знаю, что ничего хорошего там, где-то, когда-то не будет. Но что думать о том далеком? Жизнь одна. Она летит, летит, и неизвестно, что будет завтра. А вокруг: «Да живи ты сегодняшним днем!» И… и вплываешь в следующий неизбежный этап. Он менее романтичен. А через время в памяти остается только прелюдия. Ее ощущаешь во всех нюансах. А все бури, переполохи, казала-мазала, пришел — не пришел, твое-мое… Ах…

Герой фильма «СекСказка» проходит через увлечения разными женщинами, которых предоставляет ему женщина-черт. Как вы понимаете, именно мне и надлежало сыграть эту чертяку.

Игра. Чет-нечет. До двенадцати ночи герой, по уговору с ней, должен остановиться на одной из женщин. И эта женщина должна быть «нечет». Конечно, ему трудно остановиться. Все хороши. Все возбуждают. Хочется всех и всего. Героиня-черт иногда перевоплощается в одну из женщин и близко рассматривает героя. А его несет от одной к другой. К двенадцати ночи он понимает, что нашел, остановился. Вот она, единственная. Это героиня-черт оборачивается нежной очаровательной дамой. В ней есть все! Все от всех тех, других. И что-то такое еще, Нечто, чего и не объяснишь. Но поздно. Пробило двенадцать.

— Я выиграл! — восклицает герой.

— Нет, вы проиграли. Я четная.

Проиграл свою судьбу. Плоть любопытствует. А вдруг с кем-то другим будет лучше, интересней, по-другому? А пройдя круг, выпотрошенный, останавливается и понимает, что хорошее пропустил. Поезд ушел. Я не люблю цитат, но одна цитата давно меня заставила задуматься. «Быть честной, недоступной для света и куртизанкой для мужа — значит быть идеальной женщиной» (Бальзак).

Спать есть с кем, а просыпаться и пить по утрам кофе не с кем. Мужчины? Ведь я их наблюдала в долгих экспедициях. Нет, было буквально несколько уникальных людей. Они были заняты своим делом, которое поглощало их целиком. Или слишком умны, чтобы себя разбазаривать, если дома женщина стоящая. А так…

«Идеальные мужья», оставшиеся без драгоценной половины, сначала тихо поглядывают, потом поглаживают, ну а потом «как карта ляжет». Если он не «идеальный», то ведет себя открыто, громко и на полную железку.

Есть оригинальные однолюбы. Любит, пока избранница не станет прочитанной и выпотрошенной. Он ее разлюбил открыто и «честно». Появилась другая избранница. И он опять однолюб.

Есть охотники. А есть охотники вечные, неустанные, неутомимые. Охота открыта «круглый сезон». Преследуют добычу, но при этом примечают на будущее все, что «шевелится». Чтобы потом добиться. Разбивают окна, ломают двери. Ого, какая любовь! А наутро глаза пустые, мертвые и буравят пространство, — ну, появись же хоть тень, хоть фигура! И не важно — старая-молодая, худая-пышная. Те, кто таких ближе знают, — смеются. Даже мужчины. Все очень интересно.

…Эта картина снималась в Вильнюсе. Там у меня было много времени, чтобы понять, что тот предвестник внутреннего переполоха был не случаен. Вот оно и сбывается. Кино на глазах теряет свое предназначение и уровень. А дома… Да уже, по сути, его и нет. Только никто не говорит: «Конец». Я понимала, что это должна сделать я. К этому все шло. Меня подводили к этому. То давай двойное гражданство, — ты здесь, а я в Израиле. То — открою свою студию записи музыки, нужна твоя фамилия. Действуй, открывай! Я уже не соответствовала тому амплуа, которого требовало новое время. «Актриса, талант? Да кому это нужно». Недавно прочла в газете и не удивилась. По опросам, то есть по рейтингу, талант вышел на третье место. Сегодня интереснее что-то бьющее по нервам и мозгам. Талант не в моде. За талант много не платят. Тем более в кино. Кино и деньги — уже смешно, кто знает гонорары артиста. Нашего артиста.

А какие открываются перспективы! И дачи, и иномарки, и магазинчики, и часики, и дубленочки. А кожаных курточек сколько! Костя все это очень любил. А мир повидать, себя показать! Тут снимайся-снимайся, концертируй и пляши, — не потянешь. Вообще, я никогда не ожидала от Кости такого оживления. Он получил свое время. Он преобразился. «Я себя исчерпал». Для меня. То есть для жизни духовной. «Не хлебом единым» кончилось. А другого — не умею я.

Странные были у нас переговоры по телефону. Ехать ко мне в Вильнюс или не ехать? А семнадцать с половиной лет: «Я без тебя минуты жить не могу!» И моя мама говорит, что странное поведение. Звонит, уезжает, приезжает, раздражительный.

— Он не прилетит, наверное, — говорит мама.

— Тут что-то с самолетами в аэропорту, — говорит Костя.

Один самолет прилетел, второй. Всей группой сидим за столом. Завтра вставать не надо, выходной. Стук в дверь. Костя. Ну, тут даже не знаю, что и сказать. Такого пылающего взгляда я у него давно не видела. Глаза влюбленные, ногой давит под

столом мою ногу. Вся группа была им покорена. Какая ты счастливая! Мой никогда так не посмотрит. Сколько? Семнадцать лет? Вот это да!

А когда остались одни — ну, с ума сойти. В глаза смотреть боится. «Ты скажи, наконец, что происходит?» Нет, лучше не продолжать. Говорить не о чем. Как только приехали в Москву, примчался его папа. Не входя в квартиру, у порога, пошептались о чем-то очень далеком от меня. Отъездом сына в Вильнюс был крайне недоволен. Идет подготовка к другой жизни. Но, видно, не все еще созрело. Скоро все станет на свои места. Но до этого «скоро» еще надо было дожить. А сейчас, после «СекСказки», у меня отдых. Все. С картинами закончу и буду отдыхать. Тогда и разберусь.

Какие непостижимые трюки меня преследовали с восемьдесят седьмого по девяносто первый год. Последние кадры «Морячки» снимались в цирке на Цветном бульваре. Я стою на арене. И вдруг с купола летит мешок-груз. Он весит около трех-четырех кэгэ. Кто-то из осветителей, поправляя свет, сдвинул этот груз. И этот груз падает в полуметре от меня. Я даже охнуть не успела. Только пыль столбом. У меня сохранилась эта жуткая съемка. Костя снимал на видео. В ту съемку он все куда-то отъезжал, возвращался. А с моей костюмершей был обморок, в цирк вызывали «скорую». Ах, если бы можно было написать все… Уж точно не соскучишься. Но опустим многое…

Это ЧП. Юрий Владимирович Никулин тут же приехал в цирк. «Ты знаешь, этот мешок летит, набирает скорость и вес около тонны. Молись, что жива. Расплющил бы…»

Может, кто-то приказал: «Живи!»? Терпи! Семнадцать лет тебе попризнавались, и будя. Наступает в твоей личной жизни другое время, Людмилка.

«СекСказка», женщина-черт. Сколько в том фильме произошло драматических моментов и у меня, и у других членов съемочной группы. А ведь папа всегда говорил: «Никогда не будь рядом, иде пахнить небожеским».

Глава шестая. Белые хризантемы

Эта глава будет совсем сбивчива и непоследовательна. По порядку не получается.

В декабре 1991 года я повисла в воздухе. Это уже не двадцать пять и не тридцать пять, если родилась в год ударного стахановского движения. С чего начинать? Опять начинать? Люди продолжают, отдыхают, доживают. А мне опять начинать. Там прошла треть жизни. Одна знакомая Кости из Москонцерта говорила мне: «Вспомните, как он ухаживал за вами, когда вы сломали ногу».

— Да, это так. Но если бы с ним что-то случилось, я поступила бы так же. Это верно. По-моему, он говорит, что это все для родителей. Они хотят внуков своих, понимаете!

— Понимаю.

Это отвратительно, но, к сожалению, я принадлежу к тем людям, которые в особые моменты жизни все переносят на себя. Хотя и борюсь, борюсь с этим. Нет, я бы не смогла не отдать долга. Я бы не смогла опуститься. Я бы не смогла притворяться, угождать.

Ну и что? Ну и дура. А иногда как надо и подхихикнуть, и подсоврать, и восхищнуться. Думаете, не пробовала? Неоднократно. А приду домой, посмотрю на свое лживое лицо в зеркало, и плюнуть хочется. Противно. Завтра скажу. Завтра брошу. Завтра захлопну. И бросала. И говорила. И хлопала. Потому и не прижилась ни в одном коллективе. Ни в одном браке. Коллектив, брак — это насилие. Вообще, при слове «брак» у меня еще с детства тоска. Почему они вступают в какой-то брак, если они хотят быть счастливыми? «Брак — это торжественная сдача в эксплуатацию».

У меня слово «брак» сразу ассоциируется с браком пленки. Брак пленки — это значит переснимать. Все заново. Опять плакать, рыдать, умирать. Еще и еще раз. Ужас. Брак — изделие неполноценное. «Этот щенок отбракованный». Они вступили в брак. Какая-то темная штука этот брак. Но «браком» он становился позже. А вначале, в первые счастливые месяцы влюбленности, притирки, открытия друг друга, разве думаешь о «браке»? Это потом…

Это потом она всегда стремится сказать правду, доведенная до отчаяния. Швыряет ему правду в лицо, забывая о чувстве самосохранения. Швыряет правду ради мига победного удовлетворения. Ну и что? А он со своими изменами остается немым до могилы. Во как! И только двое могут знать, что именно

приводит к разрыву. Это до конца невозможно объяснить третьему. Судить о мучительной боли разрыва, распада двух людей может тот, кто испытал нечто подобное. В браке витает измена. Это мина или взорвется, или ее кто-то из двоих осторожно разминирует. Кто из двоих умнее. Брак — искусство.

Марк Наумович Бернес после смерти жены долго жил один. Никого рядом с собой не терпел. «Знаешь, в это дело надо нырять, когда тебе двадцать, когда в голове пусто и полно внизу. А теперь, понимаешь, зеленая, сидишь рядом с ней и взвешиваешь, и внимательно смотришь, а что там у нее во рту с правым коренным? А не болел ли кто-то там у нее в десятом поколении энцефалитом? Вот так. Было у меня одно увлечение. Жена долго болела. Когда она умерла, я так страдал. Приходила эта красивая женщина ко мне. Ухаживала, кормила. Спала на раскладушке. Через неделю я понял, что на ней не женюсь никогда. А как сладко было встречаться в подъездах, у друзей, в машине. Нет. Дура ты зеленая. Ничего в жизни не понимаешь. Потом поймешь».

Но как хочется жить без оглядки, без испуга, что тебя обманывают. У меня дома с утра до вечера, ежедневно, были признания в любви. От этих «еже» в какой-то момент можно в это поверить. И как-то в разгар ежедневных «еже-еже» один артист в остроумной компании спросил: «Ну, бабы, назовите мне женщину, которая в своей жизни не была обманута?» Я тут же хотела вскочить. Но противный, далеко не глупый мой внутренний голос приказал: «Люся, стоп! Сиди и не рыпайся». Он всегда прав, мой внутренний голос. Он — не я.

Когда же это началось? С чего? Истерики, швыряние стульев, телефонов. И желание вызвать меня на нервный срыв. Когда я почувствовала, что назавтра нет никаких сил ехать на съемку. Да вы что! Я собрала в красивые кофры все его вещи. Красивое он любил. И что ж, пока!

— Прости!

— За что?

«Да, я зажрался. Я каюсь, каюсь». Каюсь. В чем? Я смотрю на него. Ба! Да это уже совсем другой человек. Как изменился тот человек из семидесятых… Как быстро он принял железную логику нового времени. Одет с иголочки, руки в брюки, глядит на всех поверх голов. Быстро переходит на «ты», всех по плечу. «У меня братья в Нью-Йорке». Какие, откуда? Какая метаморфоза. Когда же это началось?

Вдруг мы стали часто менять музыкантов. «Они не возбуждают». А почему они должны возбуждать его? Они на сцене для публики. Но тогда мне было не до того, чтобы разбираться в «возбуждениях». У меня по три концерта в день. Силы, силы.

Денег платят больше. И неизвестно, сколько это продлится. Ничего не понятно с этой свободой. Куда она выльется. Но после концертов костюмерша стала подольше задерживаться со мной. А Костя — с музыкантами, хоть они его и не возбуждают.

Костюмерша пришла ко мне из того, первого, «Бенефиса» семьдесят восьмого года. Сама вызвалась мне что-то прострочить — я шью руками. Была долгое время внимательна и скромна. Изучила многое, что мне нравилось, много мне шила. Первые вещи все были с укороченной талией. Все время вшивали заплаты. Она дома примеряла мои наряды, ставила мою пластинку, пела и танцевала. Ну что ж, думаю, поклонница. Она не была замужем и постепенно стала своим человеком в нашей семье. Прошли годы, многое изменилось. Она мне стала рассказывать, что все у нее спрашивают, не сестра ли мне она. А потом уже, не дочь ли она моя. Родилась она в 1948 году. А чем она хуже? Она тоже пишет роман. Стала ненавидеть слово «костюмерша»: «Я мастер! Теперь я получаю в долларах, а не жалкие рубли».

Интересная история. Мы разошлись с Костей. Она стала звонить ему, Костя ей. «Он такой податливый». А мне все письма присылала. Недавно написала, что он и сейчас ей часто звонит. «Но своего телефона не дает».

А вообще, грош мне цена в базарный день. Но как же покладисто и деликатно, тонко и хитро надо было себя вести, чтобы так просто обвести такого, казалось бы, многоопытного и проницательного человека, как я. Грош, грош мне цена.

Передо мной листок бумаги. На нем телефоны, по которым теперь мне самой нужно звонить, договариваться, платить, отдавать, устраиваться и т. д. Теперь у меня ни музыканта, ни директора, ни друга, ни товарища, не говоря уже о чем-то «брачном». Все выбраковалось. Испарилось. Теперь делай все сама. «Да если бы не я, ты бы ничего не добилась». Это я помню. Потому и повторяюсь.

Дружба, близкое общение предполагают широкую свободу ума. Даже для самого бескорыстного человека красота, талант или успех друга, подруги, в сравнении с его собственными достоинствами, всегда болезненны. И вообще, любить человека, который что-то делает лучше тебя, очень трудно. Я дружила всегда до конца. В детстве была очень требовательна, писала письма и очень нежные подписи на фотографиях. Ревновала, если любимая подруга заводила дружбу с другой девочкой. Была готова отдать жизнь, пожертвовать всем ради подруги. Прохладные отношения и чувства меня не удовлетворяли.

Дружила я в школе с одной девочкой. Души в ней не чаяла.

Так хотелось иметь сестру, о ком-то заботиться. А она стала гулять еще и с другой подружкой. И вот мы договорились пойти в кино. Иду к ней, а ее мама говорит, что она уже ушла в кино. Как? А я? Бегу по Клочковской, через Лопань к кинотеатру им. Дзержинского. Стою у выхода из кинотеатра, вся трясусь. Сначала я подумала, что перепутала сеансы. Но нет. И вот распахиваются двери. Толпой валит счастливый советский зритель. Выходит моя любимая подруга с той, другой девочкой. Видит меня, и ее лицо становится непроницаемым.

— Ну как же, почему меня не подождала?

— А мы нигде и не были.

— Как? Вы только что вышли из зала.

— Какого зала? Мы просто гуляли здесь.

Вторая девочка, опустив голову, отошла в сторону. Что произошло с моим открытым доверчивым организмом в тот момент! Не знаю. Но произошло на всю жизнь. Реагировать на такое открытое, размашистое… Я отступаю. Я молчу. Немею. Меня нет.

И с Костей выяснять отношения уже было бессмысленно. «Я этого не говорил!» И оба смотрим друг на друга, и все понимаем. И я отступаю. Молчу. Немею. Меня нет.

Когда же это началось? На сцене мой голос стал глушить звукорежиссер. Ору что есть мочи. Никакого тембра, тепла. В Израиле, в восемьдесят девятом году, в антракте приходили зрители с просьбой приглушить аккомпанемент. Такого не было ни разу в нашей работе. Я к звукорежиссеру.

— У меня все как всегда. У Константина Тобяшевича все ручки на инструменте отпущены, говорите с ним.

Для чего? Чтобы услышать: «Я этого не делал!!!»

В Израиле он очень хотел произвести впечатление. Сколько невероятных поворотов и ухищрений, о которых даже вспоминать не хочется. За видимым обаянием и приятностью здорово скрывалась большая нравственная распущенность.

Когда же это началось? Может, тогда, когда я его долго ждала у магазина, а он так и пришел без продуктов и не смотрел мне в глаза? Это было летом. А зимой, около того же магазина, мы с Мариком, Леночкой и Тузиком долго играли на морозе. А он опять пришел без продуктов. И тоже не смотрел в глаза? То было время, когда еще не было рыночной экономики и прилавки были пустыми. Вот мне и дали по знакомству адрес того магазина. Может, тогда? Не знаю.

Заканчиваю «СекСказку». Никто меня не встречает. Тяну свои «секс-наряды». Зачем везде тяну свое? Какая сумка тяжелая. Но кто знал, что так скоро все перевернется в жизни. Приближался

Новый год. И «операцию» со мной, как я теперь понимаю, его семье надо было закончить к празднику. Тяну сумки и не верю, что это я. Что это так. Что это произошло со мной. Как назло, на съемке сильно вывихнула больную ногу. Еще и хромаю. И слезы душат.

А может, это я такая? Злая. Недобрая. Не даю человеку раскрыться. Наверное, я в чем-то его не поняла, не увидела главных талантов. Это я ненормальный скорпион. Это я сдвинутая. Ну, нет у меня ни сил, ни возбуждения на пуськи-муськи. Я не могу и там и там. Ну вот, скоро все закончится, поедем отдыхать, ну, как было всегда раньше.

«Раньше — целовали сраку генеральше» — единственная вульгарность, которую позволила себе однажды моя дворянская бабушка, Татьяна Ивановна Симонова. Она сидела перед самоваром. В чеховской прическе. С блюдцем в руках. Пила чай с солью. Это было в голод. Она произнесла это слово с «достоинством», как и все, что говорила и делала. Все с достоинством. И вдруг такое слово! «Ого! Даже мой папа такого слова не говорил!» Я точно помню, что об этом тогда подумала. И запомнила это ее выражение и теперь часто его повторяю.

Когда же это началось? В Америке летом девяносто первого года он все забегал в магазины детских игрушек. Но это игрушки для совсем маленьких. А Марик и Леночка тогда уже вышли из младшего возраста. Значит, это уже тогда продолжалось…

Приплелась домой. Пусто. Мама молчит. Потом: «Звонил Костя. Очень страдает, но просил отдать какой-то инструмент. Наверху, в моем шкафу, но я боюсь по лестнице…» Мы эти инструменты последние годы меняли, продавали, покупали. А в голове ни одной спасительной мысли. Конечно, я сама загнала себя в тупик. Так работать без передыху, когда вздохнешь и бежишь, а выдохнуть некогда. А он ведь как это понимал. Знал, что я патологически боюсь повторения тех долгих лет безработицы. Как люди, знающие, что такое бомбы, боятся войны. И я позвонила. Отошла от своих правил.

Ах, какие интонации прежней нежности и тепла. Конечно, все я сама придумала. Конечно, все дело в моем негибком максималистском характере. Сутки мы провели в молчании. За невнятными объяснениями и более чем странным поведением я угадывала влияние другого ума, у которого он был в плену. Этот ум я хорошо узнала.

«Папа сказал, она позвонит, и ты позвонила».

Ну, если я позвонила, то надо что-то объяснить. Но ничего не происходит — ни туда, ни сюда. Вот попробуйте так. Моя мама ходит по коридору. Она что-то определенно знает. «Положите

трубку» — часто слышала я его вежливое обращение к ней. Но я была уверена, что он говорил с родителями.

Его что-то мучило. В таком состоянии не вступают в новую, светлую волну жизни. Влюбленный человек ведет себя иначе. Да я бы это сразу распознала. И конечно, никогда бы не позвонила. «Ах, зачем я сказал родителям…» О чем? Но я молчу. Когда-то он, приехав от родителей, сказал, что у меня совсем другой запах: «Надо заново привыкать». Все это сейчас собиралось воедино. Я начинала трезво понимать, что все давно уже где-то завязано, что это поездки не к родителям. А может, именно у родителей это и происходит. Они на даче. Он в Москве.

«Я сломался, сбился с пути, опустился…»

Жил рядом, признавался в любви до, вот-вот, самого последнего дня. Даже моя мама бросала: «Костя, побойтесь Бога, ведь так же нельзя…» И — «опустился». Когда? Куда?

«Я жил с женщиной с ребенком».

Мое сердце увеличилось в объеме так мощно, что я стала задыхаться, а лицо до боли сжалось, потом растеклось и стало, наверное, перевернутым, потому что на его лице я увидела настоящий ужас, смешанный с глубоким тайным и вдруг вырвавшимся наружу победным превосходством, — ну, как мы вас, звезд?! Резкий звонок телефона. «Папочка, я признался Люсе, что я ей изменял… и… изменил».

Единственное число уже ничего не меняло. Несметная сила легко подняла меня на ноги, впихнула в шубу, вложила мне в руки ключи от машины, провела меня по коридору, где в приоткрытой двери стояла моя мама, спустила меня лифтом вниз и выбросила на улицу. Эх, треть жизни, прощай! В голове только одна мысль — бежать от этой «типичной» семьи! Бежать в свободу! Бежать в никуда! Но — бежать!

На улице шел крупными тяжелыми хлопьями снег.

Такой же снег шел в родном Харькове под Новый год. Впереди папа с баяном, и рядом мы с мамой. Идем на праздник. Идем нести «радысть усем людя-ам». «Ето ж люди, дочурка, они нас з Лёлюю ждуть».

Нет, я не расплачусь. Сейчас нужно, как Скарлетт О’Хара. Нужно сесть в машину, включить свет, первую скорость и — вперед. Костя выскочил из подъезда с сумкой. Вот и вещи собрал, которые принес для недолгих переговоров, молодец. Не забыл, ничего не забыл. Так мне и надо. А это уже не игра. Он бросается на капот. Машина трогается с места. Он что-то кричит, приставляет руки к груди. Но я его уже не слышу. Мысли, видения, лица — все превратилось в разбитую бомбой груду кирпичей, которая еще недавно была красивым домом. О, сколько

домов у меня на глазах рушилось во время войны. Но эта война разрушает самое важное — веру. Веру в человеческую искренность и верность. Однажды я где-то прочла и была удивлена. Оказывается, во времена Чингисхана самое страшное наказание было за преступление с формулировкой: «За обман доверившегося тебе».

Почему человек мягкий и вежливый вдруг стал проявлять такую мощную агрессию? Его поведение во многом определял его отец. Однажды был взрыв ярости жуткой. Мы ехали на Птичий рынок купить собаку. В машине были Маша, Марик и Леночка. На повороте нас резко, впритирку обогнал рейсовый автобус-такси. Костя выскочил из машины к водителю. И ему в лицо пшикнул из газового баллончика. Среди белого дня!

Это восемьдесят девятый год. Атмосфера жуткого разброда. Люди взнервлённые, спешащие, растерянные, а тут стоит машина поперек дороги, мешает движению. И скандал. Водитель закрывает лицо, размахивает железкой — крики, ругня! А мы в ужасе сидим в машине. По ней бьют ногами. Я опустила голову. Не дай бог узнают — «эти звезды, как распоясались»…

Ехали обратно. «Я сейчас был как Давыдыч» (как папа, Тобяш Давидович). Программа уничтожения в поле отца. Тот ее активизировал. И сын ее выполнил. И если из всего вороха памяти извлекаешь то или иное, наверное, оно и есть главное, суть. На армейской службе, чтобы не водить танки, он провел всех профессоров, притворившись, что плохо видит. И был переведен в военный ансамбль. Рассказывал весело. Но мне не нравится, когда мужчина отлынивает от военной службы. И об этом редко вспоминалось. «Я притворился». «Я выкрутился». Главный лозунг жизни — «выкручусь». Да я в этом не сомневаюсь. Каждое воскресенье не пропускал программу «Служу Советскому Союзу!». И смотрел со слезами в глазах. Что это?

Куда я ехала — не знаю. Заботясь обо мне, он деликатно и вежливо отвадил от меня многих. «Ее нет дома». «Она занята». «Она не сможет». «Ну что, мама, тебе, когда ни позвонишь, ты все отдыхаешь?» Как многое со временем узнаешь. Воистину, тесен мир. До смешного. Вот Белорусский вокзал. В голове круговерть мыслей. И одна мысль побеждает все остальные: «Люся, стоп! Завтра у тебя в 9.30 съемка в «Гардемаринах». Съемка в Кремле. Последний съемочный день. Люся, милая, стоп! Ты сейчас не имеешь права предаваться удару. Ты должна держаться».

Все так же падал крупный снег. Щетки работали: туда-сюда, туда-сюда. Ночь. Тишина. Милиции нет. Машин очень мало. На мосту я развернула машину и поехала домой. Моя мама всю сцену около машины видела из окна. Вопросов не было. Тут же

раздался звонок. Звонил его папа.

— Где мой сын?!

— Уехал.

— Куда?

— Не знаю… Костя как-то уж очень изменился. Что же вы так?

— Это не я. Это он… сам.

— Ну, «это», конечно, он сам.

— Вы знаете, он ведь сразу был с вами, он еще не нагулялся.

— Но он уже был женат.

— …Знаете что??? Вы вообще нам не по рангу!

Какой отчаянный крик! Собственно, вот и все. Только разговор с папой. Я не подошла. По рангу. А семнадцать с половиной лет? Как-то Костя сказал, что надо дружить с «равными», т. е. по рангу. «Вот тут мы согласны, скажи, Серега». Как же нужно вычеркнуть все из жизни! Но ведь это ее треть… Снимаю шляпу. Расчет блестящий. В десятку. Близкие люди знают, куда бить. На то они и близкие. Актер, выжатый как тряпка после съемки, спектакля, концерта, тащится домой, за покоем и спасением, тащится в свой тыл, в свое убежище, — здесь он отдышится, поплачется, облегчит душу. А убрать этот тыл, — он и провалится. Никому этого не желаю. Даже тем, кто меня на дух не переносит.

Если в доме актер мужчина, его половина может ради него профессию свою бросить, жить его интересами, согревать душу, заботиться о здоровье. А если в семье артистка жена? Какой мужчина возьмет на себя подобную миссию? Как мне долго клялись, что это случилось со мной. О, наконец-то, за все мои нескладности пришел покой. На моем месте любая женщина в это поверила бы. Это произошло со мной. Редкое исключение. Пора поверить. Хватит на «белое» говорить «черное». Белое есть белое. Какой цвет! У меня будет много белых нарядов и много-много осенних белых хризантем.

Ничему жизнь меня не научила. Меня же предупреждали. Последнее время из страха, не имея духа что-то объяснить, он передавал мне в руки письма. А в них ничего ясного. Какие-то мелкие обиды, недостаток внимания в такой-то день, о котором я и не помню. А вот конец одного письма, последнего, интересный.

«А люблю я тебя всегда, любил и буду любить, что бы ни случилось».

Что бы ни случилось? Разве это не предупреждение? А в списке телефонов, куда мне теперь предстояло везде самой звонить, нервная запись о себе самом, но в третьем лице: «Костя сделал стратегическую ошибку — начал метаться». Я тогда

позвонила его другу в Нью-Йорк, и он мне тоже сказал: «Понимаете, он мечется». Куда мечется? И что мечет?

А вот и поучение мне, дуре, кинозвезде: «…чтобы найти истину, каждый должен хоть раз в жизни освободиться от усвоенных им представлений и совершенно заново построить систему своих взглядов. Декарт, стр. 427». Он тогда увлекался романами Пикуля. Наверное, поэтому и написал номер страницы. Недавно мне попались эти листки. Значит, мне не приснилось все это.

«Измельчал современный мужчина», - пел Вертинский в начале века. А теперь ведь последняя, загнивающая стадия…

Значит, что? Какой вывод? Никому не верь, и никто тебя не обманет.

«Не, дочурка, зарекалася ворона гавно клювать».

Глава седьмая. Ю.В.

— Звоню из Валентиновки.

— Слышу, голос ваш не рядом.

— Слышишь? Мне Рабиновича.

— Рабинович на даче.

— А разве у Рабиновича есть дача?

— Он на даче показаний.

Хохочу как резаная.

— Я вот про тебя подумал. Ты все написала, что хотела?

— Как вам читала по телефону, так и оставила. Я его хорошо поздравила, что они просили, — не изменила.

— Правильно. Оставь на проходной. Я прочту.

— Ага. Я… чем дальше, все больше и больше о вас думаю.

— Какое совпадение. Мне в декабре стукнет семьдесят пять. Я представляю, как ты обо мне говорить будешь, когда мне стукнет девяносто!

Стремительно несутся дни. Р-раз! И нет дня. И не вспомнишь, а что же было вчера? Ничего. Серо. Пусто.

Потому что нет Ю.В. Эх, когда у меня бывали серые дни, когда я начинала беспричинно нервничать, это был точный признак, — целую неделю не звонил Ю.В. Мне так хочется, чтобы вы, уважаемые читатели-зрители, знали как можно больше о Ю.В. Знали то, чего нет на экране. Знали то, без чего нет жизни, нет веры в нее. Знали, как Ю.В. мог превратить мрак в свет, как умел подбодрить и заставить заново поверить в самое себя. И талантливо, немногословно напомнить, что это большое счастье, что живешь и что жизнь прекрасна. И сразу все твои беды становятся «бедками». А горе — темной полосой, за которой обязательно придет светлая. А самое интересное, что Ю.В. был таким всегда.

Мне рассказывал его друг, когда Юрий Владимирович был еще просто Юрой, они однажды, после представления отмечали важную дату. Никулин сказал, что придет позже. У одного человека неприятности. Надо помочь. Денег у Никулина тогда вообще не было, власти тем более. Но авторитет среди товарищей был огромен. Он не мог не пойти к тому человеку. Не мог — и все. Я спросила, получилось ли помочь?

— Конечно. Юра поставил его на ноги. Через месяц тот работал. Юру помнит всегда. А как же?

Поставил его на ноги. А я подумала — разве его одного?

— Здрасуйце! А это папа! Продолжаю отмечать свой юбилей. Тут меня наградили как «Лицо года». В «Метрополе» дело было.

Иду в зал. Смотрю — за мной целая свита. Оглянулся — это свита нашего министра иностранных дел. Ну, я и говорю швейцару: этих товарищей пропустите. Это мои люди.

— Смеялись?

В трубке знаменитое молчание. Это молчание было всегда. После каждого анекдота, после каждой истории. Кто первый не выдержит, расколется. Конечно, я. Я иногда вообще анекдотов не понимаю. Или доходит позже. Все смеются, а я не понимаю, что смешного. Уже все успокоились, а до меня наконец-то дошло. И я смеюсь. Все смотрят: а что это с ней? В этом — я вся в своего папу. Иногда после гостей он спрашивал у мамы:

— Лёль, а што они смеялись? Што там было смешнога?

— Марк-котик, ты ведь тоже смеялся.

— Да, Лёль, я ж з усеми, за компанию.

Вот и я так же. Пока я представила, как наш министр вежливо, со светской улыбкой прошел в зал приемов с разрешения Ю.В. И увидела лицо швейцара… И уже тогда я захохотала. Как всегда. Громко. С удовольствием. И всласть!

Что-то я давно уже не смеялась так всласть.

— Ах, Юрий Владимирович, какой вы все-таки. Вы же герой картины. Это вам не веселая тройка «Пес да барбос». Ну что вы такой нескладный. Брюки как галифе. Что там у вас в карманах? Вы — герой! А что такое герой фильма? А? Это значит, что женскую половину зала вы должны покорить. Все женщины в зале — ваши!

— Ну зачем же мне их так много… одному… ползала?

— Подождите, Юрий Владимирович. Не смешите меня. Ну что, что у вас в карманах? Ну, покажите.

— Ну, что у меня… Ну, вот очки, записная книжка… Теперь ношу ее всегда с собой. Раз где-то оставил, а у меня там анекдотов сто было… Пропала. Теперь она всегда тут. Та-ак… ну, платок носовой, ручка, расческа, бумажник с паспортом, кошелек с суточными, ну… всякие адреса и фамилии, их еще в книжку не переписал… Тут еще лекарства разные…

— Ну, Юрий Владимирович. С собой это все таскать? Есть же удобные небольшие сумки для этого. Вам очень бы пошла такая. Такой склад в карманах… Ну, Юрий Владимирович…

Утро. Еще до грима. Шесть утра. Весь съемочный поезд зашевелился. У нас завтрак.

Каждое утро на завтрак неизменный сгущенный кофе, сыр, хлеб. И никаких «разнообразий». Прекрасно. Казахстан. Тридцать километров от города Джамбул. Уже полтора месяца живем в поезде. Двадцать восемь градусов минус. Как и должно быть в сорок втором году. Фильм Алексея Германа «Двадцать дней без

войны». Стук-стук. Знаю, что это Ю.В. Открываю дверь купе. И… обомлела! Передо мной в вечерней тройке, белоснежной рубашке с галстуком стоит эффектный мужчина.

— Доброе утро! Кипяток готов, будем завтракать.

— Ну, Юрий Владимирович! Ну, какой вы, однако… Ведь можете, ведь умеете, ведь знаете… Можно же без оттопыренных карманов. Ну вот! Другое дело. Теперь все! Половина зала — ваша. Все женщины будут от вас без ума. Ура!

Во время моей захлебывающейся тирады Никулин наигранно улыбался, свернув «ротик бантиком», а взор устремив «долу». А руки держит за спиной, как будто он проштрафился, а его наказали.

— Значит, можно без галифе?

Юрий Владимирович вынул из-за спины большой прозрачный целлофановый пакет. А в нем: расческа, бумажник с паспортом, ручка, адреса, кошелек с суточными, носовой платок, записная книжка. И два больших бутерброда с сыром к утреннему завтраку.

Никулин разрешил мне называть его папой. Так получилось, что со временем он оказался единственным человеком, к которому я могла обратиться с просьбой. Я знала, что он меня поймет так, как надо. Я даже не знаю, если бы не Ю.В., как бы сохранила все же веру в хорошее. Не знаю. Почти полтора года съемок мы существовали в ох каких непростых условиях. Там все человеческие пороки, дурости и слабости не спрячешь. В тех «Двадцати днях без войны» жили почти как на войне. То была своя война, в которой дружба и верность наикрепчайшие. Ю.В. мой друг. Ведь мои ближайшие подруги, которые знали меня с детства, когда я была просто Люсей с улицы Клочковской, разъехались кто куда. С ними — только по телефону. А жизнь последних лет десяти показала, что быть до конца откровенным, говорить обо всем, не скрывать своих слабостей… Нет. Таких друзей у меня больше не было. Когда ты открыт, не защищен… А каким можно быть, если беда застает врасплох, как снег в летний день. Потом обязательно за твоей открытостью следует отчужденность.

Это «як закон». А Ю.В. вне закона. Он сам по себе. В самых разных ситуациях. Всегда верен своей интонации. Живет в своей собственной атмосфере. А как интересно в концерте! Выходят народные-перенародные, величественные, с прямыми спинами и вздернутыми подбородками. Объявляют Ю.В. Сутулый, седой, с мягкой улыбкой. «Здрасуйце. Добрый вечер!» И все. Никого до него на сцене не было. Зал наполняется атмосферой Простоты и Добра. Простота — точный признак вкуса и стиля. Добиться простоты часто не удается даже самым талантливым. Вот секрет.

Недаром есть выражение — «все гениальное так просто». А вот попробуйте. А Никулин был таким.

Разве сейчас кто-нибудь поздравит просто так, что вот, мол, видел по ТВ или прочел мимоходом в газете. Нет. Ну, очень-очень редко. А Ю.В.:

— Это я, папа. Поздравляю тебя с государственной премией. Очень рад. Я первый узнал.

— Ну, папа, я никак не ожидала…

— И правильно. Ждать нужно выходных дней… получше. Я теперь в Фонде мира. Мы тут вечер устроили. Ну, для наших ветеранов. Дали им всякие подарки, цветы. Идет ко мне навстречу мужик, поддатый, моего возраста:

«Слушай, Никулин, ты возглавляешь Фонд мира?»

«Ну я».

«А х-хули война в Чечне?»

Я, знаешь, девочка, вдруг растерялся. А лицо у мужика хитрое, думает, он меня загнал… Я ему и говорю: «Да если б я его не возглавлял, ты бы сейчас в заложниках сидел».

И опять его молчание. И моя реакция. И его молчаливое удовольствие.

— Да, тут недавно у меня была твоя знакомая с ребятами. Я их хорошо посадил. Они довольны. Представление понравилось. А так… хожу по лесу, собираю… анекдоты. Ну, пока!

В воспоминаниях о другом человеке больше всего запоминается что-то такое…

Ну, что-то из последнего.

3 августа девяносто седьмого года.

— Я в больнице. Звоню тебе. Ты у меня одна из первых.

Молчание.

— Потому что ты на «Г».

Молчание.

— А «Г» — это лучше, чем «Б».

Молчание.

— Тут у меня список, кому я должен позвонить.

Молчание.

— Тут меня так прихватило, что я весь мокрый и слезы сами…

Молчание.

— Подумал, если еще раз будет так — не вынесу…

Молчание.

— Закончу жизнь…

Не могу повторить этого слова, такого невозможного, несовместимого с Ю.В. И, как бы это почувствовав, Ю.В. спокойно, как будто не говорил этого слова, продолжал:

— Я согласился на операцию. Около сердца какой-то сосуд сузился и не пропускает кровь. Возраст не тот, чтобы шунтировать как надо. Будут через пах тянуть шнур.

Дорогой, драгоценный, неповторимый Ю.В. Лишь бы выдержал, не дрогнул этот сосуд, этот мускул, который прячется в вашей доброй груди. Ну, выдержи, мускул, выдержи! Ты же выдержал и фронт, и непосильный труд, и беды, и победы, и успех, и славу! Безграничную славу и любовь всех. Абсолютно всех!

— Вчера лежал весь в проводах. Нужно лежать долго. Все чешется. Ну, почесался, что-то отлетело. Прибежали врачи, все в чепчиках и халатах.

«Вам плохо?»

«Да нет, — говорю, — только почесался, а больше ничего».

«Надо потерпеть, товарищ Никулин». Вот и терплю. Слушай, приходит ребе в синаногу и говорит: «Вот вы свечи палите, а куда воск, что оплывает, куда его деваете?» — «Собираем и на переплавку». — «А вот мацу едите — куда крошки?» — «Собираем, перетираем в муку и опять маца». — «А вот когда делаете обрезание, куда деваете?» — Куда? Ну… вот вы пришли…

Я молчу… я задохнулась.

— Молись за меня 5 августа. Ты верная и настоящая. Я тебя за это люблю… Пока.

Пока. Конечно, пока. И не «до свидания». И ни за что не «прощайте».

Не «прощайте», Ю.В. Мое общение с вами — это прекрасные часы, дни, месяцы и годы. Это время открытия мощной и самой скромной из всех суперзвезд, которая разгадала наивысшую загадку жизни — быть всегда современным.

Никакого прощания.

Я на всю жизнь знаю, что такое великий человек. Великий на все времена. В полном смысле. А то говорят про всех — великий, великий, великий. Да, прекрасный артист, да, изумительный музыкант, да, отменно умен и дипломатичен. Великие требуют, чтобы о них говорили величественно. Великий Ю.В. никогда не испытывал потребности кем-либо командовать. У Ю.В. огромная душа. Он универсален. Он знал, как найти общий язык со всеми и со всем, что есть в жизни.

В тот самый час, в преддверии Нового, 1992 года, я осталась подвешенной в воздухе, меня воздушной лавиной прибило на Цветной бульвар к Ю.В.

Как интересно. В 1962 году был тяжелый разрыв с Машиным отцом. Долго я не могла оправиться. Как это так — я буду с Машенькой жить без ее отца? Мне казалось, что мы — на всю

жизнь. А как же иначе? А ровно через тридцать лет такой же разрыв. Только теперь не верила я. Но мне внушали годами, что это — на всю жизнь. А как же иначе? Такая любовь! Такая, что пришлось поверить. А оказалось, что все слова и признания — замечательный пшик! Семнадцать лет пшика. А? Сейчас мне смешно, как я продефилировала тогда через проходную цирка. Всем своим видом я внушала заразительное жизнелюбие и оптимизм. Я несла себя прямо, как символ иронии над самой собой. Разве кто-нибудь из женщин на вахте цирка мог догадаться, что я находилась на грани отчаяния. Заскочила в кабинет Ю.В. и тут уж…

Вот чем тяжела шапка Мономаха. Шапка популярности, веселой маски. Поплакать негде. А у Ю.В. можно. Захлебываясь, я ему рассказывала, как я встречала Новый год. О! Я ездила по оставшимся друзьям, которые совсем не понимали происходящего. Ведь за столько лет все привыкли к «идеальному мужу», к идеальной паре. И вдруг! «Люся, да ерунда это!» Я ездила из конца в конец Москвы, одна за рулем машины, которую не водила столько лет. Я ездила и орала! Ни в одной несыгранной и сыгранной роли я не взбиралась и не воспроизводила десятой доли такого дикого вопля раненого, недобитого животного.

Люся, стоп! В голове дикий разброд. И лишь выныривает фраза из завещания Юлиуса Фучика: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!» Сейчас, в сию минуту, если что-то тебе и принадлежит, так это твоя собственная жизнь. Это сейчас твое единственное достояние. А нож в спине торчит, и ой как больно. Ой как больно. Да неужели я приближаюсь к тому самовосприятию, когда мысль о собственной жизни… да нет! Смелее! Мысль о смерти побеждает другую мысль? К черту жизнь! К черту смерть! Ю.В., как пережить? Что мне делать?

Ю.В. слушал меня и молчал. Молчал долго. Он стоял на фоне окна, отвернувшись от меня. Я не видела его лица. Я смутно помню, что вокруг него — на столе, на стенных полках, на полу — стояло множество пестрых клоунов из разных стран. И тряпичных, и кожаных, и стеклянных, и фарфоровых. Один фарфоровый клоун стоит у нас дома. Его зовут Ю.В.

— Хочешь чаю?

— Не знаю…

Он набрал номер телефона и сказал: «Принесите кофе с молоком и бутерброд с сыром. А сгущенки нет?.. А сгущенки нет».

— Ну что… Только время. Если я тебе скажу, что никто не стоит вот этой твоей… растерянности, ты сейчас и не поймешь. Потом, потом… время… Работай. Отбрасывай все, если сможешь.

Не ожидал. Никак не ожидал. Люди, люди, люди… Но, конечно, это удар. Ниже пояса.

«Никогда» — какое противное, окончательное слово. Как часто теперь его приходится произносить.

Никогда. Никогда. Никогда. Пусто. Пусто. Пустота… Даже обида, даже разочарование, даже душевная боль, оскорбление и грубость… Нет, пустота сильнее.

Пустота. Никогда уже не буду так смеяться. Пустота. Никогда уже не скажу: «Ю.В., что мне делать?»

Где вы, Ю.В.?

Глава восьмая. Клёво

Я бегала на кладбище каждый день. Непонятное, невысказываемое сложное чувство влекло меня к кладбищу. Тревожная мысль о смерти преследовала меня с детства. Может быть, потому, что жизнь моя началась с войны, трупов и виселиц? Не знаю… Я летела на кладбище. К папе. Я перебирала папины фотографии. Ну, нет его. Его нет, Люся. Не понимаю Вас. Я Вас не понимаю. С кем я говорю? Сама с собой? А! Ну, тогда привет. Да понимай ты себе что хочешь. Он мой отец. Он навсегда. И опять я бежала на кладбище.

Я не подозревала, что детская привязанность таит в себе силу мощного чувства, которое невозможно изжить никогда! Понимаю это сейчас. Я и сейчас с дорогим родителем так выстраиваю диалог, что получаю от него точные и нужные советы. И крепкая нитка держит нас еще сильнее. И не рвется. И не отпускает.

Семьдесят третий год. Пришла работа. Долгожданная. Работа днем. А вечером такая мука, такое вытье. Три года я живу одна. Бросаюсь на все эпизоды, ролишки и концерты. На все. Ведь я так долго сидела на периферии жизни, на том месте, которое мне отводили. Знала, что это не продлится долго. И нет смысла так дальше жить. Но и знала, что дух у меня еще не сломлен. Так что если после «Старых стен», моего директора фабрики — меня сотрут в порошок, то еще попрыгаю по концертным подмосткам великой страны, а там… А бог его знает, что там.

«Помирать собирайсь, дочурка, а поле сей».

После переезда моих родителей в Москву отношения между ними здорово осложнились. Мама скучала по Харькову. Часто говорила мне, что если бы не папа, то и жизнь бы ее сложилась по-другому. Затаила на него обиду, даже злобу. Стала ему припоминать какие-то позапрошлые истории. Он нервничал, оправдывался, приходил ко мне:

«Она у меня вчера спрашуить: а иде ты, Марккотик был, помнишь, когда Люсе было 9 месяцев? Я тебя ждала, а ты выйшов з лесу? С кем ты был? — А, мамыньки родные! Тридцать шестой год успомнила! Дочурка, спаси меня, бога ради!»

Поживет у меня дня три:

«Не, у тебя работа. Не буду мешать, пойду до старухи».

И шел с Эдиком, карликовым пинчером, через двор медленно, трагично.

Невыносимо видеть и чувствовать свою беспомощность. Маме

пятьдесят пять, а папе семьдесят пять. Душой, сердцем я осталась с папой.

Может быть, этот момент всю жизнь для меня был самым удивительным в нашей семье: мама никогда не ревновала папу. «Ну его к богу в рай! Пусть пойдет собакам «хвосты повяжет». Я отдохну». Папы было так много, что мама действительно от него отдыхала. Она очень любила спать. Я редко встречала людей, которые так спали. Сладко, отдавшись сновидению полностью, до конца. Папа же вскакивал в шесть утра. И поехали! Темперамент неуемный.

Однажды мы спускались с мамой с Рымарской на нашу Клочковскую. Навстречу нам бежал счастливый, улыбающийся папа с баяном, одетый в выходной костюм с галстуком, благоухающий одеколоном «Кармен». Как только он разглядел маму, сразу сник. А мне его сразу стало жалко. «Марк-котик, куда же ты это так прихорошился? А? Марк-котик, ты что, даже подпудрился, что ли?..»

Как видно человека, который не умеет врать.

«Ты ж знаешь, Лёль, я иду работать ув артель «8 Марта!» — «А, работать, Марк-котик! Ну, тогда понятно!»

Папа помолчал… «Да там, Лёль, одна женчина… Такая приятная…» — «Приятная женщина? — Мама никогда не копировала папу. Он мог обидеться и заплакать. — Ну, иди, Марк-котик, иди».

Но уже все.

Праздник кончился. Баян стал тяжелым. Заболело сердце. Мама была очень огорчена, что так случилось. Она здорово и мудро умела ничего не замечать и не мешать папе «вязать хвосты». Я ею восхищалась. Вот бы научиться так. И вот с годами пришла такая напасть. Возраст маму «подменил». Мама такое вытаскивала из своей памяти… Как тут быть? С кем? На чьей стороне? Такие разные люди.

Какой особый папин комплимент — «приятная женчина». Тогда у нас в стране, конечно, вообще не было секса. Как будто люди размножались почкованием. А была какая-то особенная любовь? «Приятная» вмещала очень многое. Это слово звучало у папы так чувственно. Когда он постарел, я часто заставала его за увеличительным зеркалом. Он пристально себя разглядывал:

«Лёль, что-то глаза типерь стали в миня якеи-то собаччи. А ты помнишь, Лёль, якеи в миня глаза были прия-атные?»

Папа умер. И негативный мамин настрой обратился на меня. Моего горя мама не разделила. «Ну да, конечно, он твой отец. Ничего не могу сказать, он тебя любил». Да, он мой отец. И он меня любил. И я без него гибну. Он мой отец. И так будет всегда!

— Извините. У вас сегодня девятый день. Я понимаю вас. Я знаю, что это такое. У меня недавно бабушка умерла. Я позвоню позже. Еще раз извините.

Какой милый вежливый молодой человек. Я забыла вернуть ему запись рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», которую мой папа так внимательно слушал за пять дней до смерти. Даже сейчас страшно. За пять дней. Только вот вечером, 17 июня, мы с ним разговаривали по телефону, а через каких-то два часа его уже не стало. Что же это за загадка такая — жизнь, смерть, судьба? Судьба! Оказывается, слово это означает «судит Бог». Как интересно…

За три года одиноких мытарств, после смерти папы как же мне нужна была добрая человеческая нота. Простой человеческий аккорд. Чтобы вся партитура была понятна без всяких головоломок. И я эту ноту услышала. Господи, Люся, не обманись. Стоп. А к чему сразу такие призывы? Просто тебя пригласили на день рождения. И все. Да? А что я там буду делать? Никого не знаю. Да еще посмотрела в тот жаркий июльский вечер в Доме кино фильм Лукино Висконти «Людвиг». Такой щемящий и грустный фильм. Вышла на улицу Горького. Дымы, шумы, жара. На душе образовалась такая невыносимая тоска, какая бывает, наверное, только у русского человека. Это состояние так замечательно описал в одном из рассказов Иван Бунин. Очень, очень похоже. Ну и что делать? Извечный вопрос. Да будь оно все проклято. Будь оно все неладно. Поеду. Что будет, то и будет.

Долго блуждала, пока нашла дом в Люблине. Скромная квартира. Папа, мама и еще трое гостей. Костя был молчалив и печален. В то время он расходился с женой. Может быть, поэтому. А может, и нет. Я совсем не знала, как себя вести, о чем таком говорить, чтобы как-то всех объединить. А зачем? Как дура все думаю, что я на концерте. Фильмов моих давно не было. Меня забыли. А если помнят, то опять по тем далеким «пятиминутным» временам. Пробовала рассказывать о роли директора фабрики из «Старых стен», но сама краснела до корней волос, понимая, что мой рассказ о серьезной роли несовместим с кокетливым костюмом, высокими плечами, которые тогда только-только входили в моду, с короткой юбочкой в складку и белыми лаковыми платформами. И это советский директор текстильной фабрики? Глупейшее положение.

Зачем я здесь? А когда мама Кости сказала, что она бы хотела, чтобы к ним в гости привезли Зою Федорову, я совсем притихла. Домой меня подвезли гости именинника. Костя остался с папой и мамой. Совсем идиотское положение. Так стыдно было.

Вернулась домой, вышла на балкон. Посмотрела на звезды. Еще раз подумала о том, что мама права — «жизнь сложная штука», успокоилась и «закрыла клапан».

Я очень люблю музыкантов. Присутствовать на записи музыки, когда сидишь рядом со звукорежиссером и слышишь, как они в студии между собой переговариваются на своем особом музыкантском языке, — это такое удовольствие, это так интересно. «Что ты шкрябаешь? Ты играй, чтоб я тебя понимал. Псква-буба, псква-бу-баба! Понял? А то — шкрябаешь. Чувак, это же не кабак. Ну! Башли в руки — будут звуки. Пишем!»

Музыканты — особые люди. Мы ведь слышим только чужую фальшь. Ага, вот тут он сфальшивил. У них другое устройство. Они слышат свою собственную фальшь. Это мучительно. У Кости был абсолютный слух. Засигналит машина — это «си-бемоль». А петух запел — это «до-диез». Интересно.

В концерте, после того дня рождения, он так прекрасно сыграл одну из моих песен, что я даже обернулась к оркестру. Мне показалось, что играет другой человек. Он тут же мне улыбнулся доброй улыбкой… А недавно как не хотел играть эту песню. Исчез. Оркестранты его не могли найти. А сегодня играет прекрасно. Может быть, потому, что была неловкая ситуация после дня рождения? Это потом я узнаю, что разучивать что-то новое будет мукой. Оказывается, при абсолютном слухе можно не слышать гармонии. Я наоборот. Гармонию слышу ясно, а какая нота у сигнала машины, — хоть ты меня убей.

Он обладал мягкостью и большой артистичностью. Умел сразу установить приятный тон разговора. Был веселым, если была такая обстановка. Молчаливым, если грустно. Ему свойственны были сентиментальность и мечтательность. Скромный, чуткий, неизбалованный. Ничего дорогого и роскошного в жизни не видел. Каждой мелочи был рад. И очень понимал мое горе. Рассказывал, что его бабушка была ему близким человеком и сыграла большую роль в его жизни. (Удивительно. Однажды мы пошли навестить ее могилу, но долго не могли ее найти. А когда нашли, могила оказалась заброшенной. Позже мы поставили там памятник.)

Нам было о чем говорить. И конечно, музыка! Она нас соединила! А музыкальная история — это всегда особая история. Музыка связывает своими нерасторжимыми звуками. Ты молчишь, а они-то звучат, поют, орут, воют. Музыкальная история — это история без слов. Он ничего не знал о моей жизни, о моих чувствительных струнах. Как-то со всех сторон легко. Да, я хочу такого мягкого и легкого общения. Мне с ним легко. Ну, можно же, можно поверить. Глубоко внутрь я не впущу. Серьезных

отношений я вот уже три года опасаюсь. Внутри все крыто-перекрыто. «Райком закрыт. Все ушли на фрот». Но жизнь идет. У меня перед озвучанием «Старых стен» десять дней свободных. Куда себя девать? Костя собирался в Севастополь. Он сказал, что, может быть, там где-то будет играть вечерами.

«Я приеду в Севастополь. Там ведь можно снять комнату». — «Да, конечно».

Прекрасно. Еду. Мне не нужно было никаких отелей, роскошных условий. Я мечтала о тихой маленькой комнатке с окном во двор, где сквозь сирень виден деревянный туалет, как в моем родном харьковском дворе. Я так часто залетала в то харьковское, домосковское время, которое было насыщено воображаемой жизнью, невероятно наполненной грезами, фантазиями. Жизнью, еще не ведающей и не представляющей, что такое крушение иллюзий. Как часто я рвалась в ту свою жизнь! Я там отдыхала душой. Я буду жить в маленькой комнатке, а рядом — пусть только уважение и внимание. И больше мне ничего не надо.

Так и было. Я познакомилась с семьей, у которой вначале он остановился в однокомнатной квартире. Дядя Лева и его жена, конечно, очень были удивлены, увидев меня. Ездили на море в Любимовку, где он ежегодно отдыхал со своими родителями. Бывали в ресторанах, вкусно ели. Гуляли по Севастополю, пели и импровизировали. На какие-то мгновения, минуты, часы я чувствовала себя такой легкой и всемогущей. Может быть, так действовал августовский ветер, такой прозрачный и благоухающий? Не знаю. Но я шла по-новому, поглядывая направо и налево. Я видела все то, на что давно уже перестала обращать внимание. И занавески, и старые люстры, и простые лампочки в окнах. И, сквозь зелень и цветы в горшочках, добрые лица седых старушек. И хотелось газированной воды. И непременно из автомата. Да черт знает когда я стояла последний раз у автомата в очереди, в ожидании освободившегося стакана. Прекрасные дни.

Нет-нет, кто-то увидел с неба мою надорванную судьбу и решил: «Пусть она передохнет. Ей еще надо жить и еще в жизни что-то сделать». Однажды я сказала Косте: «Ты ко мне относишься так, как я об этом мечтала всю жизнь». Слов о любви я уже никогда не провозглашала. Они кончились вместе с исчезновением из моей жизни Машиного отца. Но те слова были своеобразным признанием. Все свои слова в таком духе я знаю наперечет.

Но без всяких видимых причин, в самые безоблачные дни я поняла, что неделя кончилась и я еду на озвучание в Ленинград в

прежнем одиноком состоянии. Почему? Не могу ответить. Может быть, я слишком одичала за время своих разочарований? Я уже боялась всякой «прелести» новизны. Ведь потом ждет отчаяние. И боялась одного — цинизма. Именно цинизмом кончаются любовные разочарования. Пробовала. Ужасно. Не мое. Я сразу теряю профессию. И находиться рядом с человеком, который довольно легко перенес разрыв в первом браке, тяжесть для моей души неизмеримая? Не знаю. Может, я уже сильно бита, а он еще ничего об этом не знает? Он еще папин-мамин сын. Я это чувствовала. В семнадцать лет я оторвалась с кровью от родной семьи. Научилась жить, принимать решения и сражаться одна. Может быть, это? Не знаю. Ничего не знаю.

Жаль, но иллюзию счастья, моря, солнца, песен Аструд Жильберты, босанов Джобима и моих странных нарядов надо закрыть. Вот так. А может быть, меня резанула фраза, которую он, еще не зная мою способность все соображать и слышать, сказал по телефону своему московскому другу: «Ты знаешь, так клёво». Засело у меня это «клёво». Виду не подала. Откуда такое слово? Вроде не из его лексикона. Со мной клёво. Ну что ж… Это правда. Я отошла от своих мраков. Я благодарна. Но и он, безусловно, вкусил момент особой жизни. Жаль, что Костя не знал беспредельной широты и изумительной иррациональности моего папы. Я во всем — его бледная тень. Но думаю, что забыть меня тоже непросто. Как это и не покажется нескромным.

Вот и кончился мой краткий ночлег. Костя еще остался отдыхать в Севастополе, а я… Еду в любимую работу. Как примет меня зритель без песен, без «штучек» и бантиков, в роли зрелой женщины? Да она еще и директор. И это через семнадцать лет после «Карнавальной ночи». Вот, Люся, о чем надо думать.

Профсоюзные взносы надо заплатить. Директор картины сказал, что пришло письмо из Театра-студии киноактера, что, мол, она играет такую роль, а профвзносы не плачены за семь месяцев. Надо заплатить. Как моя роль директора всех зашевелила.

На «Ленфильме» у меня много подружек. Поддерживали друг друга в личных неурядицах. «Да, девочки, очень милый парень, но пусть кому-нибудь другому, помоложе. Я все. Я нет». Эх, моя любимая работа. Ты меня никогда не подводишь. Мне с тобой всегда «клёво». Клёвенькая ты моя работеночка! Продажная и самая неангажированная! За что ж я так тебя люблю? Если бы не ты, ездила бы по миру, заглядывала бы в дорогие магазины. Нет. Ничего мне не нужно, кроме душного павильона, боевой команды «Мотор!» и замечательного состояния блаженства, когда получается! Ура!

Телеграмма: «Приезжаю в Ленинград. Поезд… вагон… Костя». Я хорошо помню себя на перроне, съежившуюся от ощущения чего-то неведомого. Что мне с этим делать? Что это? И зачем это? И не поздно ли это? Не рано — это уж точно. А что еще точно? Смятение, смятение. Стою в бледно-зеленом клетчатом костюме, отделанном серой репсовой лентой. Стою с длинными темными волосиками, которые некстати раздувает вокзальный ветер, открывая мой огромный лоб. Зачем мне этот лоб? Я же не Софья Ковалевская. Да, Люся, твой лоб был не нужен в легкомысленных ролях. А здесь, в роли директора, он-то, лобик твой, и делает половину дела. Да, может, тебя и утвердили на роль за этот лоб. Во какие дурацкие мысли крутятся в напряженный момент.

А из поезда выходят и выходят люди. А его нет и нет. Ну и ладно.

«Што бог не делаить, дочурка…»

Все вышли. Пора уходить. Из последнего вагона появляется пассажир в синей осенней куртке до колен, брюки чуть в клеш, с кейсом в руках. Мода начала семидесятых. Милый, простой, скромный молодой человек. Музыкант. Пианист. Не капризная великая звезда в окружении прихлебателей и носильщиков. И ведь можно работать всегда бок о бок, рядом, как мои папа и мама. К черту, к черту все внутренние съеживания!

«Ну, распрями плечи, моя клюкувка, распрастри глаза ширей, ну, три-чечирнадцать! Уперед!»

И мы полетели. Полетели, полетели, полетели… Летали долго. Семнадцать с половиной лет. А сколько лет чистых, без «примесей», - теперь не знаю. Да теперь и не важно. Летали по городам, по гостиницам, по магазинам, по нотам, по концертам, по Америке, по Израилю, по странам Варшавского договора, залетали в Таллин, к моей школьной подруге Милочке, где в ресторан он надел мои черные кримпленовые брюки клеш. Он любил красиво одеваться. Смеялись. Все было весело, легко, красиво и вкусно.

Когда я лежала в больнице со сломанной ногой, он проявил столько внимания и заботы. Это видели все. Им были восхищены. Мне завидовали. Да я и сама не верила, что такое возможно. Повторяюсь, я знаю. Но это хорошее повторение. Это можно еще раз.

Я видела счастливого человека, который вырывался из чего-то прошлого, в которое не хотел возвращаться. Он отрывался от

уклада жизни, который был до меня. И это постепенно начало раздражать его родителей. Не сразу.

Для меня родители святое. Но я встретилась с совершенно незнакомыми проявлениями. Однажды, на первых порах совместной жизни, Косте стало плохо. Сильные колики в животе. Моя мама вызвала «скорую помощь». Я поехала с ним в больницу. Сижу, жду врача, волнуюсь, что скажет. Пришли папа с мамой, неестественно веселые: «Люся, перестаньте, что вы обращаете внимание на Костика? Да ерунда все это. Разве можно так серьезно… Ну что вы? Перестаньте!» И так весело, ну, совершенно не в тон больничной ситуации. Странно, очень странно. Врачи так ничего и не определили. Костя, грустный, послушал папу с мамой и, ничему не удивившись, тихо пошел в палату. Я не могла забыть, понять тот его уход. Что за отношения? Почему на него не обращать внимания?

Его папа, невысокий, шустрый человек с высоким мнением о себе. «Вот видите, вы уже народная. Вас печатают, а у меня книга о Глинке — не печатают. И балет детский я написал, — не ставят». Я понимаю. Меня было за что не любить. Но сын живет своей жизнью. Он ожил, счастлив. Ему нужно помочь это сохранить. Он так долго был на втором плане.

А со временем враз спохватились. Я нехорошая. Для папы. А прежняя жена тоже была нехорошая. Для мамы. А как меня поначалу гостеприимно принимали! Какие люди вежливые и приветливые. И сын такой воспитанный. Его жена была переводчицей. И мы с его мамой курили черные длинные сигареты, которые, как потом оказалось, жена Кости приносила с работы. Когда я стала нехорошей, оказалось, что та жена была совсем неплохим и милым человеком.

А как появилась первая машина в моей жизни? Это история из жизни нашей «звезды». История только для внутреннего пользования. Переводить и вывозить эту историю за рубеж нельзя. Да и не поверят. 1974 год. После трех ролей — главной в «Старых стенах» и двух больших в «Детях Ванюшина» и «Открытой книге», — у меня собралось личного капитала где-то на треть «Жигулей». А остальное…

Северный Казахстан. Четыре-пять выступлений в день от Бюро пропаганды советского кино. Воспроизвожу все буквально. Пианист — семь рублей пятьдесят копеек. «Звезда» — тридцать два рубля пятьдесят копеек. В школах, коллективах заводов и фабрик выступали днем. Вечером — в кинотеатрах или в филармонии. Огромное снежное поле. В глазах белым-бело. «Мы поедем, мы помчимся на оленях…» Посередине снежного поля — серый бетонный куб с двумя окнами. С противоположной стороны

куба окон нет. Там выход. Он же вход. Как туда добираются люди? Кто их привозит? На чем и как? Дороги нет, «…автобусы не ходють». Инструмент? Несколько клавиш просто отсутствует. Басы, середина и высокие оставшиеся звуки дребезжат как три разнополых музыкальных коллектива. Симфонический, духовой и диксиленд. Но духом не падаем. На экране фильм по сказке Шварца «Тень». Ну зачем этим милым людям эзопов язык, который изобретен в дни репрессий и страхов? По-моему, в зале так и не поняли, что артист Даль играет две роли — доброго героя и его же злую тень. А меня вообще не узнали.

Когда я вышла на сцену, люди в зале были удивлены, почему из-за нее остановили фильм. Почему зажглась лампочка, а глаза уже так привыкли к темноте. И вообще, что ей здесь надо? В конце зала раздалось несколько неестественно бурных хлопков. Это учителя, которых прислали в это селение по распределению «работа на селе». Этот концерт-рассказ, подтанцовки, песни, песенки провела с неимоверной отдачей. Когда на сцене с отдачей «до дней последних донца», о! — это обязательно оказывает воздействие на подсознание зрителей. Во всяком случае, к середине концерта — обязательно. У меня в то время было столько любви, столько энергии, столько желания! Такие залы — самая жестокая проверка на то, что же ты такое.

В конце выступления вышла симпатичная казашка. Она мне преподнесла пестрый букет из цветов, сделанных из тонкого пенопласта. Смотришь на букет, и отличить от настоящего нельзя. А взяла в руки, понюхала, — он так щедро был полит цветочным одеколоном, что я громко чихнула. Зал дружно засмеялся. Все в порядке. Приняли.

Много было разных подарков в жизни. Но такого оригинального — никогда. И я могу гордиться, что ни одна из мировых звезд не знает и даже не может себе представить, что такое наши советские, а теперь уже российские кинозвезды. И сегодня мы выступаем в бескрайних заснеженных степях, в серых кубах-клубах, где и улыбаешься, и плачешь, и понимаешь. И восхищаешься. Ну а я что? А я все «людя-ам, людя-ам, людя-ам».

Восемьдесят шесть выступлений по Северному Казахстану. И когда очередь на машину подошла, сесть в белые «Жигули» я уже не могла. Голова кружится, слабость, тупость, безразличие. Водить никто не умеет. Ни Костя, ни я. В кармане три рубля. Надо начинать все заново. Опять зарабатывать на жизнь. Вот такая, дорогие мои зрители-читатели, голая правда. Правда фактов. Мой папа прав: «У гробу карманов нима». Я могу добавить: там и машина не нужна. Жизнь с машиной пошла «чуковней». Но и внутренний разрыв медленно, но происходил.

Теперь все поэтапно понимаю. «Обман прошел, очарованье спало».

Когда мы познакомились с Костей, он был Костя Михайлов. Оказалось, что родители жены заставили его взять ее фамилию. Изменить фамилию? А как это? Это фамилия отца! Даже захлебываюсь от мысли изменить фамилию под напором. Почему уступили? И какое такое может быть давление?

Насчет фамилии мой любимый анекдот.

«Приходит мужчина в ЗАГС.

— Хочу изменить свое имя.

— А как вас величают?

— Анатолий Жопов.

— Хм… ну и как бы вы хотели изменить?

— Да мне бы на Виктора…»

Давно я знаю этот анекдот. И всегда испытываю уважение к этому Анатолию. Он даже мысли не допустил о смене своей веселой фамилии. Ведь она отцовская. Вот тут я проявила свое давление. И Костя Михайлов стал Костей Купервейсом. Я была довольна.

И как важно, что я вовремя услышала телефонный разговор между мамой Кости и мамой его жены. «Он от вас никуда не выпишется! Понятно?» Только что была обаятельная приветливая женщина, и враз резкие высокие обертоны в голосе. Через много лет таким же голосом мне будет заявлено: «Мы стареем. Мы хотим, чтобы наш сын у нас бывал чаще!»

«Да, конечно, я снимаюсь, уезжаю, пусть ходит к вам когда захочет».

Но почему так вдруг? Жизнь текла мирно и сразу вдруг резкий поворот? Сына уже готовили к новой жизни. Я терпеливо прилаживалась к такого образа отношениям в семье. Как же это далеко от меня. Как космос. Но я видела, как мучительно для Кости было это раздвоение. Ему надо было выбирать и найти выход. Он его нашел. Родители помогли. Я стала жертвой. Это правда. Это так. Пришло другое время.

После того давнего разговора о прописке я опять нажала на ситуацию. И Костя выписался от жены к родителям. Конечно, если бы не тот разговор, все было бы у нас как положено. Но разговор был. И я его помнила всегда. Мне было тридцать семь лет. Каждый сантиметр моей двухкомнатной двадцативосьмиметровой квартиры был полит километрами дорог, кровью, потом и нервами. Из каждой щели стен и потолков звучали мелодии «Пяти минут» и «Хорошего настроения», дай им бог здоровья, счастья и долгих лет звучания. Они, как живые люди, веселили зрителей и вливали в зал свой тонус и

энергетику. Прописка московская у него есть. А во всем остальном он будет хозяином. Так оно и было. А через семнадцать с половиной лет он метался в поисках веских причин, «ну, нет же вариантов»…

А могут ли быть причинами раздражение, невнимание, поглощенность в свою роль, когда нет ни времени, ни сил на поцелуи и цирлих-манирлих. Нет ни сил, ни желания. Да, снимаясь, я всю энергетику и страсть оставляла там, на экране. Это моя жизнь. Значит, ему нужен другой объект. Так и случилось.

Трудно довести до отчаяния человека, который за долгие годы и при огромных возможностях не запятнал чести человека рядом. Пусть кинут камень. Не получится.

Однажды, после очередного удивительного семейного поведения, я спросила у Кости: вот если бы мы с тобой поменялись местами, как бы твой папа ко мне отнесся? Трудный вопрос. А еще труднее ответ. Это был долгий взгляд внутрь себя, в детство, в Ереван, где окончил музыкальное училище, и там остались самые сильные воспоминания, военная жизнь в оркестре, краткая женитьба. И вдруг я! Чего тебе там надо, Люся? Ответа не было. Нам обоим было все ясно.

Могла ли я тогда знать, что этот тихий и вежливый человек превратится в агрессивного, злого и мстительного. За что? Но со временем я понимала, что, увлекшись красивой и интересной жизнью, — на тот наш советский период, — поменяйся мы ролями, во-первых, никогда меня, безвестную пианистку из оркестра, на выстрел бы не подпустили. А если бы и подпустили, то вскоре безжалостно выбросили бы меня на свалку, попадись я в их «денежные» руки. Романтическая позолота, Людмилка, опаснее ржавчины.

Глава девятая. Я сегодня смеюсь…

Как назвать период жизни, когда вчерашнее ушло навсегда, а предсказать, что будет завтра, невозможно. И никаких предчувствий.

Об отдыхе даже речи быть не может. От своих мыслей на отдыхе сойдешь с ума. Переоценка. Самоанализ. Схватка с самой собой. Значит, что? Каждый час, каждую минуту себя занять. Выполнить перечень дел: шторы, газ, свет, счета, звонки. Чтобы на нервозность не хватало ни сил, ни времени. Но ночь. Ах, ночь… нервозность — это привычка. Кажется, я ее уже приобретаю. Ужас.

Позвонили из театра «Школа современной пьесы» с предложением сыграть в музыкальном спектакле «А чой-то ты во фраке?». Много открылось театров без постоянных трупп. Много антреприз. Звонили мне часто, но, памятуя «Современник», Театр киноактера, становилось грустно. Мое — это кино. Там я профи. И там хоть полгода, но без закулисных интриг. А в новое время в кино хлынули непрофи и полупрофи. Фильм «Нелюдь» снимал в прошлом второй режиссер. Это дефицитная профессия, но работа чисто организаторская. В кино второй режиссер — начальник штаба. А постановка фильма это совсем-совсем другое измерение.

Вот я и болталась сама по себе. Вроде все грамотно, но без полета. Монтировал же фильм вообще другой человек. Нет, подожду с кино. Уже по горькому опыту знаю: нет ролей в кино, — и не думай про него. Может быть, случится все то же «вдруг» и что-то стоящее со временем и приплывет.

И вот какая у меня появилась мысль. Зрителей видишь только после выхода фильма на экраны. На съемке вокруг только съемочная группа. Потому работа идет только на интуиции, на предощущении. Где же я могу понять, чего я стою и что же я наработала в ролях на экране? В концертах? Да. Но концерт напрямую связан с работой в кино. А новые песни — это лишь малые формы чего-то несыгранного. А как зрители будут смотреть на меня, когда новый, незнакомый персонаж будет рождаться с нуля, прямо здесь, у них на глазах, живьем, не на пленке. Очень интересно. И еще время. Время само вытолкнуло меня в театр.

Время. Непонятное время. Чего хотят люди, пришедшие в театр? Да вообще, чего хотят люди? Что принимают и чего не хотят? Что отвергают?

Ведь, несмотря на перестроечные изменения, на снятые запреты, мой инстинкт нащупывает какие-то новые моменты

сопротивления, более изощренные, незнакомые и потому более опасные. Надо, надо попробовать, проверить время рядом со зрителями. Где кончается предел и где начинается беспредел? На экран, на сцену пришел новый язык. Исчез за ненадобностью язык иносказательный. Пришел язык раскованный, неподцензурный, порой даже грубый, матерный. И ничего! Никакой катастрофы. Свобода ведь! А где ее предел? За каким таким пределом она кончается?

А свободное движение уже началось вовсю. И все свободнее, свободнее. И нет остановки. Как наркотик. Платят за него столько, сколько спросят. Что за время?

Пойду попробую еще раз переступить театральный порог. И дело мне близкое — музыкальное дело. Только петь надо без микрофона. Смогу ли я перелететь вспять, переломить время и впрыгнуть в те годы, когда пела вообще без микрофона или «дула» в трамвайный микрофон, который шипел, свистел и крякал? К тому, девяносто второму году я уже неплохо разбиралась в качестве звука, в обработке голоса. Все с нуля. И в работе. И дома. В который же это раз?

Весело. Аж до слез. А если как на духу? Удар меня сокрушил. Ни спать, ни есть, ни отдыхать, ни расслабиться. Изрешечены нервы. Вера, вера потеряна. Но. Но! Но еще жива! Значит, еще где-то прячется сила духа. А сила духа, наверное, не только в способности выстоять, не согнуться, но и в готовности начать все сначала. Надо, надо все сначала. Выхода нет. Нет выхода.

И начала репетировать. Главная роль. Актриса, которая репетировала эту роль, начала параллельно работать в другом театре. Нужен второй состав. Первый, второй. Все равно. И дело интересное. Чеховский рассказ «Предложение» в смешанном жанре. И музыка, и танец, и пародия, и драматические сцены. Хожу на репетиции и, как всегда, кручу, вникаю во все «измы» характера героини. И постепенно выстраивается свое видение роли. Перезрелая девица. Ждала-ждала жениха. Верила-верила, гадала-гадала, смотрела-высматривала. Да и увяла. Поблекла, перезрела и стала похожа на желтую переспевшую грушу. Никакого лучика на семейное счастье. Серое унылое существо. Такая она в первой сцене.

Рядом с ее поместьем имение возможного жениха. Но ему уже тридцать пять лет. Безусловно, соседа она знала с детства. Но он так и не «проявился». Естественно, на него уже никаких видов. Потому их первая встреча не предвещает для нее никакого светлого будущего. И только когда до нее «доходит», что этот тридцатипятилетний сосед пришел с предложением руки и сердца, вот тут-то и начинается ее преображение. И расцвет, и

душевное оттаивание. И румянец на щеках, и блеск в глазах. И эротическая пластика. Да, пожалуйста! Она готова к любви. Еще как готова! Все, что так долго сдерживалось, растопилось и взорвалось.

Так я размышляла. Я не принимала, нет, не я, моя интуиция не соглашалась ни с откровенными костюмами в начале роли, ни с решением актрисы из первого состава. Премьеру она играла замечательно. Но это не мое. И это естественно. Это нормально.

На одной из репетиций я сломала стопу на той же, черт бы ее побрал, правой ноге. Вот он ее и «побрал». Ведь разлетелась она в 1976 году на девятнадцать осколков. Как тут ей не треснуть? Прыжок и стоп! Люся, а не пора ли тебе без прыжков? Нет, без прыжков не могу. Пока. Подожди, всему свое время. Опять я с ней разговариваю. Противная какая. Все прыгает, хихикает. Мало ей всего. Сидит в гипсе, всеми брошенная, и ждет, когда опять сможет прыгнуть. Ну и сиди. Ну и жди. Ну и сижу. Сижу и жду выздоровления. После той травмы перелом стопы просто семечки. А семечки — это прекрасно. Семечки — это Харьков. Это детство. Это выздоровление.

Сижу в гипсе. Звонок из REN TV. Эльдар Рязанов снимает программу «Восемь девок — один я» — об актрисах, с которыми работал в кино. Моя «девка» должна быть готова к 8 марта 1992 года. Съемка была в феврале. Многие мои знакомые и друзья были в курсе свалившегося в мой дом семейного развала. И вдруг Эльдар прямо в лоб задает мне об этом вопрос. Я застыла. Но сразу же бурно и четко заработали все органы — от мозгов, ниже и по всему периметру.

Я обожаю прямой эфир. Некогда резать. Вся как на ладони.

А в такой программе можно говорить два часа, из которых останется сорок пять минут. Как ответить, как вести себя, чтобы мысль нельзя было расчленить, и оставить лишь одни «выжимки». Со словом «выжимки» я познакомилась, когда однажды давала интервью. «Очень интересно, но на полосу не помещается. Не волнуйтесь, мы оставим самые интересные выжимки». Потом я прочла те «выжимки» и сделала вывод навсегда. Черт, как же я не была готова к ответу, не готова к этой мысли. Не готова была озвучить свою ситуацию. Я только-только начала ее отбрасывать от себя, погружаясь в работу. Ну, как тут быть?

Завтра, значит, об этом будут знать все, кто смотрит ТВ сейчас. А кто не увидит, будут слушать пересказы, сплетни. А потом пойдут подставные изощренные звоночки. Будут выстреливать из-за кустов. Но кусты не спрячут того, кто дает команду. Вот оно и началось.

А съемка идет. Я сижу. Я в форме. В бежевом костюме, в

синей новой кофте. Все как полагается. До пояса. А внизу — одна нога в гипсе, другая в домашней тапочке. Отвечаю на вопросы. Не придерешься. А сама прощупываю свое тело. Вижу краем глаза свое отражение в зеркале. А моя мама то послушает из своей комнаты, то скроется. А Тузик, такса, собака моя, чует напряжение в воздухе и — туда-сюда, туда-сюда. Все вижу противным боковым зрением. И не понимаю, где я, а где она.

Я отвечаю, а у «нее» серые шарики в голове скачут и прыгают. И самое несовместимое — я сижу с умным видом. «Ну, что тут говорить? Такая, понимаете ли, дорогие телезрители, произошла банальная история. «Ну, с кем не бывает? Ну, разошлись»… А «она» хохочет, хохочет над собой, надо мной. Над ситуацией, над развалом с семнадцатилетним стажем и напевает из Вертинского: «Я сегодня смеюсь над собою, мне так хочется счастья и ласки, я хочу хоть немножечко сказки, чтоб забыть этот дикий обман».

Интервью, интервью, интервью…

Еще был СССР. Непобедимый союз. Перестройка захватила Москву довольно быстро. В других же городах и республиках она приходила постепенно и устраивалась по-своему, по-разному. Я к тому, что, несмотря на работу в кино очень интенсивную, внутри я очень хорошо на то время уже понимала свое место в кино. Хотя по стране, в республиках, мое имя было еще вполне прочным. И думаю, вполне заслуженно заслуженным.

К слову сказать, наивысшего звания актерам — нечленам партии — до перестройки не присваивали. Есть буквально несколько имен, которым просто нельзя было не дать звание. Я в их числе. В кино как было? Подряд три-четыре главные успешные роли, а иногда одна-две, фильм первой категории, шумная популярность, и уже — звание народной СССР.

У меня подряд прошли успешные картины и… И что «и»? «Вступите в партию». Меня многие вовлекали в это дело. Я понимала тех, кто вступал в партию в окопах войны. Когда смерть ли, жизнь ли — за Родину! А когда вокруг меня вступали в партию, чтобы иметь блага и преимущества и получить право на начальственный тон — нет, это я не могу. Если ты не член партии, чтобы поехать за границу, нужно было сидеть перед парткомом «Мосфильма» и отвечать на вопросы, которые тебе никогда не зададут за рубежом, — там это в голову никому не придет. Когда я сейчас вспоминаю такую картину, хочется провалиться сквозь землю.

Отправляли меня в Болгарию.

«Скажите, пожалуйста. Что сейчас происходит в Португалии?»

Я так испугалась. Все страны и континенты смешались в один

итальянский сапожок, который перескакивал справа налево.

— Да там такое безобразие творится, — говорю, — Альенде убили!

Образовалась долгая гробовая тишина. Ничего не понимаю. Но это же действительно ужас — убили человека! На меня это тогда произвело наисильнейшее впечатление.

«Это в Чили, товарищ Гурченко, а в Португалии что?»

На меня весь партком смотрел с таким искренним сожалением: артистка, что с нее возьмешь? Рядом со мной сидел редактор картины, в которой только что отснялась, очень милый человек.

«Люся, вы не волнуйтесь. Там что? Ну? Ре… ре… ну? Ре…»

Реpе. Откуда я знаю, что такое «ре»? А в голове лихорадочно пролистываю все, что случилось до этого допроса. Значит. Ждала я своей очереди около полутора часов. В кабинет парткома входили и вылетали оттуда с улыбкой, или с красными лицами, или со слезами. За мной должна была идти на допрос помреж, у которой все ладони были исписаны: на левой — председатели коммунистических партий всех капиталистических стран, на правой — председатели правительств этих же стран. Кто-то, вылетая из парткома, сказал на ходу: спрашивают про революцию. И меня осенило.

«Ну, Люся, ре..? Ре..?»

«…волюция», - выпалила я.

«Правильно!» — раздался общий вздох облегчения.

«Извините, я перепутала страны. Революция произошла в этой стране, а Альенде убили… в другой». Господи, какой же это страх, какой ужас.

Про партком и партию к тому, что звание получила за то, за что невозможно было не дать.

И вот, в первые годы нашей великой перестройки, то есть весной 1986 года, состоялось на ТВ первое перестроечное интервью. С телеведущим Урмасом Оттом. Он первым в стране открыл эфир с острыми и прямыми вопросами и откровениями в ответ. Но нашей встрече на Таллинском телевидении предшествовала еще одна встреча. В 1982 году я бежала в «Останкино» на съемку «Любимых песен». Около входа меня встречал высокий блондин с голубыми глазами. Людей с такой внешностью я побаиваюсь еще с войны. Рядом с ним оператор с камерой на плече. Я без грима. В бигуди под косынкой. Лечу, готовая к съемке, в первый павильон «Останкина».

«Стойте, ответьте на несколько вопросов!»

Сейчас я уже привыкла к такому тону. Но тогда была слегка сбита с толку. Вопросы были банальнейшими. И задавались лишь

для того, чтобы поставить галочку — с этой артисткой тоже разговаривали.

«Уважаемый товарищ, зачем эти вопросы? Вы ничего про меня не знаете. Да мне как-то и… неинтересно с вами говорить», — так прямо в камеру сказала и ушла.

Прошло четыре года. Звонок из Таллина:

«Пожалуйста, в Москве, Таллине, где вам удобно — нам нужно большое часовое интервью для таллинского телевидения».

Я сказала, что подумаю. И забыла. Тогда я летала из города в город, разрываясь между картинами. Из Таллина звонили регулярно, и вся моя семья попеременно объяснялась с группой по телефону. И Костя, и моя мама. «Они такие хорошие, такие добрые люди. Так тебя любят. Такие слова говорили». И мама, которая никогда не вмешивалась и «не советовала» — просто помогала мне жить и работать, — вдруг сказала: «Люся, надо людей «уважить». Это папино слово, произнесенное мамой, и сыграло решающую роль. Я начала переговоры.

На вопрос, почему именно со мной хотят начать цикл «часовых разговоров», мне по телефону чистосердечно ответил голос с прибалтийским акцентом:

«Вы нам больше всех подходите. Во-первых, вы у нас популярны. Многие читали вашу книжку. Во-вторых, вы не член партии и народная СССР. Так что дирекция ТВ Таллина решила начать с вас».

Короче, я подошла по всем статьям для начала этого цикла. Решила сама приехать в Таллин. Там не дома, где стены помогают. Подальше от дома мозги будут острее и не будут «растекашиться по древу». Лечу в Таллин, в красивый Таллин. Там снималась. Знаю уголки и уголочки и помню про вкусный «какст муст кофе». У трапа меня встречает девушка, а чуть поодаль стоит высокий блондин в черных очках. Съемка должна быть через день вечером. Есть много времени, чтобы «притереться». Едем в машине в лучшую гостиницу. Ведем разговоры про то да про се. И я понимаю, что этот блондин в очках знает такие подробности обо мне и моей работе!.. И не из моей книги. Из статей, интервью разных лет, про которые я и не помню, а многие даже и не читала. Ну, думаю, правильно мне мама сказала, «надо уважить».

Полтора дня мы ездили по красивым местам, пригороду Таллина, фотографировались. «Притирались».

Недавно интервью у Урмаса Отта проходили без «притирок». Сразу за столик ресторана «Прага» и — поехали. А тогда даже заплатили гонорар, чего молодые актеры и не представляют. Это так, для сравнения.

В назначенный час я пришла на студию. Проходя по коридору в павильон, со всеми поздоровалась. Не могу сказать, что встреча со мной вызывала у кого-то любезный ответ или улыбку. Перестроечный дух в том коридоре обогнал наш столичный телевизионный коридор. Это я отметила. Что ж, сама захотела в Таллин. Урмас был в белом смокинге, в бабочке и без очков. После ритуального представления телезрителям гостя прозвучал первый вопрос:

«Скажите, это правда, что вы родились 12 ноября 1935 года?»

Так… Ответить, что «правда», — глупо. Это написано на первой же странице «Моего взрослого детства». Это раз. Два: у меня за рубежом было уже столько интервью, столько острых вопросов, столько подковырок, когда надо было защищать себя, страну. Да что говорить… Нет, нет. В тупик он меня не поставил. Мне нужно было только не дрогнуть, найти из всех ответов самый легкий. И я ему честно сказала то, что думала в двадцать лет. В «Карнавальной ночи» отмечали тридцатилетие члена группы. Я тогда подумала, — какой ужас, тридцать лет! Когда мне будет тридцать, я себя уничтожу! С этой фразы я и начала. А потом сказала: «А вот и тридцать, и сорок, и… и ничего. Живу, работаю и вот с вами беседую».

Впервые на нашем телевидении были вопросы о семье, о любви, браке, разводе, детях. Все те вопросы, без которых сейчас вообще нет ни одного интервью. Но Урмас, конечно, не знал, не понял, что я уже давно его вспомнила. Но я решила «забыть» о той нашей встрече четыре года тому. Но беседа пошла так, что мне пришлось ему напомнить. Думаю, что у Урмаса, как и у меня, пролетело тоже мгновенно несколько вариантов ответа. Он выбрал самый удачный. Он обаятельно улыбнулся. Я думала, что он вырежет этот момент, но момент остался. И я его искренне поблагодарила за то, что теперь с ним очень интересно разговаривать. Потому что он об объекте знает все.

Эта программа снималась для Таллина. И там ее показали трижды. Но вот она неожиданно прилетела в Москву. Я этого не ожидала и была против того, чтобы ее показали по нашему ТВ. Таких программ у нас на ТВ еще не было. То было интервью «зарубежное».

Но программа вышла. И имела очень широкий и шумный успех у зрителя. На телевидении перестройка пришла в действие. У меня с этой программой начался внешний перестроечный период. Именно внешний. Моей жизни «на виду». Что же происходило в душе, в сердце — это в главе «Урок».

И вот прошло ровно шесть лет. Сижу напротив Эльдара. Это уже совсем другой разговор. Уже нет рядом многих действующих

лиц. Я уже плавно в другом измерении. Ну, давай, Людмилка, перестраивайся.

Со мной, во второй состав спектакля «А чой-то ты во фраке?», вводились два актера. Два моих будущих партнера. С одним прежде встречались в программах на телевидении. Со вторым встретились впервые. «Первый» и «второй».

Перед репетицией, как правило, идет разогрев. Это чисто стихийная традиция. Эти разогревы разные. Иногда веселые, иногда острые и жесткие. Зависит от того, что происходит за окном репетиционного зала. Иногда неожиданный отъезд из страны талантливого коллеги, политический или экономический перелом в жизни страны. А так, если обычно, — смешные истории, свежие анекдоты.

В тот день, накануне которого показали по телевидению мою «девку», перед репетицией болтали, смеялись, притирались, привыкали. «Первый» рассказал что-то очень смешное. И я, еще не свыкшаяся с пустым моим домом, возьми да ляпни: «Замечательная история! Как бы не забыть. Дома расскажу. Как смешно. Замечательно!»

— А кому вы расскажете? Тузику? Ха-ха-ха. — И холодным глазом посмотрел на меня.

Да, «неосторожно, быть может, поступила я». Но кто же знал, что истинное отношение ко мне вот такое. Ведь снимались на ТВ дружно, вполне слаженно. И не виделись с тех, семидесятых. Для такого ко мне отношения должны быть личные мотивы. Значит, что? Сплетни, слухи.

Но репетировать стало уже непросто. «Второй» какое-то время был не в форме. В театре не работал, но хорошо поет и музыкален. Его, свободного, и пригласили во второй состав. Он вызывал у «первого» насмешки, «подколы», что у режиссера находило неизменную поддержку. Дуэтом веселились над «вторым» славно. Ну и заодно надо мной. Это было понятно без слов.

Ладно. Терпение. Я отсюда, безусловно, уйду. Только вот обязательно одолею безмикрофонное пение. Я поддерживала «второго» словами, улыбкой. Словом, поддерживала. Я знаю, как это важно.

«Вы замечательно поете. У вас такой красивый голос».

В партнерстве главное то же, что и в семейной жизни. Важно, чтобы плечо, на которое опираешься, не провалилось. «Второй» быстро вошел в форму. И на премьере стал номером один. Он мне был очень благодарен: «Спасибо, спасибо…» Мне было это очень приятно. У него заслуженный успех. И тут же насмешки забыты. Прекрасно.

В своей роли в общих чертах я сделала все, что намечала. Но четкого режиссерского рисунка в спектакле не почувствовала. Идея хорошая, а изложение не точное. Самый настоящий успех в том спектакле выпал на долю балетмейстера. Успех «свежий». Драматические артисты затанцевали партии из «Лебединого озера» с пируэтами и арабесками. С юмором, с иронией, с элементами пародии. Именно в балете появилась органичная легкость раннего Чехова-Чехонте.

Но по тому, как из зоны успеха спектакля убирался успех балетмейстера, я поняла — да, новый театр, без постоянной труппы, а изнутри — новый театр со старой неприятной закулисной жизнью.

Сыграла три спектакля в Москве, и будя. Сезон закрыт. Нога болит. На гастроли в Севастополь не поеду. Да и надобность в двух составах отпала. Актриса из первого состава вновь в прекрасных отношениях с режиссером. Она в строю. Мстить ей мной необходимость отпала. Чего греха таить? Для этого меня, оказывается, и приглашали. В сердцах это было сказано. А то я вечно смягчаю ситуацию, тихо себе болею душой. А со мной-то ой как никто — ни в кино, ни в театре, ни дома — не церемонится.

Долгие шли переговоры о гастролях в Севастополе. Там уже реклама. Уже засвечена моя фамилия. Поехала. Поехала только потому, что неловко было подводить «второго». Меня бы мучила совесть. Непросто вводились в спектакль. Сыграю своих пять утренних спектаклей и тогда уже буду «втикать».

Какое счастье! На гастроли в Севастополь из Харькова прилетела моя дорогая подруга детства, родной человек, Любочка Рабинович. Подхожу к театру, и вдруг она бросается ко мне. Мы обнялись и расплакались. Как же она всегда чувствует, что меня надо спасать. Бросает все — дом, мужа, детей — и летит ко мне. Спасала меня всегда. После войны, в жуткий голод, в том детском санатории для ослабленных детей на улице Чайковского она подкармливала меня фруктами, «хворостом». «Хворост»! Сладкий, хрустящий, посыпанный сахарной пудрой с ванилином! Он часто снился мне в голодные детские ночи. Ее мама, Надежда Яковлевна, красивая женщина с седой прядью в черных волосах, прекрасно играла на пианино. Я с ней вместе пела: «Шимми-шимми-шимми — модный танец, шимми — на щеках зашел румянец» — и была такая счастливая, что эта красивая женщина в меня верит.

То были сказочные новогодние дни рождения Любочки!

Было так нежно, так вкусно, так тепло! Мы обменивались своими пальто. У Любочки — черное плюшевое, с капюшоном и черной лисой. У меня — коричневое, тоже с капюшоном и рыжей

лисой. А после дня рождения счастливые жались на ее узенькой детской кроватке и мечтали о будущем. Конечно, о светлом. Потом умерла ее мама. Я уже жила в Москве. У Любочки времена были нелегкие. Она стойко все перенесла.

Ее вещи подходили мне. А она легко и с удовольствием впархивала в мои кофточки и платья. Вот и сейчас, в Севастополе, я увидела знакомую расцветку. Стою, погруженная в свои мрачные мысли, и думаю, что вроде у меня тоже был такой же бежевый костюм в серых блеклых цветочках. А это и оказалась моя Любочка. Да просто с неба свалилась! Вовремя. Без ненужных предупреждений.

Надо сказать, что жизнь закулисья лучше всего проверяется на людях далеких от театра. Как же это интересно. Это эффект перевернутого зеркала. Когда смотришь на себя ежедневно в обычное зеркало и вдруг чья-то доброжелательная рука подсовывает тебе зеркальце увеличительное. Ну-ка, полюбуйся! Ах, ой, ух… Да неужели? Постойте! Только что я была такая молодая, а сейчас вот сеточки какие-то у глаз, да и глаза в красных прожилках… ужас один! А если еще и очки увеличительные на нос водрузить… тогда картина точная.

— Людмила Марковна! Сколько цветочков! Вы любите цветочки? А когда кричат «браво» — тоже любите? Ха-ха-ха! А где ваш Тузик?

«Люба, молчи». Она так стиснула мою руку, что сама застонала. Понимаю, неприятно, что севастопольский зритель меня тепло принял. Да радуйтесь, артисты-мужчины. Значит, заслужила. Что??? Извините, уважаемые читатели, у меня сейчас не все в порядке с чувством юмора. Сейчас пройдет.

В общем, «второй» недолго размышлял и передислоцировался в другом направлении. Правильно писал Анатолий Эфрос: «Есть актеры-одиночки». Это про меня. А там, на другой стороне, режиссер и будущие роли. Зачем ему я? Взял свое и привет. Он прав. Так и надо жить. Наверное.

Через несколько лет мы столкнулись на съемке одной из телепрограмм. «Второй» резво подскочил ко мне. Он уже оповестил съемочную группу, что мы вместе работали, и ему предложили место за столиком, где сидела я. Но… В таких случаях появляется мое «но».

Мое «но» — это и есть мой характер. Ведь недаром я им «славлюсь». Как часто, взамен живого человека, люди видят фиктивный персонаж, созданный сплетней. Со временем я поняла, что нет никакого смысла, да я просто бессильна, познакомить всех с настоящей мной. А ведь характер мой не тяжелый, а трудный. И прежде всего, трудный для себя самой.

Трудности от неумения спрятать, задушить свое сокровенное и приспособиться к трезвым и реальным обстоятельствам жизни. Раскол между внутренним «я» и жизнью «над»…

Я отказалась сидеть с ним за одним столом. Я видела, как милая женщина из съемочной группы, усаживающая «второго» за мой столик, сильно удивилась моему внезапному оледенению и резкому отказу сидеть с ним рядом. «Да, наверное, правду о ней говорят…» — читала я на ее лице. Но мне было абсолютно все равно. Ну и рождайтесь, сплетни, рождайтесь! Я добра и доверчива, пока встречаю в ответ то же самое. Но беда, если меня предадут. Я это остро переживаю. И тогда меня хоть удави, но прикидываться, делать вид, что ничего не было, — да ни за что на свете! Пусть без работы, пусть без денег, пусть без теплого места — нет, нет и нет! Страна большая. Претензий у меня никаких. Слишком часто сидела на мели. Много есть мест, где я нужна такая вот, противная. А может быть, такая и нужна?

Какое счастье, что параллельно с театральными спектаклями я провела несколько сольных концертов в зале филармонии. Душевный привет севастопольской публике, которая вырвала меня из того отвратительного закулисья.

— Люся, какой ужас! Ты ведь мне о нем говорила? А сейчас он не сказал даже здрасте! Боже сохрани, боже сохрани!

Я ей по телефону в Харьков звонила и рассказывала о репетициях. О том, что «второй» хорошо поет, что ему микрофон не нужен. А вот сейчас он идет лоб в лоб нам навстречу рядом с «первым». Идут, громко смеясь, и делают вид, что нас не видят. А ведь завтра нам играть утренний спектакль.

В закулисной жизни, Любочка, надо не иметь сердца. На все смотреть равнодушно. Не заводить никаких дружб. Ни к кому не прикипать душой. Вот тогда будет все хорошо. Могу ли я так? Нет, не могу. Без души, тепла и доверия не могу раскрыться. Но учусь. Учусь ежедневно. Иногда получается. Выхода нет. Нет выхода.

Вернулась в Москву. Мама и Маша с детьми на даче. Для них много лет снимала дачу. Съездила к ним, отвезла продукты, гостинцы. Помыла машину, заправилась бензином. А что дальше? Как? С чего? И что? Одни вопросы. А в голову лезут и лезут видения, картинки, реплики. Да такие яркие, выпуклые, отрезвляющие. Ведь только полгода. Полгода это даже еще не инкубационный период для вызревания состояния «вчера» или «вечор». Это еще только раннее утро. До «дня» так еще далеко.

Это же надо, чтобы эти гастроли случились в Севастополе. В это же время в 1973 году я была здесь с Костей. Думала ли я тогда, что так обернется жизнь. Разве можно было тогда

представить, что скромный молодой человек — это тот самый Костя, которого я видела полгода тому назад. Видно, сама виновата. Привык к роскошной жизни. О, жизнь преподносит такие сюрпризы. Такие метаморфозы происходят с людьми…

Севастополь… А какой же город в нашей долгой жизни был последним?

Женский кинофестиваль в Тольятти. Женщины все. И режиссеры, и сценаристки, и операторы, и экономисты, и, конечно, актрисы. Когда всех нас рассадили за столы и был произнесен первый тост, все дамы бросились открывать шампанское и наполнять друг другу бокалы. Ведь всех пригласили без мужей. Интересно, но даже на приемы в Кремль женщины приходят без «пары». А ведь уже в гардеробе нужна мужская помощь. Сами вылезаем и влезаем в свои шубы, стесняясь смотреть на себя в зеркало. Иногда какой-нибудь интеллигентный мужчина подскочит, поухаживает. Ну а как полагается дальше? Хорошо бы и руку даме предложить, провести ее по лестнице. А у него свои дела, свои проблемы. Думает, еще не отвяжешься от нее. И наши мужчины быстро снимают свои пальто и, ни на кого не глядя, стремглав, с деловым лицом устремляются вверх по лестнице. К накрытым столам.

А на фестивале одни женщины. Да все красивые как на подбор. Но без мужей. Несколько официантов разрываются между столиками.

Нет, пока еще не все в России продумано с нами, с женщинами. Тогда, в Тольятти, я единственная была с мужчиной. Ведь мне предстояло петь, а он — музыкант. Естественно, на меня смотрели не очень добро, но это понятно. Знали бы… Жили мы в прекрасном домике — вот такую бы дачу! Но я помню, что все «дачные» мечты вдруг прекратились. Значит, дача где-то есть. Эта мысль проскользнула, а потом и улетучилась.

Фестиваль открывался фильмом «Моя морячка». А на закрытии вручали талантливым киноматографисткам призы. Кому телевизор, кому кухонные комбайны. Это ведь еще лето девяносто первого года. Много ли тогда было таких подарков? Маргарите Тереховой подарили «Жигули». Зал ликовал. А я хожу-хожу за сценой. А меня все не вызывают и не вызывают. Слышу перечисление совершенно бессмысленных званий — вроде все мои. Да! Моя фамилия. Выхожу. У ведущего тот торжественный вечер в руках — ничего. Ну, что вы скажете? Всем подарки, а мне, наверное, опять грамоту. Сколько у меня за всю мою жизнь скопилось разных грамот, о! Я даже дважды победитель социалистического соревнования, хоть и ни разу ни с кем в соревнование не вступала. И фотография на «Мосфильме» висела

на Доске почета дважды. Вот как.

И опять молниеносно перелистываются былые страницы жизни. В лотерее не выиграла ни разу. В «однорукого бандита» вылетело однажды аж двадцать пять франков. А потом эти франки и все свои зарубежные суточные тут же от радости просадила. В картах ничего не соображаю, разве что в «дурака». А один раз научили играть в «храп». Вроде ставка по пять копеек, но через полчаса проиграла магнитофон, сумку, пушистый шарф. И уже готова была снять с себя пальто с лисой, но вовремя вспомнила красочный папин рассказ. В его шахтерскую бытность он «ув очко проигравсь, дочурка, увесь до нитки, вдребезину».

«…награждается». И ведущий зазвенел ключами от «девятки». Ну, знаете…

Сейчас вошла в ту атмосферу и растерялась. Не знаю, как и описать свои ощущения. А тогда надо было сказать ответное слово. И опять зашуршали в мозгу листочки памяти. Вот Паратов-Кторов бросает шубу в грязь, чтобы «бесприданница» из кареты могла пройти по ней как царица. Кстати, Паратов типичный мужчина, который женится не по чувству, а по расчету, для дела. Но всю жизнь будет любить ту, будет думать только о ней. А мы, замерзшие и голодные дети, зачарованно смотрели на экран: вот же, как жили люди при царе! Чтобы шубу, да в грязь! Это же как надо было эксплуатировать бедных крестьян и пролетариев, а? А в ушах все картинки перекрывает голос Павла Лисициана: «Люблю Украину, родимую землю. Пред Родиной в вечном долгу!»

Боже мой, Родина, сколько же я тебе недодала. Комсомольские взносы до двадцати восьми лет не доплатила, — выбыла из рядов. Профсоюзные платила нерегулярно. Ой, что там еще… «Дорогие зрители! Неужели действительно пришло новое время? Такой щедрый подарок… Ну что ж… Родина отдает долги!»

А через десять лет мне подарили иномарку. Уже Родина сильно изменилась. Машину подарил человек, которому, видимо, было по душе то, что я сделала для зрителей. Человек, у которого деловое устройство тонко переплетается с музыкальностью и артистичностью, что встречается не часто.

Я совсем была растеряна. Вокруг все аплодировали: ну, радуйся! А как же Родина? Где? Как? И что? И в голове: а как зарабатывали те первые «Жигули»? Сколько ждали очереди? А тут «Жигули» — подарили! А у Кости на лице мука. Глаза туда-сюда. Нужен третий человек. Нужен «буфер». Мы едем в Москву на новой машине и молчим. Что я знаю об этом человеке? Где он, а где удобства, которые его оставляли рядом до прихода нового

времени. «На кресте не признаюсь», «опустился», «зачем я сказал родителям», «я жил с женщиной с ребенком»… У родителей поставлен телефон с определителем. А раньше такой телефон был у нас в доме. Кого бояться? Излишняя осторожность всегда подозрительна.

В машине у меня что-то заскрипело. Моя мама позвонила Косте, чтоб узнать, куда обратиться. «Я ему позвоню. Ведь я ему ничего плохого не сделала. Готовила, стирала…» Ведь тогда, в начале девяностых, еще не было ни обилия бензоколонок, ни мастерских по ремонту автомашин. Там ее отбрил чужой грубый мужской голос. Да так, что она остолбенела.

«Ну, Костик, проявился… Ну, я ведь с ним не ссорилась, вот не ожидала. А я тебе всегда говорила, что он без тебя совсем другой человек».

Да. Мама говорила. Но представить того, другого, было невозможно. Теперь начинала узнавать. От меня что-то давно утаивалось, меня опутывали секретностью. А значит, ложью. Кто же был рядом со мной столько лет?

И я делаю фантастический, инфернальный трюк! Прошу одного знакомого пойти со мной к частному детективу. Оделась так, чтобы меня не узнали. Платок, темные очки, уродливое пальто и дурацкие ботинки. Мне главное — не улыбаться и молчать. По голосу меня всегда узнают. И вот мы, как лиса Алиса и кот Базилио из фильма «Буратино», отправились на «дело».

Раз пошли на дело
Я и Рабинович.

Хохотала я до уписания. Такой черт в меня вошел! Ужас! Как хотелось, чтобы завыли сирены, чтобы застрочили пулеметы, чтобы крики, шум и вой заглушили лихорадку, которая сотрясала меня. Ура! Даешь! Даешь треть моей жизни! Даешь мою веру и честность! Красная армия всех сильней! Ура! Ничего не боюсь, ничего не страшно. Ну точно как мой папа:

> «У меня як до бою — у-у — усе жилля дрожать, увесь трясуся, а силы — ого! Агромадина силы! Расплющу враз! Калыманы джянджинджяра! Тысяч твою матку вовков зъешь!»

Ну и что? Костя купил машину. Ездит с каким-то парнем. Они отправляют в Израиль книги тому самому Марику из Хайфы, который гостил у нас вместе со своей милой женой и с которым после наших израильских гастролей они побратались. Он тогда

популярно объяснил Косте, что в Израиле главное — мать. Отец может быть любой национальности. Если мать русская, то в паспорте, где графа национальность, — прочерк. И с эмиграцией тогда вопрос отпал. А где женщина с ребенком — непонятно. Наверное, не все созрело.

Много узнала интересных деталей. Я действительно не знала этого человека. Видно, на многие вещи закрывала глаза. На то она и есть жизнь. Но — ошиблась. Ах, как ошиблась. В общем, стыдно. За ситуацию, за советский режим, который воспитал таких мужчин. Ведь измена, как правило, следует за слабостью. «Я — тряпка, я — тряпка». Это я тоже помню.

Кажется, мои отчаянные спотыкающиеся «речи» о лицемерии и предательстве человек, который был со мной у детектива, записывал на диктофон. У меня не было сил на то, чтобы остановить все. Не было сил. Он точно понял, что в моем состоянии мне будет не до этого. Ведь меня так легко обвели вокруг пальца. Почему бы не послушать в компании «речи» одураченной кинозвезды. Такой рассказ! А я… Что я? Я вновь снимаю шляпу.

Когда мне оставалось жить два часа и мне делали пункцию спинного мозга, я не чувствовала боли. Но запомнила лицо врача. Миновал смертельный перевал. У врача было дежурство, он вошел в палату.

«Я вас помню. Вы брали у меня спинной мозг».

Врач стоял белого цвета.

«Это невероятно… вы же были без сознания. Этого быть не может… вы меня запомнили… нет, у артистов, конечно, организм…»

«Ненормальный», — засмеялась я.

Вот это точно. Привет. Привет всем ненормальным.

Глава десятая. А хуху не хохо?

Есть ли что-то в жизни такое, из-за чего стоит сейчас подняться с кровати? Вчера были рукоплескания, а сегодня всеми клетками ощущаю свою полную ненужность. Сегодня я перчатка, которую выбросили за ненадобностью. Как быть? Буду лежать. Полежу до вечера, а там…

Нет, до вечера не буду. Полежу часика два. Сейчас, еще полчасика и… ну, раз, два, два с четвертью, два с половиной… ну же! Что-то подо мной заскрипело. Тузик помахал хвостом. Он рад, приветствует меня. Я встала. Ну и что? А то, что лучше не думать, не мечтать, не грезить, а тихо и тупо продолжать свое дело. Это я сама знаю. Я спрашиваю: я встану, для чего? Что интересного? А о чем подумать, чтобы стало легче начать день? Подумала…

Вспомнила и улыбнулась. Позапрошлый год. Лос-Анджелес. Ноябрь. Это не наш холодный ветреный ноябрь. Здесь жаркое лето. У меня концерт в центре города. В самой большой синагоге.

Ноябрь — не просто ноябрь. Это 7 Ноября. Советский праздник. Суббота. Шабат. Я стою на сцене. За моей головой большая шестиконечная желтая звезда. В зале народу-народу… Многие мужчины в шапочках-кипах. В первых рядах ветераны войны с орденами и медалями. И я пою песни войны. И плачу. И вижу свой дом в Мордвиновском в Харькове, где мы, дети, подсматривали за службой в синагоге, которая стояла рядом с моим домом. А потом синагогу переделали в планетарий. А теперь нет моего дома. Его снесли. А синагога действует. Сколько же пройдено, чтобы мир сдвинулся к этой минуте. Как все интересно. Как все непредсказуемо.

Еще интересный 1993 год. Во всех отношениях. В том году смешалось все. Все самое остробольное и остропрекрасное. Нет, никогда не будет ничего спокойного и размеренного, черт побери, все. Я осталась с мамой и Тузиком. «Школа современной пьесы» отлетела безболезненно. Буду, как и прежде, плыть в одиночку. Впереди гастроли. Еще раз в Америку, и еще раз в Израиль. Нужно заново разучивать всю концертную программу с новыми музыкантами. Те же нюансы, те же точки и запятые, что и в поисках за многие годы.

Я испытывала боли, о которых знала понаслышке. В больнице, когда лежала со сломанной ногой, в палате рядом мужчине ампутировали ногу. А он все время кричал: болит нога, пальцы, колено. Как могут болеть пальцы, если ноги нет по пах? «Это фантомные боли, — сказал профессор, — это надолго».

Интересная жизнь у того больного. Звали его Миша. После

операции он каждый день приезжал на коляске к нам в палату. Один раз рассказал про себя. Он воевал. Был ранен. Осколок остался в ноге. Жил он с этим осколком, привык к нему и забыл о нем.

А с годами пришла беда. Осколок зашевелился, и ноги больше нет.

«Я же воевал с ними, а она вышла замуж… за Ганца. Ну почему его так зовут… ну, пусть бы Петер или черт в ступе, только не Ганц… Дочка единственная… Говорю с ней по телефону, она: папочка, папочка, — и вдруг сразу по-немецки… Я спрашиваю, зачем ты со мной… я этого языка не понимаю… «папочка, это я с собакой говорю, она мешает под ногами»…

Представляете, с собакой по-немецки… не могу. Не могу пережить… Они же нас в печах сжигали, я всю войну воевал, вот, теперь инвалид… Нет, пусть жена в гости одна туда едет… Я не могу, не могу… Буду здесь умирать… Болит нога, болит колено, пальцы…» И так он горько плакал, так горько…

Я не могу забыть его. Я испытывала такие фантомные боли. Я возненавидела свою концертную программу, годами выстроенный репертуар. Включила в программу что-то новое. Но разве мне можно в сольном концерте выходить без старых песен?

Странные вещи стали происходить в отношениях с мамой. Она изменилась. Ей давно, очень давно не нравилось, что Костя в доме хозяин, что все деньги у него. Она это, видно, затаила и, конечно, когда меня не было, подтачивала его.

«Понимаете, Костя, я всю жизнь прожила с человеком старше себя. Это очень трудно. У вас еще есть шанс. Надо его использовать».

Она люто возненавидела папу.

«Ну, мам, я же уже родилась. Это все у вас было до меня. Что ты его ругаешь?» Ну, не знаю, не знаю я такой любви, как у них. Такой я больше не встречала никогда. И нигде, и ни у кого. Иногда у мамы были «проблески», и она сама об этом рассказывала с упоением и становилась молодой и красивой.

После книги, где я так бешено влюбленно пишу об отце, нашлись «добрые» люди, которые ей писали и звонили: что же, Лёля, ты мать, разве Марк такой необыкновенный? Что это Люся его так превозносит, что же ты, Лёля? Не давай себя в обиду.

Злые языки страшнее пистолета. Это точно.

«Знаешь, Люся, а ведь музыкальность у тебя от моего отца. Он прекрасно пел. Это от нашей семьи. Ведь у твоего папы есть сын от Феклы, а он немузыкален». Откуда кому было знать, что в нашей семье была такая игра, где папа якобы был глава. А на самом деле все решала мама. Она «шея». Поворачивала куда

хотела. «Лёль, быстро купи себе ети часы, а то я передумаю». — «Люся, как он может «передумать», если все деньги у меня, хи-хи-хи…»

И потом, она талантливо прикрывала папину неграмотность, его слабости. Ах, он мог так пожалеть, успокоить, расплакаться. Сколько он мне уделял внимания, да, как и какими необычными, небывалыми человеческими проявлениями. Я так часто и так много думаю о нем. Чем он «брал»? Брал всех. Независимостью и оригинальностью мышления? А может, его ум сохранил ту свежую наивность, которую, как правило, ослабляет обширное образование? Интересно.

Короче, и после его смерти я ни на шаг не отошла от обожания отца. Начался бурный раскол. Все, что исходило от меня, — все разбрасывалось, расшвыривалось. Кроме денег. Деньги мама очень ценила. Жизнь такая была. Костя ушел. И моя жизнь, как он мне и пророчил, становилась невыносимой.

«Знаешь, Люся, когда я была молодой, одна моя знакомая вышла замуж, а он ее моложе. Конечно, он… Она так переживала, так переживала». Я совсем не узнавала свою маму. Ее не узнавали все наши знакомые. Моя любимая тетя Лида, родная мамина сестра, приехала из Харькова, и они вдвоем вдруг всколыхнулись и стали дворянками:

«Лёля! Ты помнишь, у мамы был бархатный салоп с буфами? Чем он внутри был подбит, кажется, лисой, не помнишь?

«Лидочка, лисой изнутри не подбивают. Это очень пушистый мех. Наверное, норкой».

«Да, наверное, ты, Лёлечка, права. А помнишь, Лёля, наша мама говорила: из хама не будет пана» — и т. д., и т. д. Намеки на папино происхождение. «Как в семнадцатом году мужичонки-то головы подняли! Кончилось, Лёля, кончилось их время!»

«Да, Лидочка, кончилось их время, кончилось».

Много я должна была выносить невозможного. Домой идти не хотелось. Началась слежка: с кем говорю, с кем встречаюсь. Я стала ночевать у друзей. Но это же тоже не вечно. У них своя жизнь. Очень не хотелось омрачать атмосферу дома друзей своими горестями и потерянным лицом. Ну раз, ну два… А однажды ночевала в гараже. Ту ночь я не забуду никогда.

Все! Еду куда угодно. Заработаю денег и куплю маме однокомнатную квартиру. Она очень скучала без внуков. Говорила с ними с утра до вечера. Обожала Марика. В общем, договорившись, ушла жить к Маше. Маша приехала за вещами. Я сказала, что буду зарабатывать деньги на квартиру маме, чтобы они расширили свою площадь.

Когда через год они оформляли однокомнатную квартиру в

центре, на Пресне, мама отказалась там жить:

«Люся, там же рабочие рядом».

Я чуть с ума не сошла. А с кем мы жили всю жизнь? Бок о бок? А кто папа? А из каких дебрей, окружения обыкновенных людей, — баянистов, теть Мань, Дусь, Сонь и Роз, — мы «вылезли»?

Нет, точно, с возрастом что-то происходит с людьми. Господи, не дай бог.

Мой зять, милый Саша, забыл шведский язык. Переводчиком денег не заработаешь. Холоден, расчетлив, своя фирма. Что ему я? Тоже мне, народная артистка! Большую квартиру не смогла сделать. А я-то думала, что теперь, когда я осталась одна, у меня может быть помощь от зятя. Он может меня и встретить и проводить. Черта с два. Я ничегошеньки не понимаю в технике. Даже пылесос не знаю как включить. Позвонила зятю.

«Там есть инструкция, прочитайте», — и повесил трубку. И все. Кто-то здорово настроил его. Откуда вдруг такая перемена в отношении ко мне? И до самого того дня, когда моей маме понадобилась срочная помощь, во мне не было надобности. Вот так, если без подробностей.

1993 год. Фильм «Послушай, Феллини». Самое мощное, самое дисциплинированное время. Тут я себя проверила до самого конца. Нет, не сломалась. К психиатру не обращалась. Руками, зубами, локтями вгрызалась в жизнь, хоть все вокруг орало, кричало: согнись, постарей, превратись в жалкую, бледную и тощую, ну! Ах, как ждали этого. А сколько подставных звонков!

А хуху не хохо?

Такого фильма и такой роли у меня не было никогда. Такая роль — большая редкость в театре, не говоря уже о кино. Весь фильм актриса в кадре одна. Кинокамера и актриса. Героиня — актриса театра, когда-то прославившаяся в нескольких ролях. И — стоп. Дальше тишина. Жизнь в искусстве заглохла надолго.

И вот, очевидно, кто-то из друзей, желая ее подбодрить, сообщает ей, что итальянский маэстро Федерико Феллини ищет на одну из ролей русскую артистку. Попробуйся, — чем черт не шутит. И вот она приходит на пробу. О, как мне знакомы эти «вынимания из небытия», эти реанимирования. Когда ну совершенно все равно, что о тебе подумают, высоко или низко упадешь. Да вообще, кроме мрака и тупости нет ничего.

Думаю, понимая это, режиссер Михаил Швейцер и пригласил меня на эту роль. Вся моя жизнь прошла на глазах режиссера. Репетировали очень интересно. Рассказывал он о замысле тонко, с юмором. Меня сильно захватила эта история — поединок талантливой одиночки с судьбой. Светлый человек Михаил

Швейцер. Говорил о том, что искусство — счастливая история. Оно призывает помнить о человеке, о штучности его судьбы. Искусство заставляет нести свет и веру в активную способность изменить все вокруг. Ого, как мне нужно было услышать оптимистичное и еще раз понять, что иду хоть и на ощупь, но правильно.

Бюджет фильма небольшой. Снять надо быстро. Снимали по 150–200 полезных метров пленки в день. Полнометражный фильм был снят за десять-двенадцать дней!

Действие происходит сегодня. 1993 год. Весна. Монологи актрисы обо всем. О том, что на улице, в магазинах, в театре, в закулисной жизни, в личной. Она и поет, и танцует, и играет сцены из спектаклей успешных и несостоявшихся. Она рассказывает Феллини обо всем искренне и без страха. Она даже устраивает сцену обеда — пусть «там», у «вас», увидят, как и что я ем. А вообще мне (героине) уже все равно. Знаю, что меня друзья разыграли. Знаю, что я вам, маэстро, не нужна…

«Она разговаривает с Феллини, как художник с художником, на равных», - говорил Швейцер.

Так. Что предшествует первому съемочному дню? Грим, костюм. С гримом объяснились сразу. А вот костюм… Что надеть бедной актрисе на пробу для самого Феллини? Художник по костюму принесла мне настоящие вещи пятидесятых годов. Увидела их, и мной овладели беспомощность и уныние. Это не ретро-картина.

В фильме героиня с вызовом раздевается, мол, вы (по пьесе) этого хотели? Да, пожалуйста! Что же это будет за белье, если одежда пятидесятых годов? Сиреневое трико до колен? Нет-нет. Надо немедленно что-то решать. Но поскольку я дала себе слово после «Аплодисментов» ни во что не вмешиваться, а исполнять только «свой отсек», — молчу. Жду. Других решений нет.

А с художником по костюму Швейцер работал не одну картину. Значит, я опять «враг народа». Что делать?

Вежливо, мягко говорю о том, что времена, когда актриса, чтобы ехать за границу, у всех собирала по тряпке, кончились. Можно сейчас взять вещь напрокат. А вот в конце фильма пусть она выйдет в том своем затрапезном пальтишке, сапогах и шапочке прошлого времени. И вообще, хотелось обмануть. Пусть в начале картины в кадре сидит вполне элегантная дама. Она зачем-то постоянно скрывается за ширмой (потом узнаем зачем). А там у нее сумки, бутылек, авоськи, вещи, совсем не вяжущиеся с ее видом. То есть постепенное обнажение настоящего существования.

Вроде принято. Принесла кое-что из своих вещей. На

«Мосфильме» пошили точно такие же, чтобы свое было в сохранности. Но «кошечка» пробежала. У меня не было другого выхода. Роль уже вошла в меня, и водила, и диктовала, и заставляла.

Умный человек Михаил Швейцер. На то он и неповторимый Швейцер. На ходу улавливал мои резкие переливы, мои просьбы о том, чтобы круче двигалась кинокамера. Все, что было «вчера», стало длинным. Уже все ясно, а мы еще долго или объясняем, или смотрим многозначительно в одну точку, «якобы»… Уже за окном другое время, другой ритм жизни. Я приходила на съемку, готовая, как лошадь, к забегу.

Знаете, милые зрители-читатели, какое счастье играть большим куском, в котором и слезы, и счастье, и торжество, и пустота… И надо не забыть мизансцену. И надо попасть в свой свет. И надо не испортить кадр, вдруг не попав на «точку», нарисованную мелом. И надо не забыть текст. Ого, какая там, внутри, работа! И сохранить ритм. Химия, физика, математика, космос! А чувства? Главное оружие актера! Передать страдания и гнев женщины, которая дорого заплатила за свое неодолимое желание Быть!.. О, сколько гордости, самоутверждения и открытого презрения к мелкому окружению…

В наивысшие счастливые минуты я ощущала, что на съемочной площадке не актриса и кинокамера. На съемочной площадке рядом с камерой оставалась лишь моя Душа. Душа! Что она такое? Где она прячется? В мозгу? В сердце? Под ложечкой? Что это? Страх? Замирание сердца, дыхания? Интуиция? Преддверие суицида? Не знаю. Не знаю.

Искала ответ. Не нашла. Наверное, это все, вместе взятое. Потому так и больно, когда в нее, в Душу, плюют.

На меня минутами нападал такой трепет, такая чудная печаль и восторг. Восторг невозможный. От него кружилась голова, темнело в глазах, до потери сознания. Казалось, роль рождалась в атмосфере душевного беспокойства и растерянности. Но это только до выхода на съемочную площадку. А по существу роли — это была в чем-то и моя жизнь. И под маской героини исповедуюсь я сама, приоткрывая свою сущность, свое состояние. Да и кто знает, если бы у меня была счастливая семейная жизнь, нашлись бы проникновенные слова, парадоксальные мысли и «ходы», которые вырывались в ролях и оставались на экране? Не знаю… Не думаю. Этим фильмом, этой ролью я где-то бросала вызов самой себе. А это немалый стимул. Иногда мне было очень страшно, — а не перейду ли я границы своих возможностей?

Ничего лучшего, казалось мне, в жизни я не сделала. Решить такую чудовищную задачу — одной за полтора часа в

художественном фильме. Звонили после просмотра очень талантливые люди, которые понимали невероятность этой задачи. Это не театр, когда тебя поддерживает зал, когда по его дыханию понимаешь, «туда» ты или «не туда». А в кино — мертвая тишина. Только режиссер и ты сама внутренним чутьем предугадывай, рассчитывай, предполагай. Я так была счастлива этим звонкам.

Один звонок был интересным. Это был Глеб Скороходов:

«Люся, эту работу будут изучать во ВГИКе, вот увидишь».

«Это уже после моей смерти», — неудачно пошутила я.

Еще звонок:

«Люся, я же знаю, что ты не пьешь. Откуда такое «знание материала»?

«Учусь у вас…»

Смеялись. Ах, какие драгоценные слова оставил на автоответчике Владимир Ворошилов. А ведь не виделись до этого столько лет. Небесное Вам царство, особенный человек. И спасибо.

Пресса этой работы почти не заметила. Неучастие. Замалчивание. Удушение молчанием. А иногда просто скрывают что-то положительное, чтобы держать себе цену, чтобы не возомнили артисты о себе.

Знакомо. Все знакомо. Не до этого. Вокруг более интересные события. Одна артистка сказала, чтобы я услышала:

«Подумаешь, типичный актерский выпендреж».

Со студии позвонил директор картины и сказал, что фильм едет на фестиваль в Италию, в город Римини, на родину маэстро Феллини. Если хотите, можете поехать. За свой счет. Такого еще не было никогда.

В Сочи проходил очередной кинофестиваль «Кинотавр». Картину пригласили. Пригласили и меня. Но просили прилететь на день раньше, чтобы выступить на юбилее «Кинотавра» в сочинском цирке. Прилетаю в Сочи. Из аэропорта прямо на репетицию в цирк. Вечером в этом цирке концерт. А завтра должны показать фильм.

В цирке ко мне подходит президент фестиваля Олег Янковский и говорит какие-то приятные слова о моей роли. О какой работе он говорит? Может быть, что-то показали накануне по телевидению? Вдруг я понимаю, что приятные слова звучат в адрес фильма «Послушай, Феллини». Как?

«Твою картину уже показали. Вчера. А Алла Демидова ее хорошо представила».

Картину представила Алла Демидова. Почему? Какое она имеет к ней отношение? Она снималась у Швейцера в других

картинах. Ну, знаете, много, ох как много надо в себе завинтить, чтобы выдержать такое. Прямо из цирка я уехала в аэропорт. И улетела обратно в Москву тем же самолетом.

В Риге проходит фестиваль актерских работ. «Послушай, Феллини» представлен и там. Фильм повторно показывают в одном из кинотеатров Риги. Полный зал, фильм принимают замечательно. В жюри была польская актриса. Она очень странно смотрела на меня. Я эти взгляды знаю. Организаторы фестиваля с рижской стороны, которые так просили меня приехать, отводят глаза в сторону. Значит, и здесь большая обработка из уст «доброжелателей». И опять заключительный концерт. И конечно, мне надо выступать. Это не шоу-бизнес, где умеют солировать все. Это кино, где сольные эстрадные выступления не входят в обязанности профессии. Можешь что-то делать — прекрасно. Не можешь — тоже прекрасно, если ты прекрасен на экране. После концерта подбегает ко мне польская актриса, возбужденная:

«За что они вас так не любят, просто ненавидят?»

Спустя год. Опять Сочи. Приехала на гастроли с Театром сатиры. После спектакля иду по красивой аллее к гостинице «Приморская». Меня обгоняет женщина лет тридцати пяти: «Стойте! Стойте!» От ее вскрика-приказа я остановилась как вкопанная. Она взбежала на клумбу, вырвала прямо с корнем куст белых роз: «Это Вам, Вам, тебе! За «Привет, Феллини». Провожала меня до гостиницы и так своеобразно пересказала мне мою роль. Я и не думала, когда играла, что эта история — про всех, не только об актрисе, ее профессии.

Интересно. Женщина немного «окала». Видно было, что она из тех мест, где как в песне поется: «Под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет». Вот она-то и есть зритель! Зритель, к которому я обращаюсь в течение всего того, что вы, дорогие, сейчас читаете… Я ей была благодарна безмерно. Фильм-то для ТВ. И не знаешь, как его смотрят люди. И не важно, что название неточное. Подумаешь, «Привет, Феллини» вместо «Послушай, Феллини». Где «послушай», там и «привет». Одно в начале. Другое в конце. Она не ошиблась.

На том моя личная радость встреч с таким необычным материалом и кончилась. Еще раз, через год, снялась в продолжении «Прохиндиады», «Прохиндиада-2», у Александра Калягина.

Этот фильм в память Виктора Ивановича Трегубовича. А это святое. Ведь «Старые стены» — это его личный риск. А взять меня на главную роль это его победа. В общем, все. Кино для меня кончилось. Умерло. Ну?! Скажи мне кто-нибудь лет пять-семь назад такое, — хохотала бы или просто уничтожила того, кто

предрек бы это: кино для меня умерло.

Но «Послушай, Феллини» — мое выздоровление. Вставала я в восемь утра. Шла гулять с Тузиком. Завтракала. Еще раз просматривала текст и ехала на съемку. После съемки на машине мы с собакой ехали в магазин за продуктами. Учила текст на завтра и просматривала на послезавтра.

А иногда, ах… Иногда, по вечерам, очень сильно хотелось любить! Просто все тело ломилось, тосковало. Что делать с этими проклятыми человеческими организмами. За почти два года жизни одиночки пару раз так глупо спотыкалась. Как вспомнишь, аж в затылке скверно.

Нет, идет, идет выздоровление. Вот они, первые звоночки. Но что примечательно. В самые темные полосочки жизни у меня всегда в голове, — хочу этого или не хочу, — моделировался новый наряд. Еще не готов. И я в нем уже хожу в своих мыслях, в своих снах. Когда наступают такие темные полосочки, — вещи, одежда трансформируются в образы. Костюм — это напоминание об утраченном и вдруг приобретенном, еще более прекрасном. Родные живительные звоночки. Привет вам, милые.

Глава одиннадцатая. Берия

Ну как же я могла забыть о скандальном событии девяносто третьего года? О самом-самом начале того года. Наверное, потому, что надо было отбрасывать от себя все негативное и во что бы то ни стало выжить.

Прямо с самолета, после месячных гастролей по Америке, я вошла в свою квартиру и увидела пригласительный билет в Большой театр.

Дягилевские сезоны русского балета в Париже. «Петрушка», «Жар-птица», «Шехерезада». Как интересно. Как тут не пойти. Потом высплюсь. Потом буду наверстывать одиннадцатичасовую разницу во времени двух континентов. Главное, что я уже в доме. Пустом, но родном. Балет пропустить не могу. В антракте пригласили за кулисы на фуршет. Настроение у меня было замечательное.

Появилось возбуждение к жизни. Проснулся интерес ко всему вокруг.

Усталость от длинных гастролей и долгих перелетов улетучилась. Вроде ничего плохого или неприятного не должно произойти.

Стою с бокалом в уголке и не хочу, чтобы кто-нибудь нарушил мою внутреннюю гармонию, где мелодии переливаются с пестротой декораций и русских костюмов. Представляю себе, как в парижском обществе повеяло российским духом. Дягилев! Какая смелость! Какая уверенность, что Россия, талантливая Россия — неисчерпаема… Счастливые минуты.

— Поздравляю вас! Теперь вы владелица авиакомпании! Вот это демократия, вот это свобода! Такого еще наши артисты не нюхали… Ха-ха-ха…

Незнакомый мне высокий господин с сединой в висках говорил громко и смотрел на меня с нескрываемой иронией. Я оглянулась. Через гостиную подходила ко мне моя подруга. Ну, быстрей же подходи, а то что-то ничего не понимаю.

— Вы мне?

— Да, милая, вам!

— Я что-то… какая авиакомпания? — И смотрю на подругу безумными глазами: — Что это?

— А вы газетки, газетки читайте!

И отошел к компании, которая, уже будучи в курсе событий, наблюдала за этой сценой.

Ну что ж… Здравствуй, столица! Здравствуй, Москва!

Праздник кончился.

Еще несколько дней тому я была в Нью-Йорке. В отель «Strowberry», что на 57-й улице, мне пришел из Майами факс на русском языке: «Если Вы не против того, о чем мы говорили, то разрешите использовать Ваше имя для начальной рекламы».

Надо подумать. Гастроли были в двадцати шести городах Америки. Каждый отдельный штат имеет своего представителя по организации гастролей. Они помогают главному устроителю концертов, тому, кто договаривался со мной в Москве. Конец гастролей в Майами. Нас встретила местная организатор концерта по имени Марта. Майами — красивый город, растянувшийся вдоль берега океана. С пляжами, дорогими ресторанами, красивыми виллами и дворцами.

Марта повезла меня к себе домой. Как-то неудобно жить в чужой квартире. Но не сразу разберешься, что и как, чтобы сказать: я бы хотела жить в гостинице. Все на всем экономят. Мы же вообще еще жили советской жизнью. И о деньгах, как сейчас, тогда совсем не задумывались. За рубежом же считается каждая копейка. Пожила я у нее сутки, а на следующий день попросила, к ее неудовольствию, перевести меня в гостиницу. Это был канун нового, девяносто третьего года. Новый год в Майами.

Солнце целый день, океан, люди в шортах и майках! Никаких тебе елок, снега. Тоже интересно. Раз в жизни. И хватит. Марта пригласила меня в ресторан.

Сказала, что с нами будет очень интересный и богатый человек — Марк Шубин. Ну, Марк… Сами понимаете. Марк есть Марк. Наикрасивейшее имя. Имя моего папы. И Марк не может быть плохим или хорошим. Человек с именем Марк может быть только замечательным. Заехала за нами машина, новейший «роллс-ройс». Как сказал бы Хрюн Моржов — «внушаеть». Марк приличный мужчина лет сорока пяти, немногословен, скорее молчалив. Уехал из Союза очень давно. Это слышалось, когда он путал времена и местоимения.

Говорила Марта. Говорила о том, что у Марка есть интересная идея. Набрать курсы манекенщиков — парней и девушек. Во всей Америке очень много славяноязычной молодежи, которая хотела бы этим заняться. А от меня что нужно? Оказывается, я для них во многом образец. Меня знают как актрису по фильмам. Моя книга популярна в Америке. Нравится, как я одеваюсь. Хотели бы устроить мой мастер-класс. И хорошо, если бы я побыла на конкурсе и помогла выбрать лучших. Платить за экзамен молодые люди будут $39.99.

В Америке все цены некруглые. Психологически легче заплатить за вещь, скажем, не $10, а $9.99. Все-таки в мозгу

отпечатается девять долларов, а не десять. Уже легче. Просто и хитро. «Сколько ты за это заплатила?» — «Да девять долларов». — «О, недорого». «Десять? У, недешево!»

Да, так вот ужинаем, разговариваем. А я размышляю, что все сейчас куда-то устраиваются. Дома я уже одна. Да черт с ним. Подумаешь, приехать на месяц в полгода. Дело нетрудное. Только вот смогу приехать через три месяца, когда закончу картину в Москве. Это и была картина «Послушай, Феллини». Шубин сказал, что именно тех трех месяцев, что я буду занята на съемках в Москве, ему будет предостаточно, чтобы хорошо провести, говоря нашим языком, это «мероприятие». Так и договорились. Ни сколько буду получать, ни что они мне будут предоставлять — ни-ни. Я, как истинный испуганный постсоветский человек, о деньгах ни слова. Шубин еще побывал на моем выступлении. Убедился, что все те, кто рекомендовал меня ему, очевидно, правы. На том и расстались. Я же еще на несколько дней задержалась в Нью-Йорке. Чтобы сходить на мюзиклы, пройтись по Бродвею, по Пятой авеню, зайти в красивые магазины.

Результат не заставил себя ждать. Вот я уже «владелица авиакомпании». Читаю в нашей газете статью, перепечатанную из американской русской газеты «Новое слово». О боже мой! Оказывается, я открываю школу в Майами. В ней будут выпускаться актеры, операторы, гримеры, художники по костюмам и т. д. и т. д. В Америке есть и хорошие операторы, уехавшие из СССР, и гримеры, и художники по костюмам… А я возглавляю эту школу и, конечно, веду мастерскую актеров. Вот это оперативность! У Шубина есть личные самолеты, он владелец авиакомпании, и я теперь совладелица. А еще мне предлагают три миллиона долларов на картину, которую я собираюсь снимать.

Читаю и не верю своим глазам. Автора статьи знаю хорошо. Молодой человек. Во все мои приезды в Америку брал у меня интервью. Всегда бойкий, острый на язык. Язык у него в свободной стране проснулся, выпрямился, сделал сальто и быстро заговорил. Я ему позвонила. И он с испугу опять замямлил.

И конечно, московская пишущая братия начала меня лягать со всех сторон. Она-де и режиссер, и актриса, и оператор, и… и… Наверное, с тех пор пресса и «заимела на меня зуб». Дотоле я ведь ни с какой стороны вроде не заслуживала никаких нападок. А может, горячему и взбалмошному времени тогда еще было вовсе не до меня? Но вот сейчас! Чтобы не воспользоваться такой сенсацией?! Гурченко в Америке открывает свою школу! Ха-ха! Не такая слабая наша пресса, хоть тогда она только-только предчувствовала свою осеннюю желтизну. А папарацци еще были

за кулисами, еще только готовились к будущим выступлениям.

В Майами со всех концов Америки, Канады и даже Парижа полетели молодые люди. Просмотр $39.99. Рекламная работа пошла! Я позвонила Шубину и рассказала о статье. «А чем вы недовольны? Надо радоваться — столько людей хотят у вас учиться!».

— Но это же неверная информация! Какая школа? Какие операторы, художники по костюмам? Какую картину я собираюсь снимать? Что с вами?

— Да у нас такие люди! И операторы. У нас все есть! И картину снимем!

— Так зачем же вы со мной говорили о манекенщицах, о мастер-классах для них?

Говорю и понимаю, как все глупо, наивно, стыдно, что я не смогу так: плюй в глаза — божья роса.

— Я вас убедительно прошу убрать мое имя из рекламы.

— А оно уже сделало свое дело.

Вот я и соприкоснулась с другой планетой. Неужели же и здесь, у нас, будет так? Да, конечно будет. Не сегодня, так завтра. Уже есть.

Это негативная сторона. А если со стороны другой? Наконец-то в нашей стране я узнала себе цену. Мой телефон трещал, бился в истерике, орал, просил о помощи! Но отдыхать ему не приходилось. Только повешу трубку: «Люся, дорогая, ты, только ты можешь воспитать актеров, — возьми меня в ассистенты. Я тебе пригожусь, увидишь». И кто звонит? Актриса, которая вот уже столько лет в мою сторону не смотрит. Интересно! «Людмила Марковна! Я мечтаю быть у вас на курсе. Я хочу быть актером». Ну, таких звонков изо всех уголков страны были сотни. Звонили известные операторы, оказавшиеся после перестройки без работы. Художники по костюмам, с которыми работала. Каких только не было слов, признаний. Вот, думаю, когда о себе узнаёшь то, что думают твои коллеги. Ведь иногда собираешься кивнуть, поприветствовать, а они мило проходят мимо.

Думаю, а что я им плохого сделала, что не так сказала? Да ничего. Тогда что это? И вдруг — такая любовь. А главное — признание.

У меня из головы не выходит такой эпизод. В ту пору, когда я так долго не снималась, и об этом часто говорилось на собраниях Театра киноактера, что, мол, актриса хорошая, и не работает, даже снята с зарплаты. Безобразие! Я помню эту актрису! Ого! Еще бы не помнить. Я ей так была благодарна за поддержку, сочувствие. Прошли годы. Я начала сниматься из картины в картину. Эта актриса успешная, талантливая, всеми любимая. Я

бросаюсь к ней, — давно не виделись, хочу ей сказать самые-самые теплые слова благодарности. И на меня льется ушат ледяной воды: «Слушай, а не часто ли ты мелькаешь? Как ни включу «ящик», - все мелькаешь!»

Я так и осталась с открытым ртом и протянутыми руками.

А тут после американской школы все мелькания мне простились, забылись и наоборот — я всемогущая! Мелькай, мелькай почаще! Помоги!

Ничего никому я не объясняла. Стала еще чаще закрывать клапан доверия и открытой души. Но иногда вырывается наружу, не могу сдержать. Недавно так вот посочувствовала в горе, так хотела прикрыть собой амбразуру боли у коллеги. Момент прошел, и я отброшена. Но почти не переживала. Почти. Это уже прогресс. Значит, приспосабливаюсь к новым жанрам нашего времени.

И потому, когда началась новая американская кампания по сбору денег у богатого населения эмиграции, я за этим смотрела со стороны. Думала, а нет ли там еще одного Шубина? А их там оказалось много. Офис в Лос-Анджелесе. Предлагаются трех-четырехдневные морские круизы со встречей Нового года на корабле. Арендовано два больших океанских лайнера. Даты указаны. «Неслабая» стоимость билетов указана тоже. Каюты распределены. Билеты проданы.

Ежедневно, помимо роскошного угощения и дорогих напитков, пассажиров будут «угощать» наилучшими артистами бывшей Родины. Такое бывает раз в жизни. Ко мне трижды приходил мужчина в черном костюме в белую полоску. В очках, какие носил Берия. Он у меня так и остался под кличкой Берия. Нужно было еще скрупулезно заполнить длинный договор. Пунктов много. Даже, если хотите, можно получить аванс. Гонорар огромный.

Приходит время вылетать в Нью-Йорк. Артисты молчат. Никто не «светится». Редко кто с кем-то переговаривается. Приближается дата вылета. Все отменили свои дела, гастроли, новогодние елки, концерты, заработки. Кто-то умный позвонил в Лос-Анджелес по всем многочисленным телефонам. Ха-ха! Такой фирмы уже нет. Ни слуху ни духу. Исчезла. Естественно, с деньгами всех пассажиров. Вот это была сенсация! И смех и горе. Это тебе не бензин разбавлять водой.

Ай да Берия! Какие честные немигающие глаза! Смотрел прямо, честно и страшно! «Из тысяч лиц узнал бы я мальчишку… но как зовут… забыл спросить».

Глава двенадцатая. Пойдемте в мое царство…

Много выступлений в концертах, в разных передачах на телевидении. В общих чертах жизнь продолжалась. Но с фантомными болями. Разве можно кому-нибудь поверить? Разве что на короткий промежуток. Но мое проклятое устройство — постоянство — било тревогу. Устройство… Как бы это… Короче, для меня наивысшая степень возбуждения прячется в супружеской верности. Как это и ни покажется старомодным сегодня. Может, это скучно. Но такое уж «устройство». Значит, не стоит нервничать о вещах, которые не подчинены моей воле и разуму. Предоставлю возможность событиям самим управлять собой. А там посмотрим.

Была у меня задумка. Хотелось спеть песни, которые стали наиболее близки мне именно в эти годы моей расстроившейся жизни. И хорошо бы их сопровождать монологами о любви, о профессии, о судьбе. Хотелось, ну и «хоти». Раньше я бы могла попробовать заинтересовать в этом телевизионное начальство. Теперь же надо было находить частных лиц, которых заинтересовала бы эта мысль.

Интересно, что «Песни войны», которые с восьмидесятого ежегодно показывают по ТВ в День Победы, никогда не вышли бы к зрителю, если бы…

Но все по порядку. Это история, которая никому не известна, кроме ее участников. Думаю, что вам, уважаемые читатели, будет интересно узнать, как рождается программа, которая вдруг становится такой нужной и современной. Вы заметили, — опять все то же «вдруг»?

В 1979 году я впервые была в Америке. Оттуда и приехала с единственным страстным желанием спеть «Песни войны». Одна режиссер, у которой я снималась как-то в музыкальной передаче, сказала, что у нее есть тридцать минут эфирного времени. И я могу спеть все, что хочу. Раздумывать мне было не нужно. Тут же, в тот же день, я вошла в то время, в ту жизнь, когда получали от папы треугольные письма. А в них ноты. Слова песен с папиными ошибками и с его личным синтаксисом. Одни троеточия. Понимай как хочешь. Тут, мол, у меня мои «раздумья». И, перевернув в памяти ворох военных песен с «раздумьями», я выстроила сюжет. Война в лирических песнях. Начало войны, песни на войне, Победа, возвращение с Победой в родной дом. Тридцать минут? Значит, только фрагменты песен. Но их же тогда

еще, в восьмидесятом, все знали, помнили.

В моем, том первом, «Бенефисе» музыкальным редактором был Владимир Давыденко. Он-то и сыграл эту военную историю. Впервые в военной песне зазвучал рояль с синтезатором. Звукорежиссер Владимир Виноградов из аппаратуры «Тесла» выжал все! И «Тесла» родила звук, который сейчас выдает лучшая аппаратура. У режиссера в ГИТИСе были занятия. Мы ее ждали-ждали. И записали фонограмму втроем: Виноградов, Давыденко и я. Теперь как это снять? Вот тут и стоп. Есть две телекамеры. Меня усадили на диван. Рядом ширма, на которой развешаны фотографии моих родителей времен войны. И черный довоенный репродуктор. И все. Включили камеры, и я тридцать минут отбарабанила одним куском. Не получилось. Заведующий музыкальным отделом ТВ сказал, что сейчас уже никому не нужны «Песни войны». Да еще тридцать пять минут. Он предложил разрезать программу на «куски» и пустить эти куски в рубрике «Поют драматические актеры».

Я же чувствовала, что тут, в этой фонограмме, есть что-то очень, очень мое, пережитое, незаимствованное, рожденное на моей земле. Я не знала, где находится дирекция ТВ, какими тропками туда пробираться. Но терять нечего. Я телевидение, в общем, не подводила. Решила — пойду прямо в кабинет начальника Стеллы Ждановой. Ее все боялись. Она выслушала меня и сказала, что должна сама посмотреть материал. А потом прищурила глаз и спросила: а что вы это там такое написали, что мой журнал ходит по рукам и никак не вернется домой?

В марте-апреле 1979 года в журнале «Наш современник» было напечатано «Мое взрослое детство». Это «детство» мне тогда и помогло. Через несколько дней меня вызывает Жданова: «Понимаете, программа не получилась. Мысль хорошая, но то, как она преподнесена… Нет, так я вас на ТВ не выпущу. Я покажу материал всем нашим режиссерам, — что они скажут». Еще через несколько дней Стелла Ивановна предложила мне поработать с режиссером, которая снимала интересные музыкальные передачи. Я промолчала. «Или вы не любите режиссеров-женщин?» Я робко сказала, что работала с Евгением Гинзбургом. Она сразу изменилась в лице. У Гинзбурга тогда, после какой-то программы, на телевидении были неприятности.

Прошло время. Еще раз я была у нее. И она вдруг (опять это «вдруг»!) мягко и нежно сказала: «Я подумала… Хорошо, пусть снимает Гинзбург». Очень, очень интересная женщина. Наверное, это и есть продюсерское чутье. Все взвесить и вопреки своему личному пустить интересный материал в работу. Фонограмма попала к Евгению Гинзбургу. И конечно, сразу разговор начался с

художника. Игорь Макаров.

Когда я впервые вошла в декорацию «Бенефиса-1», где Марис Лиепа танцует на корабле, какой-то мужчина в джинсах и высоких сапогах на шнурках вырисовывал буквы названия корабля. Кто же это? А когда он повернулся, — боже мой, — красавец! В «Песнях войны» Игорь Макаров так просто и грандиозно придумал декорацию! Как же впоследствии она бессовестно была растиражирована всеми, кто не имеет «своего». Простая площадка из досок. Как в войну. Когда сценой был кузов грузовика. И один стул. Венский довоенный стул.

Оператор Сергей Журавлев, царство ему небесное! Редкий оператор. Не знаю, откуда, — не бабник, ни-ни, — такое знание женщин? Любил их снимать. И здорово снимал портреты. И опять же на той самой аппаратуре, где обычно все лица красные и в желтых крапинках. Мастер! Подойдет ко мне и долго стоит, вперившись в мое лицо. Ну, на расстоянии сантиметров пятнадцати! А на носу еще и очки с толстыми стеклами. Однажды я не выдержала: «Слушай, Сережа! Как же хорошо, что ты не гинеколог!» А он изучал мое лицо, высчитывал, сколько еще нужно времени, чтобы глаза заблестели, под глазами разгладилось. Интересно все, мои милые читатели. Какие люди есть, о!

И получилась одна из самых нежных и добрых программ. «Песни войны». Мы все получили: «Большое спасибо». В прямом и переносном. Группа получила свою очередную зарплату. А я, за три смены съемок, по пятнадцать рублей. И еще пятнадцать рублей за смену записи.

Такая история. Времена настали другие. Нет Стеллы Ждановой. Куда, где, кому, — ничего не понимаю. Кстати, хороший сегодняшний анекдот: приходит на концерт юная начинающая певица. Артисты распеваются, жонглируют шариками, готовятся. Она окинула всех внимательным взглядом: «Слушайте, господа артисты, вы не знаете, кому здесь нужно «дать»?»

Это было лирическое отступление. Продолжаю то, с чего начала. Дважды я пела и играла свою «задумку». «Задумка» — уже глупо. Какое-то ограниченное тупое слово. Но для меня ближе, чем «проект». До «проекта» я тогда еще не созрела. Слушали два продюсера. Одному — слишком драматично. Другому — смешного мало. А по-моему, просто не «врубались». Не те люди. Это было видно сразу, с порога. Но, «зажав свое сердце в руке», я доводила показ до конца.

Недаром, видно, говорят: считаю до трех. Что-то загадочное в этой цифре есть. Третий раз, уже без всякого энтузиазма,

исполняю свою «задумку» перед продюсером фильма «СекСказка», в котором я снималась около двух лет тому назад. Но я этого человека помню смутно. Большой мужчина в черном пальто. Стоял на съемке в сторонке. После работы он даже подарил мне цветы, когда я садилась в машину. Но на улице было темно, и я его не разглядела. Да мне тогда было не до этого. Боли, мои боли меня не отпускали. Мир прояснялся только в часы работы.

Я исполнила еще раз то, что мне хотелось. Но оттого, что вовремя мой энтузиазм пролетел впустую, нужного запала уже не было.

— Знаете, я буду это делать. Сейчас я уезжаю. Я вам дать знать.

И исчез. Боже мой, все «як закон». Очередной «обещатель». И никаких переживаний. Закрыла я страницы своей «задумки» и пошла жить «дальший». В это время меня на небольшую роль в спектакль «Чествование» пригласил в свой театр Леонид Трушкин. В главной роли Шура Ширвиндт. У меня эпизодическая роль во втором составе. У актрисы из первого состава еще где-то важная работа. Какая разница? Первый состав, второй. Опыт есть. Играй себе. Эту небольшую роль я играла с удовольствием. Реакция зала всегда бурная, всегда горячий прием. А это важно. Это лекарство. Это выздоровление. Главный герой остроумен, ироничен. Но он неизлечимо болен. И все его друзья — каждый по-своему — его «чествуют» в его день рождения. Моя героиня, к которой он захаживал в былые времена и которая не скрывает своей древнейшей профессии, изображает сестру-сиделку. Герой ее не узнает, а публика-то уже узнала. Интересные минуты. Иногда импровизировали на ходу, азартно и впопад. Замечательный спектакль.

— Я приехал. Я освободился. Будем снимать.

Как важно уметь ничего не ждать. Я в этом убедилась. Не беги за славой, успехом. Она сами тебя найдут, если ты чего-то стоишь.

Нашла название своей «задумке» — «Люблю». Красиво. Настоящее время. Люблю все! Работу, природу, людей. Хотя спроси меня, чего в жизни я больше всего боюсь? Я отвечу — людей. От них все беды, сплетни, интриги. Но ведь есть же лучики? Есть. Вот к ним и стремись, Люся. К ним приближайся. Их мало, ой как мало. Но они есть главное в жизни. От них свет, правда, вера в жизнь.

Работа над «Люблю» — это встреча с новой, совершенно другой генерацией молодых людей. Продюсер Сергей Сенин собрал ударную группу. Режиссер Федор Бондарчук. Музыкален до чертиков. Монтирует шестнадцатыми и тридцать вторыми.

Феноменально! Художник Борис Краснов. С первым появлением его знаменитое: «Чем будем удивлять?» Сделав декорацию, в которой собрал реквизит всего «советского периода», все никак не мог успокоиться и приносил на съемку то огромного фарфорового гуся, — где он его выкопал? — то девушку с веслом или детские довоенные велосипеды. Борис киевлянин, с уникальным чувством юмора. Он сам так комментировал эти предметы, — вся группа валялась от хохота. «Вы ничего не поняли, это самая-самая фишка! Почему? Because потому что!» Но Бондарчук все отвергал и отвергал. А иногда остановится на чем-то, лицо просветлеет, и сразу становился похожим на своего папу, Сергея Федоровича. Так же, как и папа, немногословен. А когда говорил, то точно и «туда».

Костюмы Валентина Юдашкина. В тот, девяносто третий год имя его уже гремело в мире. Он всех «уложил» своей коллекцией «Фаберже». В 1991 году в его костюмах я произвела фурор в Америке. Ей-богу! Выхожу в золотом костюме — обвал! Не понимаю. Мне аплодируют или костюму? «Спасибо! На мне сейчас костюм нашего знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина!» И делаю такое «дефиле», как будто я на показе мод. Прием — ого! А про себя думаю, — ну, Валечка, ну, какой же ты талантливый, мерзавец! Приеду в Москву, пойду к тебе. Все расскажу и еще что-то выберу такое умопомрачительное…

Уже двенадцать лет я хожу к нему. Как приду на Кутузовский, настроение сразу — прыг! И фантазии — скок! И годы мои с горки — бух! Как мне научиться быть такой доброй, терпеливой, а главное, терпимой! Ну, как он терпит все выверты и капризы самых разных дам, тетенек, артисток и модных девиц? Как много дано от бога! Этому не научишь. А на столе уже лежат начатые эскизы чего-то нового, будущего. А ведь еще настоящая коллекция не успела отшуметь.

Иногда — необходимо враз что-то новое. Иду к нему. Он сразу видит эту мою «необходимость». «Мы сейчас все найдем». И находим. Беру напрокат. На один раз.

Тогда, в «Люблю», он предложил легкий брючный костюм из шифона в мелкий горошек. Это беспроигрышная расцветка на все времена. А в войну, после войны — самая-самая. И только половинка белого воротничка. Хитро. Модные линии костюма современные. Но горошек и воротничок оттуда. Понял. Туда. А недавно, в Израиле, на концерте выхожу в зал. В луче платье горит как жар-птица. Одна полная тетечка не выдержала и руками потрогала платье. «Слушайте, Гурченко, почему тут так блестит?» Пришлось пропустить в песне текст. Я обратилась к залу: «Сейчас меня спросила эта женщина, почему тут (я показала

на то место, которое она пощупала, — это рисунок от груди до места, которое намного выше колен) блестит? Это ручная работа. Эксклюзивное платье от Валентина Юдашкина!» Дальнейшие слова песни из-за грохота аплодисментов в зале уже были не слышны.

Оператор Михаил Мукасей. В «Гардемаринах» меня снимал оператор Анатолий Мукасей, его папа. Михаил Мукасей. Сын самой красивой женщины-режиссера Светланы Дружининой и Анатолия Мукасея, очень, очень видного мужчины. Сын — высокий, эффектный, с ослепительной улыбкой. Настоящая американская кинозвезда. Должна вам признаться, что впервые в жизни, в тот девяносто третий год, я поняла, сколько мне лет. И что я снимаюсь в общем-то у своих детей. И если эту мысль держать в голове, я ничего не сделаю. Как быть? А никак. Неси свое. Зарази их своим духом. Я знаю, что если живешь «своим», если говоришь своим голосом, если поешь свою тему, то хоть тебе двести лет, тебя будут слушать, к тебе будут тянуться. Уже давно поняла, что ничего не получится, ничего не достигнешь, если станешь обезьянничать. Быть попугаем, фальшивой монетой? Нет! Это просто. Это проходят все на первом курсе института. А быть собой! О, какая длинная дорога… Ну что? Ребята! Пойдемте в мое царство.

Молодой Мукасей меня удивил. И даже не тем, как снимал, — такой эффектной я еще не была и уже никогда не буду, — а как он меня чувствовал, сопереживал. «Жил» со мной в песне синхронно. Вот тебе и молодое поколение. А ведь модно и любимо сейчас совсем другое. Вон, в соседнем павильоне снимают клип с Ликой Стар, — совсем, совсем другая «музыка». Другая, извините, феничка.

Сергею Михайловичу — так зовут человека, который взялся осуществить «Люблю», — очень по душе было все, что я делаю. Странный человек. Непростой человек. Боже мой, какая противоположность тому, с чем я так, казалось бы, счастливо прожила треть жизни. Там прекраснодушные разговоры, здесь чаще молчание. Там поддакивания, здесь редкое: «да, супер». Или тень по лицу, — значит, надо еще думать, искать. Никаких сорок раз в день признаний в любви. Ждешь, ждешь этих признаний. Я так к ним привыкла. Но это ведь другой человек. Он другой! Нет, скажу я вам, очень страшно долго жить в тропиках и враз оказаться на Северном полюсе. Или наоборот. Там ведь все было так сказочно и красиво. И легко. И думаешь, что так будет всегда. И даже не вкрадется чуточка подозрения, что рядом милый лев долгое-предолгое время притворяется нежным и заботливым котенком для того, чтобы однажды совершить безжалостный

прыжок.

Нет. Ничего не хочу. Боже сохрани. Страх. Страх. Никто не нужен. А как одной пойти на день рождения, на прием? Ну, раз. Ну, два. А как в гости? А как? А как? А вот звонят в дверь незнакомые люди. Сейчас как-то страшно дверь открывать. Невозможно одной. Уже не студентка ВГИКа. А эти вопросы? «Да неужели? Ведь он такой милый. Ведь он так тебя любил, так смотрел». А про себя: «Ну да, «артистка» задавила милого парня. Ох эти артистки».

Когда я впервые появилась одна на юбилее дорогого Ю.В., а рядом со мной было пустое кресло, ко мне подсела Нина Рязанова, жена Эльдара (небесное царство редкой женщине), и спросила: «Где Костя?» Я ей сказала, что мы разошлись. У нее так побледнело лицо. Не знаю, кому в этот момент было хуже. Это был удар для всех, кто нас знал. Прошло, повторяюсь, около двух лет, а я все раздумывала: как бы я поступила, влюбись бы я в «мужчину с ребенком»? Нет, я не пример. Да, больно, да, жутко, — ушла бы. Но так долго жить на два лагеря, высчитывать «да-нет», это не любовь. Это расчет. Со мной был расчет. В те времена, когда многое было недоступным, запретным, закрытым, я была «светлым будущим». Я свое «отсветила». Времена новые. Теперь свет, который требует другого таланта, — экономического, предпринимательского, рыночного. Он на сегодня самый светлый. Вот только, к сожалению, придраться не к чему. Не гуляю, не пью, не изменяю, черт бы меня побрал, «звезду».

А жизнь продолжалась. Хотелось любить! Да, знаю, опять повторяюсь. Но повторяться буду и буду. Пока буду жить. Долго Сергей Михайлович меня провожал и уезжал к себе. Мы еще чаще и чаще встречались и ходили в Дом кино, или в театр, или в ресторан. Однажды кто-то обронил в мой адрес интонацию, которая всегда меня заставляет сжаться и ответить. Я привыкла отвечать за себя сама. Человек рядом семнадцать с половиной лет умел, присутствуя, с обаятельной улыбкой не входить в конфликтную ситуацию. И впервые за долгие годы борьбы в одиночку я была защищена Сергеем Михайловичем. С тех пор эти люди сразу, еще завидев нас издали, уже улыбаются. Мы потихоньку притирались, привыкали друг к другу. Очень потихоньку, иногда с большим скрежетом. Сейчас он за компьютером печатает эти главы и очень многое обо мне узнает впервые. А ведь всего этого он не мог даже представить. Вот так.

Одесса. Я с мужчиной, — так его называют на улице, на Привозе. И мне до боли в груди захотелось положить голову на его плечо. Самой, добровольно, без просьб и принуждений. Все остальное так улеглось, что и невозможно называть своими

словами, потому что… потому что это я знаю сама. Знаю, и все. Он умен, тонок, многое видит наперед, терпелив. Не хочу, чтобы он срывался. Надо очень поработать над собой, своим терпением, учиться беречь хорошее рядом. Многое в себе надо пересмотреть. Очень многое.

Мои выступления ему очень нравились. Я работала с новыми интонациями, новыми мыслями, новой пластикой. С трудом уходила от вчерашнего, от вдруг взрывающихся фантомных болей. И тогда — ужас! Бежать, бежать! Хоть из Америки, хоть из Минска, не важно — бежать! Из-за неточно оброненного им слова — охватывал ужас. Нет, нет и нет! Я больше не перенесу повтора, не выдержу, не хочу жить! Бежать, бежать! Куда? Не важно! Куда-то, куда-нибудь, лишь бы… О, как мне хотелось, чтобы самолет разбился, разлетелся, разметался в клочья. Чтобы ничего от меня не нашли. Чтобы не лежать в цветах, одетой в глупый наряд. И будут все заглядывать: да, жаль, еще совсем неплохо выглядит. А вы помните, какая она была в «Карнавальной ночи»? Ну, просто лапочка…

Бежать! О, я понимаю, как со мной было трудно, да просто невозможно. Сколько же этот человек принял на себя чужого, от той жизни. Но я ничего не могла в себе изменить. Ничего. Время, время, оно еще не вышло. Какой я ему досталась? Злой? Ненормальной? С желчностью ответов? Ни то и ни другое. Но и то и другое. Ох, как было со мной непросто иметь дело. Подозрительность. Подозрительность в кубе. Это не каждый выдержит. А что делать? После всего того я всегда держалась настороже.

В девяносто пятом году пригласил меня в Театр сатиры Шура Ширвиндт подыграть ему в его театральном бенефисе. Согласилась сразу. Пьеса Эдварда Радзинского «Поле битвы после победы принадлежит мародерам». Пьеса не новая. Она прошла по театрам под названием «Спортивные игры восемьдесят первого года». В то время я ее не видела, но шум вокруг был большой. Радзинский для Шуры дописал два небольших акта. Таким образом, получилась пьеса о восьмидесятых, девяностых и сегодняшнем, 2000-м, временах. Пьеса идет уже пять сезонов с неизменным успехом. Автор фантастически предугадал события будущих лет. И каждый спектакль, когда Шура Ширвиндт говорит: «Потревожьте их, только точечно, чтобы мирное население не пострадало» — в зале замечательная реакция, что бы в это время за окном ни происходило. В пьесе семейная жизнь, вывернутая наизнанку, находит нового и нового зрителя. Иногда, когда в конце спектакля мы выходим на поклоны, — в зале одна молодежь.

— Ну, Шура, потрясающе Радзинский угадал, ну просто ах!

— Ну — гений, что ты хочешь…

Не просто мне было прийти в Театр сатиры, куда меня не приняли когда-то в конце шестидесятых. Но я так обижала Шуру. И я пошла к нему в спектакль безоговорочно. К сожалению, не научилась так: «Подумаю, дам ответ через неделю, ах, да-да-да, любопытно, но…» Я сразу говорю: да или нет. Даже неинтересно. Но тогда бы это была не я. Сразу взялась за работу. Репетировал режиссер Андрей Житинкин. На эту работу почему-то никто из режиссеров не отваживался. А Житинкин сказал, — да, это интересно. И выиграл. Роль у меня, как, впрочем, и всегда, непростая. Простые мне не предлагают. Пьющая, эксцентричная особа с богатыми именитыми «предками», то есть из «золотой» молодежи шестидесятых. Вышла замуж за человека не своего круга назло родителям и из-за его безумной любви. А любила всю жизнь другого.

Эти невозможные выяснения и выносы на поверхность семейных тайн идут в такой тишине зала… Мне кажется, что каждый человек в зале пропускает все через себя. Но Радзинский потому и грандиозен, что вдруг, неожиданным поворотом, репликой, заставляет зал выйти из тишины и взорваться смехом и аплодисментами. Пьеса, в которой нет ничего о любви героев сегодня. Есть только вчерашние ее сполохи, воспоминания. Мы же играем как спектакль о странной всесильной «любви всегда». И в этом заслуга режиссера. Он находил любовь там, где ею, казалось бы, даже не пахнет.

Ну а так, если по-человечески, то не думаю, что мое появление в этом театре было кому-то по душе. Есть такие детали, о которых и не расскажешь. Просто это театр. И этим все сказано. Пришла. Отыграла. И до свидания. До следующего раза. Если он будет. В театре всякое бывает. Несмотря на то что «Поле битвы…» всегда имеет успех и всегда собирает полный зал, мы его не часто играем. По некоторым моментам в течение этих пяти сезонов, конечно, мне нужно было бы собрать манатки и хлопнуть дверью. Но я этого делать не буду. Один раз не сделаю. Учусь, учусь…

Случилось это в Риге. Свалилась на меня незнакомая болезнь — габденовый агранулоцитоз. Отыграла я два «Поля битвы…». На втором дежурила «скорая». Не могу подвести театр. Билеты проданы. Играю. Температура под сорок, но все соображаю. Наутро так заболело горло, что слова сказать невозможно. Повезли меня в рижскую инфекционную больницу. Похоже было на дифтерит. Врач, очаровательная женщина, удивилась, — только вчера она была на спектакле. Взяли анализ крови, затем

спинной мозг — очень мало лейкоцитов. Говорят: «В Москву возвращаться нельзя, не довезете. Будем лечить здесь». На следующий день, когда анализы ухудшились совсем: «Немедленно везите в Москву. Нам летальный исход не нужен».

Ого! Летальный исход… А Миронов? Он тоже умер в Риге.

Прилетели в Москву, институт гематологии. Лейкоциты — ноль. Все в масках, вместо окон решетки с фильтрами. В общем, она пришла. «Если бы вы приехали на два часа позже, то и лечить уже было бы некого». Врачи знают, чем эта болезнь пахнет. «Сообщите всем близким родственникам, всякое может быть».

Кому сообщить? Как-то позвонила мама, чтобы сообщить, что у них объявился Костя и что они нашли общий язык с моим зятем. Оказывается, раньше я не давала Косте «развернуться». Какие метаморфозы с людьми. Костя так ненавидел и презирал Сашу именно за его расчетливость и чрезмерный практицизм. У Саши как-то очень быстро развилось величие и презрение ко всем. С отцом не разговаривал лет десять, потом с матерью. Это же он внес и в нашу семью. Нет, ничего нельзя сказать о том, каким человек будет завтра. А может, он и не менялся, а был таким, просто ждал нужного, своего времени. Как и Костя. Два зятя разбили нашу семью.

Я числилась как тяжелобольная. Нянечек не хватало. И со мной в палате жил Сергей Михайлович. Сутки — ночью и днем в маске. Ужас. Приехала из Харькова моя подруга Любочка Рабинович. Она сидела со мной, когда Сергей Михайлович уезжал на работу.

Пришла Маша. Сквозь мираж я разглядывала ее. Нет, она прежняя. Она была такая добрая, как в былые времена.

Потом лейкоциты стали возвращаться. И ко мне уже входили без маски. Опять была Маша, но куда-то спешила, показывала новый стек для конного спорта. Спросила, можно ли ко мне придет костюмерша? «Мама, она хочет наладить с тобой отношения». И все. А позже Любочка призналась, что мою дочь больше всего интересовало, расписаны ли мы с Сергеем Михайловичем и интересно, кому достанется моя квартира после моей… ну, ясно.

12 ноября Сергей Михайлович позвонил ей. Спросил, когда придет она поздравить меня с днем рождения.

«Мне некогда ходить по больницам. У меня на руках и стар и млад».

Ясно. Теперь совсем просто. Если я и буду на краю, ей я никогда не позвоню. Ох, ох, ох… Это жестоко, но, может быть, следует хоть раз побалансировать между жизнью и смертью, чтобы сразу увидеть обе стороны. И увидишь все как есть: и что

ты такое, и кто окружает тебя. Без ореола, реально, как оно есть. Да, вот так живешь и уверена, что знаешь своих близких, друзей, знакомых. Так хочется думать. На этой вере и строишь свою жизнь. И делаешь, и планируешь, и рассуждаешь, исходя из своих собственных представлений о них. А они-то другие. Когда приходит беда, вот тут-то и приходят и бередят душу такие открытия.

Мне нужно было быстрее, быстрее выйти из болезни. Меня ждали репетиции пьесы «Недосягаемая», которые прервала моя болезнь. Тогда, в больнице, я поклялась, — если выживу и сыграю «Недосягаемую», то буду жить по-другому. Я узнавала себя. За то время я узнала об искусстве жить и выживать больше, чем за все пройденное. Да и духовно подросла здорово. А как стонала и плакала от отчаяния. Я выезжала из больничных ворот в новый, незнакомый мир, где надо было опять учиться ходить, говорить, слушать. После этой болезни крови силы восстанавливаются совсем по чуть-чуть. Не было уже никаких скачков, никаких, как говаривали, «на утро как рукой сняло». Выздоровление шло безумно медленно, как будто топталось на одном месте.

Но ведь никто не поверит, что 28 ноября я вышла из больницы, а 8 декабря уже стояла в кадре телевизионной программы «Старые песни о главном» и пела «Московские окна». А съемка была ночная.

Что это? Профессия. Для нее и у совсем никудышного есть тайная горстка силенок, как тогда у меня в том, 1996 году.

Теперь я часто думаю: что же дало мне тогда такую силу сопротивления той немощи? Любовь и вера в свою профессию. Я верю — они мощнее, чем самая страстная любовь, чем религия.

А 13 января я вновь приступила к репетициям пьесы Сомерсета Моэма «Недосягаемая». Пьеса — не из лучших пьес автора. Пока зритель входит в суть, что к чему, проходит минут двадцать. Потом мой выход. Сижу и жду, сижу и двадцать минут жду своей первой реплики. Как ни бились, а экспозиция есть экспозиция. Это много. Это не современно. Во всяком случае, на тот бурный день за окном. Работали с Леонидом Трушкиным, как и на «Чествовании», отлично. Мне очень импонировало то, что он расстался с актерской профессией и исполнил свое главное желание — стал режиссером. Мне было очень по душе, что он ждал меня, ждал, когда я встану на ноги. Хотя, — мир тесен, — я слышала, что он кого-то смотрел, кого-то ему предлагали.

Но дождался меня. И это главное. Не думаю, что он был доволен спектаклем, я это чувствовала.

«Я для актеров пьес не ищу. Мне все равно, кто играет. Это не мой спектакль». А чей? Следующим спектаклем «Поза эмигранта»

он был очень доволен. И спектакль этот имел шумный успех. По его просьбе, из чувства товарищества одну из небольших ролей в «Позе эмигранта» играла я.

Были гастроли: Екатеринбург, Пермь, Омск. Я играла во всех вывезенных на гастроли спектаклях: и в «Чествовании», и в «Недосягаемой», и в «Позе эмигранта». Успех преображает человека всегда. Посмотришь на него: о, у него успех. Или: э-э, что-то не так, чем-то недоволен. После успеха «Позы эмигранта» в атмосфере театра появилась новая нотка, которой еще не было в репетициях «Недосягаемой» и, боже упаси, в «Чествовании». Как бы это точнее… Стали сами уходить хорошие актеры. Вместе с репетициями «Недосягаемой» залетели в атмосферу чисто театральные закулисные дела. Я еще тогда сказала об этом режиссеру, но он меня уверил, что мне это показалось. Тем лучше.

В Екатеринбурге репетируем перед спектаклем сцены из «Недосягаемой». Режиссер доволен тем, как я в полную силу репетирую. Но я чувствую, — что-то ему мешает. Что-то хочет мне сказать. А я вроде не даю повода. Пошла на грим. Заходит Леонид Григорьевич. Мило разговариваем. И вдруг:

«Да, ты финал так не играй. Играй совсем просто: «Я вас люблю всех, вы все хорошие, но прощайте…» Как в «Пяти вечерах».

Я мысль схватила, но как я это сделаю, еще совсем было не ясно. Ну, думаю, как-то пойму в процессе. Это еще интереснее. А «вдруг»? Играю спектакль. И чем ближе к финалу, тем то, что я «схватила», все дальше и дальше от меня. А что мне говорил режиссер? Подошла к монологу — и ни туда ни сюда, ни то ни се. А! Не получилось того, что предложил он. А получилось смешение того, что делала раньше, с тем, что сейчас, перед спектаклем, было предложено. Ведь это третий акт, финал спектакля. Мы его начали репетировать вообще за три дня до премьеры. Я так нервничала по поводу этого финала.

«Ты его сама прекрасно сделаешь».

Занавес. Полная растерянность.

Ночью анализирую. Этого монолога у Моэма в пьесе не было. Он дописан самим режиссером. Его нужно органично «вписать» в роль. А как? Разве расскажешь о том, что происходит там, в клетках головы, сердца, давления даже… О, сколько в этой роли разных-разных оттенков, интонаций, искренности, лжи, наигрыша… Та интонация, к которой я пришла в финале, была для меня единственной. Может быть, другая актриса пришла бы к другой. Но для меня та интонация была единственным решением.

Я помню, как в недоумении закончила спектакль, вышла за

кулисы, а моя партнерша с торжеством на лице показывает мне два больших пальца: во, здорово!

Стоп, Люся. Значит, шел разбор моей роли, были советы… На следующий день играть опять. Но как? Я поняла, что к режиссеру за советом я не пойду. И в этом новом театре рождается закулисный худсовет. Когда после первого спектакля, после «пальцев», я сказала режиссеру о том, что можно было мне сразу сказать и ни с кем не советоваться, он горячо мне возразил, но… мы оба все поняли.

Играю второй спектакль. И уже с самого начала, с первой сцены думаю о финале. Разве это дело? Играю плохо. Штампы победоносно вылезают из всех щелей роли. Но когда струна лопнула, доиграй мелодию на трех оставшихся. Доигрываю. Сердце стучит бешено. Сама себе отвратительна. Роль разлезается на глазах — моих глазах. А ведь сама себе самый жесткий судья. Долезаю до финала, вроде исполняю то, что предложили, и понимаю, что больше эту роль играть не смогу никогда.

Опять ночью анализирую. Разве мы разбирали мой последний монолог? Да и вообще, разве было до меня, если за десять дней до выпуска спектакля главную мужскую роль репетировал новый актер. Ну, можно ли в таких ситуациях брать внимание на себя? Много было разных «разве». И «вдруг». Да, опять это «вдруг».

Может быть, я и не театральная актриса. Чего только не бывает в театре? Каких поворотов. Но там, в государственном театре, нет невероятной спешки с выпуском спектакля, когда нет денег, нечем платить за репетиционные помещения и т.д. и т.д. Ведь это антреприза. Я киноактриса. В кино есть один дубль. И все! И пошли дальше.

Доиграла я честно и смиренно в Театре имени Антона Чехова у Леонида Трушкина все гастроли до конца. Опять же забрала свои манатки и с горькой тяжестью в душе ушла из театра. Такое болезненное разочарование.

Прошло время. И на душе образовалось чувство облегчения. Значит, все так. Значит, искусства для меня там нет. Многим, кто со мной даже долго общался, кажется, что они меня хорошо знают. Это не так. Еще две недели назад я ехала в эти гастроли с воодушевлением. А сегодня ушла из театра. Предана я делу и самому Леониду Григорьевичу была всецело. Очень его уважала и была ему верна. Вот же как бывает. Пролетает туча, и лететь бы ей дальше. Но нет. Ее не разогнать. А под тучей этой не могу играть. Уже не верю. Ерунда? Может быть. Значит, опять мой характер. Но, если меня спрашивают, что было хорошего, какие были счастливые дни, миги в последние годы, — один из мигов связан с «Недосягаемой».

Играли мы «Недосягаемую» в Одессе. Самого режиссера на этих гастролях не было. А «Недосягаемую» играли в день моего рождения — 12 ноября. Всякие необыкновенные вещи случаются со мной в день моего рождения. Я уже боюсь годовщин, дат. В Одессе в это время года сильные туманы. Накануне вечером выясняется, что звукорежиссер забыл в Москве мини-диск с музыкальным сопровождением к спектаклю. Такого не бывает вообще. Зал сидит, а мини-диск через Киев летит в самолете и едет на машине в Одессу. А зал пришел на спектакль 12 ноября. Поверите, у меня ни одна жилка не дрогнула. О, я уже давно убедилась в том, что, какие бы планы я ни строила внутри себя, все произойдет совсем по-другому. Потому давно уже жила: ну, что еще будет, чего еще мне ждать? Нет мини-диска. Ну, через тридцать минут разойдутся зрители. А день рождения? Да кому он нужен? И играть хотелось, чтобы не отмечать, не топтаться и не улыбаться глупо, мол-де — старость не радость, — ну, что вы, вы так прекрасно выглядите, вы всем пример, а что вы там такое делаете, что все еще держитесь…

Нет, лучше играть, тогда и вопросов не будет. Когда не смогу играть, тогда уж буду держаться.

А публика уже час сидит. Уже со сцены рассказали про нашу «беду». Уже зал проникся сочувствием к актерам. Уже за кулисами артисты договорились по очереди выступать со своими номерами. Успех был особенный. Артист не в роли, а такой, какой есть, да еще в такой экстремальной обстановке. Когда открываются новые, незапрограммированные актерские шлюзы. Ах, Боря Шувалов! Ах, Боря Дьяченко! А Володю Стеклова таким ревом восторга принимала публика! Куда усталость ожидания подевалась? Готовилась к выступлению Ольга Волкова, топталась за кулисами я… И вдруг: приехали, привезли!!!

В секунду все были одеты. И пошла долгожданная музыка. Я вышла на сцену в 9.30 вечера. И это же надо такому? Это же надо, чтобы такое совпадение? Моя первая реплика по пьесе: «Прости, что я заставила тебя ждать». Стою за кулисами, вот и мой выход: «Простите, что я заставила вас так долго ждать». Зал так приветствовал! О! Все простили. И всем. После спектакля я посмотрела в зал. Он был полон.

«Уважаемые, милые, дорогие. Вы знаете, у меня еще ни разу в жизни не было на дне рождения так много гостей…»

Глава тринадцая. Всё супер!

Я иду. И не знаю, что ждет впереди. Но назад оглянуться боюсь.

— Где ты был?

— Да у глухонемых. Черт, руки устали.

— Руки? Почему?

— Да всю ночь пели.

Хочу быть тупицей. Хочу быть слепцом. Хочу, чтобы после концерта у меня болели руки. Хочешь быть глухонемой? Да. Хочу. Очень хочу. Хочу не слышать ничего. И прежде всего себя. Своих гадостей, которые извергаю. Которыми осыпаю себя и трусов, которые из-за страха становятся жестокими и мстительными. Несчастные «труссарди».

Что же теперь меня интересует? Что возбуждает к жизни? Работа? Да! Но есть еще один ах какой немаловажный аспект жизни — личный. Женщина — она прежде всего просто женщина. Ее прямое назначение рожать, заниматься хозяйством, домом, любить и быть нежной и прекрасной. Ничего, видно, мне не дано. А теперь еще и душа заколочена. И я не я. Потому что прежней распахнутости, видимо, пришел конец. Но как же я нуждаюсь в понимании, в диалоге. Запутанном и простом. В таком простом, который понятен лишь двоим. А вот это и есть самая острая проблема. Обманываясь, закрывать один шлюз для того, чтобы жить другим. А о третьем, несуществующем, лишь мечтать, — да, где-то, где-то… уже теплее, уже горячо…

А потом источник истощился, «себя исчерпал», и — разрыв! Жуткий, изнурительный, опустошающий. Все. Пусто. Нет, нет объекта для меня на этом шаре. Уже точно нет. И это навсегда. В спине нож. Рана не рубцуется. Кровь не свертывается.

Еще не было света. Еще был сплошной мрак. После работы я пробиралась в свой дом по мокрому и скользкому тоннелю. А мои вечно холодные ноги и руки как будто стали теплеть.

Шел идиотский спектакль. Театрик, перестроенный из обыкновенных блочных квартирок, мест на семьдесят, был изнутри выкрашен в черный цвет. Когда я со своим спутником пришли, спектакль уже начался. Мы здорово опоздали. Нас раздели в кабинете директора, который был одновременно и бухгалтерией и костюмерной. И наши пальто повесили рядом с разноцветными бархатными платьями, перьями и корсетами, истлевшими от времени и актерского пота. Мой спутник, грузный молодой мужчина, глядел на меня печальными голубыми глазами, существующими где-то там, у себя, глубоко внутри,

ритуал ухаживания за дамой исполнял вежливо и учтиво. Дама, то есть я — хрупкая (в сравнении с ним) особа, — глядела на него печальными глазами, существующими где-то там, у себя, глубоко внутри, ритуал ухаживания поддерживала.

Зальчик был забит. Видно, с самого начала действие развивалось круто, потому что, когда мы зашли в зал, артисты уже не щадили голосовых связок. А двое даже были в нижнем белье. Их хриплые, срывающиеся голоса не летели вверх, а растворялись в первых рядах жаркого душного зальчика. Девяносто третий год. Таких театриков открылось множество.

Нас с моим спутником разъединили. Мне поставили стул сбоку, около сцены. А его повели по винтовой лестнице наверх. Архитектура зальчика была проста как мир. А действие все развивалось и развивалось. И все непонятнее и непонятнее. И все безнадежнее и безнадежнее.

Невыносимо. Тоска. Над чем смеются люди? Я обернулась и посмотрела в зал. Девочки в очках. Несколько дам около своих мужей с розовыми и блестящими от жары лысинами. Театральные фанатки-тетеньки с умными, оценивающими и всезнающими взорами. И еще совсем не театральные лица, которые сюда забрели случайно.

— Джо-он! Джон, ты меня слышишь? Где ты? Джон!

— Я здесь. — И Джон вылезает из трубы, которая доселе была замаскирована черным бархатом. Джон тоже в нижнем белье. Хохот. Но за ним вылезает еще и Дженни. И тоже в нижнем белье. Смех еще пуще. Ничего не поняла. Только и помню, что все были в нижнем белье.

Жара, духота. Надо быстро «делать валенки». А где же там мой спутник? Как он там, наверху? Неудобно перед артистами. Зато не придется врать, улыбаться, восхищаться и пожимать потные руки измученных коллег. Все это сама проходила. И видела, как врали, в наглую делали комплименты. Ведь какие бы слова ни говорили, глаза-то выдают.

На такой случай есть много заученных фраз. «У меня нет слов», - например. Или, допустим, тебя встречает твой «доброжелатель»: «Ой, как ты выглядишь, прямо расцвела!» А лицо у него при этом такое, что я понимаю, — надо немедленно бежать к врачу.

— Девушка, пожалуйста, позовите моего партнера, где он там?

— Он наверху. Сейчас позову.

Держась за черную шершавую стенку зальчика, я выползла в коридор. И наконец, глубоко вздохнула. Этот темный коридор показался мне райским местом с голубым небом. Появился мой

спутник, которого я глупо назвала «партнером». Было не до того, чтобы подбирать точные слова. По тому, как он ускорил шаг навстречу мне, и по тому, как я сделала то же самое навстречу ему, мы поняли, что оба этого хотели. Хотели избавиться, спастись, освободиться. И тихо рассмеялись.

Девушка с тусклым фонариком принесла наши пальто. И мы, стремглав одевшись, схватив шарфы, шапки и перчатки, вырвались на волю. Мы бежали к машине как к спасению. Вот сейчас эта машина нас повезет куда-то далеко-далеко, где наконец-то из обоих уйдет мрак, тоска и усталость. И дикое одиночество.

Но ехать было некуда. Нас никто нигде не ждал. Ни вместе. Ни порознь. Мы существовали «поврозь». А о «вместе» не было и мысли. Что ж, мы поехали в Дом кино, откуда тоже быстро сбежали, обливаясь холодным потом от стыда. На экране с торжествующей посредственностью разыгрывались страсти обнаженных артистов наших первых российских эротических «боевиков».

Перед нами была долгая череда дождливых вечеров, перемежающаяся со светлыми «первомайскими» днями. Это была вот такая, особая, прелюдия.

Долгое время мне интуицией удавалось распознать какие-то этапы своей жизни. Вот успех. Вот забвение. Вот влюбленность. Вот ролишка. А вот боль. А вот роль. А вот — Роль! Каждый из этих этапов-периодов жизни долго ли, коротко — длился. Но вот все проходит. А ты живешь, движешься, идешь по земле, на которой нет ни вчерашней травы, ни густых зарослей. Это уже совсем не та земля. Оказывается, я очутилась на другом берегу. Этот берег надо вновь осваивать, узнавать, чтобы не поскользнуться и не улететь в тартарары.

Другая дорога, другой берег. А в наследство от предыдущей жизни мне достался один страх. Невыносимо жить в страхе. Казалось бы, страх — ах! Мгновение — и все! А если он не одиночный выстрел, а строчит как пулемет? О, от такой беспрерывности становишься апатичным, безразличным ко всему. Овладевает тупость. Эти отупения — как защита от ожидания нового страха.

— Что с тобой?

А что отвечать? Не скажешь ведь: я боюсь повтора. Это значит, что и ты такой же. Ответишь что-то наотмашь. Ну и получишь в ответ тоже наотмашь. И пошло. И поехало. После затяжных ссор, где не высказаны истинные причины, все же не разошлись, не разбежались. Наверное, лишь потому, что Сережа обладает поразительной способностью убеждать. Умеет очень

талантливо успокоить. Но, несмотря ни на что, моего спокойствия хватало ненадолго. Он опять сдерживал меня и сдерживался сам. А потом, не выдержав, обрушивался на меня так, что мог причинить сильную боль. Но скоро, прямо тут же, на глазах, отходил и был мягким и всепрощающим. Как бы это научиться так быстро отходить?

В эти минуты он так был похож на папу. Даже страшно. Тогда, в детстве, не верилось, — вот, только что в доме все летело, содрогалось, взрывалось. А сейчас папа сидит на груде разбитой посуды и плачет. И мама его прощала. И опять у них любовь, любовь.

Я же еще пуще уходила в себя, в свое неверие и страх. Зачем мне его «отходы»? Он сразу отошел, а я еще долго сижу в своем «карцере». Сережа мудро объяснял, что секрет добрых отношений состоит в том, чтобы не дать чему-то прошлому испортить сегодняшнее. И я понимала. Все понимала. И могла еще лучше объяснить. А что толку? Изменить в себе что-либо я была беспомощна.

Не разошлись. Не разбежались. Не оборвали сложных нитей, путей, связывающих и соединяющих нас. Это сверхуникальное супружество. Оно не прописано ни в каких красных и хрестоматийных книгах. Бури, грозы, ссоры, вспышки — это стоило огромных душевных и физических сил. Но я за все годы не могу понять, как ему удавалось на этом нашем кромешном пути все смыть, разгладить и еще выстроить по падежам. Все: от именительного до предложного. И с твердым убеждением мне сказать:

«Люся, стоп! Все отлично. Всё супер!»

Да у самого Фрейда мало есть что сказать про нашу ситуацию. А она есть! Сквозь все превратности, разницу в возрасте, его интровертность и мою экстравертность, сквозь недоуменные взгляды, приветствия, поздравления и кислые усмешки: эх, мол, неизвестно, что у них будет завтра. Она не простая «штучка». Да и он — палец в рот не клади. Ого, как вспыльчив и горяч. Ну ладно, там увидим. Пусть уж сегодня будут веселыми.

А сегодня мы проснулись в каком-то российском городке, в огромном номере гостиницы сталинских времен. Окна на всех стенах. Окно даже за спинкой кровати. Все окна выходят на огромный балкон-веранду, опоясывающую полукругом наш огромный номер. В бра все лампочки вывернуты. Горячей воды нет. Вечером концерт. Все нормально. Все привычно. Никаких вопросов. Никаких возмущений, удивлений, претензий.

Настроение — вполне. Голова ясная. Значит, сейчас по идее в

ней должны зашевелиться ясные мысли. Самые мои ясные мысли всегда из области вопроса: что бы сделать интересное? Для души. Но и не только для своей души. Всем нужен душевный покой. Очень нужен. Смотришь на лица людей и понимаешь, что у меня с ними одни мысли и одни желания. О мечтах уже никто и не мечтает. Не «грезит» — слишком красиво для того лица, которым я смотрю на людей и с которыми они идут мне навстречу.

Вечером, в концерте, я буду с другим лицом. Я соберу в кулак все свои светлые и оптимистичные клетки и щедро рассыплю, распахну их залу. Мой золотой фонд еще не истрачен. В него зайду, когда буду совсем на излете.

Что же нужно мне для того, чтобы успокоиться, не «гнать картину», не «бить копытом»? Хочу спеть наши родные нежные песни. Чтобы они были обязательно с душевными словами, с добрыми мыслями, с хорошей мелодией и в необычном сопровождении джазового трио или квартета.

Что знает о любви любовь?
В ней скрыт всегда испуг.
Страх чувствует в себе любой,
если он полюбил вдруг.
Так страшно потерять потом
то, что само нашлось…

Разве это не так? Каждый человек прошел это в жизни, прочувствовал и понял. Разве не интересно в этом разобраться?

Понял я, что в жизни столько жизней,
сколько раз любили в жизни мы.

Если вдуматься, припомнить, то это точно так.

Вечная любовь! Жить, чтобы любить!
До слепоты! И до последних дней…

Кто этого не хочет? «Вот и осуществим эту мысль», - сказал Сережа. И мы приступили к записи «Грустной пластинки». Перебрали много песен разных лет. Лета разные. Но ни революция, ни война, ни застой, ни перестройка — ничто не изменило страстей. Даже наоборот. Вокруг все так перевернулось, что настала пора заглянуть внутрь себя. Что моя душа переживает? Чего хочет? Как там у нее с любовью, со страстями?

Вот про страсти, про вечную любовь, про волшебство любви мы и записали песни.

С пианистом Михаилом Окунем знакомы были давно. Тогда, давно, на записи песни «Пять минут тому назад» из кинофильма «Аплодисменты» так интересно было с ним работать. Вот бы еще раз повстречаться. Ну, вот и повстречались. Миша Окунь человек с редким тонким вкусом. Ни одна малейшая неточность, погрешность, фальшивиночка у музыкантов и у солиста не проскочит. Услышит, остановит, все заново еще и еще раз прорепетирует. Очень, очень интересно работать с Михаилом Моисеевичем Окунем. А среди музыкантов у него кличка Михаил Беспощадный. Беспощадно, но точно. Угодить его требованиям не просто. Поэтому и интересно. И я, как бобик, его слушаю. Потому что это талантливо.

Много было приятных слов по поводу этого диска. Его отметили музыканты и «тонкачи». И мы были счастливы. Сделали телеверсию этой «Грустной пластинки». Но вот одно суждение такое, после которого я поняла, что именно для этого я и записывала эти песни.

Есть у нас друг в Сибири. Очень умный, добрый и деликатный человек. Саша Адливанкин. Он часто бывает в Москве. И мы подарили ему этот диск.

«Ну, ребята, вы попали! Понимаете, за день так вымотаюсь на работе. Еду домой, дрожь в теле, сейчас сорвусь на жене, на детях. Знаю, что они меня ждут, любят. А сам дергаюсь, мысли в голове крутятся. Ну, нельзя же так, думаю. Ну что? Выпить стакан водки? Нет, не дело. Рано вставать. Сунул вашу «Грустную пластинку» в CD-плеер, еду и слушаю. Уже дом рядом, а я слушаю. Объехал раз пять свой дом. Нет, так не пойду к жене, к детям. Заехал в магазин, жене купил цветы, детям купил конфет, кока-колу — они любят. Пришел домой — спокойный, нормальный. Жена довольна, дети счастливы. Папа им праздник сделал».

С Сашей мы познакомились на гастролях. Посидели за одним столом и подружились. За столом было много людей. А подружились мы с ним. Сашу интересовали неординарные моменты в нашей работе. Как мы выживаем в новом времени? Когда было легче: «до» или «после»? Его интересовало то, о чем люди в кинотеатрах не думают. Они смотрят на экран, это естественно. А как и где искать деньги, чтобы поставить спектакль или фильм? Это вопросы совершенно нового перестроечного времени. С той встречи он иногда, ничего не спрашивая, когда у него бывала возможность, тихо и деликатно подставлял свое «плечо». И всегда вовремя. Как настоящий друг.

Интересно. В Америке, на Новый год, подошли ко мне джазовые музыканты: «Передайте привет Мише Окуню, Игорю Кантюкову, Стасу Григорьеву. Это наши друзья, работали вместе. Рябого не знаем, он, наверное, молодой. Знаете, в этом диске мы открыли Вас». А мои поклонники купили диск со мной, а открыли Михаила Окуня и его музыкантов. Интересно все. И многие, кому нравится то, что в моде сегодня, со временем обязательно повернутся к мысли. К мелодии. Ну а ритмы — это движение жизни. «Ритмы всякие нужны, ритмы всякие важны». Придет такое время. Терпение.

Нас с Сережей очень соединила работа. «Люблю», «Грустная пластинка». Все чаще и чаще мы возвращались к идее создать музыкальный спектакль. Но об этом в следующий раз.

Глава четырнадцатая. Привет, Бродвей!

Иду по Нью-Йорку и плачу. Вокруг круговерть. Вокруг суматоха, суета. Вокруг волны разноязычности и разноголосицы. Вокруг черные и коричневые, желтые с раскосыми глазами и альбиносы «с лицами СС», каких я помню с детства. Люди разные-преразные. В ушах шум и гам бескрайнего города с четкими «стритами» и «авеню».

Мне сорок четыре года. Ноябрь. Скорпион. Мой месяц. С самого первого того американского фильма детства «Springtime» жизнь здесь, в Америке, представлялась пленительной и сказочной. Как воздушные голубые грезы. Ничего подобного. Все реально, грубо, зримо. Плачу светло, тихо, не горько. Плачу сама себе. Рядом наш сопровождающий Артур. Он, конечно, ни слова на русском. Русских вообще так близко видит впервые.

Наша делегация советских кинематографистов месяц будет ездить по городам США. Неделя советского кино. Только что мы посмотрели мюзикл. Первый мюзикл, который я увидела на Бродвее. Иду и тихо сама себе плачу. Почему? Жизнь моя для этого жанра прошла. Совсем прошла. Поздно. Все уже поздно. А ведь именно для того, чтобы играть в этом жанре, я и приехала из Харькова в Москву в Институт кинематографии. О драматических ролях я никогда не мечтала. Музыкальный фильм был мой идеал, мечта моей жизни. А сейчас, здесь, на этих перенасыщенных многолюдных улицах, я особенно четко услышала, как всколыхнулся в моей душе разрыв между идеалом и реальной жизнью. Оттого я еще больше чувствовала дисгармонию и грусть.

На Бродвее в театрах нет гардеробов. Тут театр начинается не с вешалки, а прямо с первых аккордов и первых реплик. Свои пальто зрители держат на коленях или на спинках кресел. Не по-нашему. Непривычно. После спектакля в гардероб нет очереди. Сразу все выходят на улицу. Тоже не по-нашему. Тоже непривычно.

Мюзикл «Im miss be haven». Начинался тот спектакль с того, что на сцену выезжало старое, чуть расстроенное пианино. За инструментом сидел седой черный музыкант и играл знакомую мелодию. Зал его приветствовал аплодисментами. Я эту тему тоже знаю. Только не знала, что она из этого мюзикла. Играл музыкант эту мелодию в блюзе. А в записях она звучит так резво. Интересно. Я прямо подскочила на кресле. Он играл в манере Эрла Гарднера, когда левая рука чуть отстает от правой. Это был

1979 год. Это тот отрезок жизни, когда мы только-только начали вливаться в общий мир из нашей отдельно взятой страны. Мы слушали только пластинки. А как трудно было их достать. А тут, вот, всё живьем.

В спектакле, то есть в мюзикле, три героини. Три женщины. Тоже черные. Одна — очень большая, с большим бюстом. Вторая — средних, вполне приятных размеров, таких, которые нравятся всем мужчинам. А особенно тем, которые говорят, что любят стройных. А третья… Третью даже стройной не назовешь. А как? Кожа да кости? Тогда она не героиня. Наверное, ей больше всего подходят эпитеты, которыми меня папа с любовью осыпал в детстве: «штрычка», «сухобздеечка». Наверное, точнее не скажешь. И еще двое черных мужчин, которые роскошно двигались и неплохо пели. А женщины роскошно пели и неплохо двигались. Эти шесть артистов и разыграли спектакль. Декорация простая. Угол улицы, два фонаря и пианино. Все. Между незатейливыми бытовыми сценками актеры пели известные мелодии. Зал подпевал им с упоением. Американцы вели себя как дети на наших новогодних утренниках. Невольно поддаешься этому наивному азарту. И я пела вместе с залом. Я знала почти все, что неслось со сцены. Наш сопровождающий Артур смотрел на меня с таким большим знаком вопроса. Да, наверное, со всеми тремя знаками. Откуда эта советская артистка все знает? Ведь она только один день в Нью-Йорке. А он, сам американец, половины этих мелодий не знает. Потом мы много с ним объяснялись на самые разные темы.

А вот и Голливуд. Вот часть улицы тридцатых годов вместе с машинами того времени. Вот часть ковбойской деревни. Вот часть джунглей, где, наверное, снимали всех «Тарзанов» разных лет. Все сохранено, все с учетом, все экономно. Чуть передвинуть дома, другие вывести, реклама, и — пожалуйста! Не надо ехать на край света в экспедицию.

Параллельно мысленно иду по «Мосфильму». Лучшие декорации уничтожались, списывались. Раритетные автомобили вновь и вновь разыскивались по частным лицам. Самые интересные костюмы вспарывались, перешивались, истлевали. А как мне интересно было увидеть костюмы из «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна. Костюмы из «Войны и мира» Сергея Бондарчука. Да мои костюмы из «Идеального мужа» хотя бы. Художник по костюму Ганна Ганевская создала уникальные вещи. Где они? Как я однажды расстроилась, когда увидела в массовке девушку в моем платье. Я в нем пела «Песенку про пять минут». Оно облезло, увяло, потеряло свои блесточки.

Нет, не надо об этом думать…

Мы перелетали из города в город. Всё поперемешалось. Где день, где ночь? Где север, где юг? Где Америка, где Самарканд? Глобус крутился во всех направлениях, как и мы. Летим в самолете.

— Ну, Артур, how do you do?

— О, fine!

— А ты знаешь Апдайка?

— Нет. А кто это?

— Эх ты, Артур… Ну, Фолкнера-то ты уж должен знать.

— Фолкнер?

— Ну, «Деревушка», «Город». Ну, Джеферсон…

— Слышал. Но не читал.

— У-у, с тобой, Артуша, все ясно. А видел ты фильм «Великий Гетсби»? Ну, Роберт Редфорд, Миа Фарроу?!

Вот тут он оживился. Скотта Фицджеральда не читал, но видел в кино. Кино — это не книжка. Тут он напомнил мне моего папу: «Книги — то усе брех». Но папа часто мне рассказывал, что «Американская трагедия» Драйзера произвела на него неизгладимое впечатление.

> «Читал усю ночь, от корки до корки, на смену у шахту проспав».

Ах ты, мой дорогой, дремучий папесик… Это был семьдесят девятый год. Журнал «Иностранная литература» — дефицит, подписаться нелегко. Советский человек, привыкший к запретам, не мог себе представить, как это не прочесть «Колеса» А. Хейли, «Кентавра», «На пропастью во ржи» Селлинджера… У многих листки из журналов приклеены в больших тетрадях. В «Иностранке» я открыла очень близкого для своей души и разума писателя Хулио Кортасара. Всего два рассказа — «Южное шоссе» и «Преследователь». Они меня просто взорвали. В «Преследователе» история о гениальном саксофонисте, которого преследует писатель. Рассказ посвящен музыканту-саксофонисту Чарли Паркеру. А я дома слушала его невероятные импровизации. Вот откуда эти гениальные сумасшествия.

Музыканту для того, чтобы взлететь, оторваться от быта, студии, окружения, чтобы остаться только с любимым инструментом — только с ним вдвоем на всем свете! — надо стать босыми ногами на землю. Ощутить ее, свои корни. Да разве можно понять, что нужно гению? Со стороны его существование, не знаю, может быть, как состояние внутри бетономешалки? Такого детального разбора неординарного внутреннего устройства человека творческого, как в рассказе у Кортасара, я не читала.

А сейчас, в 2001-м, иду вдоль книжных развалов. Есть всё. Что хошь, можешь прочесть. Из какой угодно области. Читай себе «в любую сторону своей души». Для любой души найдется любая книга. А что-то не читается. Сначала понахватали запрещенной литературы. Со страхом. А вдруг в тюрьму посадят за Солженицына? Да нет. Не садят. Наоборот. Читайте Ницше, «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Гитлера! Страшно даже произносить. А можно. Я теперь даже не знаю… «Анна Каренина»? Банальный адюльтер. Вот он весь роман на нескольких страницах с яркими талантливыми картинками. Когда читать лирические отступления? Нет времени. Бежим, летим, нервничаем, думая, как заработать, как прожить. Сейчас американец Артур мне более понятен. А тогда…

— Ну, так что, Артуша, fine?

— Fine, fine!

— Как же ж «fine», если ты тоже ночь не спал? Да на тебе еще и билеты, и багаж… И всё «fine»? Да всё с улыбкой во все сорок восемь зубов.

И тут, в самолете, он мне тихо признался, что, если он не будет постоянно бодрым, с улыбкой и уравновешенным, его просто уберут с этой работы.

— Ох, как нехорошо, Артур. Как это у вас не по-человечески.

— А как у вас, в СССР?

Как у нас? А действительно, как у нас? Тут можно сказать, что языка я как следует не знаю. В школе я учила английский. Три урока в неделю. Не особливо разгуляешься с иностранным языком. В Институте кинематографии учила французский. За рубеж в капстраны не выезжала. Знакомых иностранцев в Москве не было. Да это и не приветствовалось. Дважды меня оформляли в капиталистическую страну. Первый раз засела я за язык. Дело пошло. Но выехать так и не случилось. В последний момент поехала другая актриса, видимо уже проверенная в капиталистических условиях.

Оформляюсь второй раз. Просмотрела я свои английские тетрадки. Так, чтобы совесть была чиста, если что и состоится. Опять не состоялось.

Ну? На кой черт он мне нужен, этот язык? С кем общаться? Я же не Ленин. Я не смогу шутя выучить еще и английский. И не в тюрьме: учить язык, чтобы не сойти с ума. С удовольствием читаю на русском. Переводы у нас замечательные. А третий раз, ну совершенно неожиданно, — ту-ту! И взлетела на другой континент. Должна сказать, что дней через двадцать в памяти всплывало такое забытое, что я сама себе удивлялась. Но вот на вопрос: «А как у вас?» — я задумалась. Ну, что ему сказать? Что

ответишь на вопрос: «Ну, как дела? Как жизнь?» Что, мол, сегодня плохо себя чувствую? Не то. Что голова раскалывается? Это совсем не то. И я себе представила. Как встречаются два русских человека: «Ну, Сашок, как дела?» — «Да херово, Вань».

Вот это, пожалуй, ближе к нашему «fine». А как это объяснить? Я играла этот этюд на все лады. Артур чисто и наивно улыбался. И абсолютно ничего не понимал. Потом я уже и рукой ниже пояса показывала жест, вот мол… Артур обрадовался, что понял: «I understand… Impotent».

Да нет, Артуша. Не то. Я уже и палец одной руки продевала в колечко пальцев другой, — нет, не то. Непонятно. Вот уж, ничего общего между русскими и американцами. Не понять такое простое слово! Сошлись на том, что я горько сморщилась, будто сейчас заплачу, и чуть нараспев, как в русских песнях: «Ой, хе-ро-во…»

Ему так понравилось. Он повторял и смеялся. Только вместо буквы «р» у него получалась буква «л». И тут уже смеялась я. А когда пришлось расставаться, мы улетали из того же Нью-Йорка, Артур так заботливо нас провожал, так привык к нам, открытым и доверчивым. Когда уже, вот-вот, он скрывался из виду, я спросила губами: «How do you do?» Он сморщил точно такое же лицо, как у меня было тогда, в самолете, и губами ответил: «Ой, хе-ло-во». У меня почему-то болела душа.

Позже я бывала в Америке много раз. Но после того, первого, приезда во мне поселилось чувство какого-то разочарования. Нет, нет там решения наших проблем. Там другой ритм. Люди общаются по-другому. Говорят иначе. Перевести это невозможно. И дело не в словах. Смысл понять как раз можно. А мышление? Нет, делать только свое. Свое. А где оно? Да у меня в сердце, в душе, в крови, в жилах!

Я приехала домой, и через полгода вы, уважаемые зрители, увидели программу «Песни войны». К тому времени я уже пела и говорила своим собственным голосом. Писала своей собственной рукой. Не думала о том, чем бы всех поразить, застать врасплох, быть у всех на устах, устроить пыль столбом. Нет. А главное, к тому времени я уже научилась проигрывать, оставаясь в абсолютном меньшинстве. А это уже кое-что. Уже шла своим собственным путем.

Я вроде как прозрела. И увидела, что мой внутренний мир так долго был забронирован всякими внешними эксцентрическими штучками. Смена причесок, цвета волос, еженедельная смена «имиджей». Привет… Неинтересно. Пройденный этап. Только в роли. Только если играю другого человека. И вообще, какое же это несчастье, если жаждешь быть

кем-либо другим, чем тем, кто ты есть на самом деле. Жизнь меня все же научила уходить от людей, которые изображают из себя тех, кем они на самом деле не являются. И все же ошибаюсь. Правда, реже.

Через два года я спела «Песни любви». Их почему-то в эфире переименовали в «Любимые песни». А это — совсем неточно. Четыре этапа «Любви». Девушка мечтает о любви. Расцвет любви, когда Она пришла! И женщина закружилась в танце, в мечтах. Покружилась, повеселилась, а потом села да призадумалась. Когда любовь в разгаре, когда женщина расцветает, ей кажется, что все вокруг счастливы, что все замечательно. Все легко, все прекрасно.

А как было у моих родителей? Что пели, как танцевали, когда они так любили друг друга? Что было в тридцатых годах? Ведь в этой программе наши старые песни. В программе песни тридцатых, сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых и несколько восьмидесятых. Да, именно, «Старые песни о главном». А что главное? Конечно любовь. Лучше с большой буквы — Любовь. Потому мною и было задумано название «Песни любви».

В том эпизоде, где песни тридцатых-сороковых, на мне было белое платье с черными пуговицами. Точно такое было у мамы в начале пятидесятых. Боже мой, как папа был возмущен этими большими черными пуговицами: «На белум платтике отакие черные агромадины. Немедленно зрезать все до единой пуговки».

И мама со слезами подчинилась и срезала. Эту сцену с белым платьем с черными пуговицами я перевела в монолог героини в фильме «Аплодисменты».

Ну и конечно, четвертый этап: «Каждой пылкой любви наступает конец». «Ето як закон».

«Я оглянусь — нет тебя.
Ночью проснусь — нет тебя.
Время сводит мосты над Невой,
но приходишь не ты.
А белая ночь без тебя…»

Я люблю эту программу. В ней мне знакомо всё — и юность, и мечты, и надежды, и любовь, и горе, и слезы, и разочарования, и опять жизнь. Жизнь… Жизнь разная… Очень разная.

А что же музыкального в кино? Первая картина? Да. Удача. Большая удача. Вторая — «Девушка с гитарой». Нет. Не получилось. Ни с сюжетом. Ни с музыкой. Ни с героиней, то есть со мной. Неудача. «Роман и Франческа»? И музыка прекрасная, и

песни. А вот налет самодеятельного сценария, наивнейшей сказки есть. На фоне известного во всем мире Одесского оперного театра поставили во весь рост памятник Данте Алигьери. И это Италия! А я тогда так была увлечена ролью Франчески, музыкой. Я еще ничего не понимала. Мне все нравилось.

В Одессе я была впервые. Я еще была во многом девушкой с Клочковской улицы любимого города Харькова. Девушка из Харькова, еще не знающая себя, не ведающая правил, принятых в мире кино, светской московской жизни, не обладающая прочной культурой, но ох как жаждущая быть! Быть актрисой!

Ничего. Мне потом в Москве все хорошо объяснили про мою Франческу в статьях. После них уже никогда не хотелось стать итальянкой. Да я тогда и выбыла «из игры» очень надолго. Что делать? Жизнь открывалась передо мной во всем своем ошеломляющем разнообразии. Необстрелянная, я страстно бросалась во всякие наивные и опасные сюжеты.

Шестидесятые годы. Годы «оттепели». Все оттаивали. У меня же в шестидесятые был самый холодный период. Я уже оттаяла в середине пятидесятых и в самом начале шестидесятых. Даже прекрасный фильм Владимира Венгерова «Рабочий поселок» придавили. «Оттепель» уже «свертывалась». И мной интересовались только «на просторах Родины чудесной». Но это такое неоценимое «только». О! Те люди в залах и зальчиках, на стадионах и в кинотеатрах давали мне так много! Их смелость, достоинство и сила, с какими они просто и естественно переживали свои сложности и неурядицы, служили мне мощнейшим источником вдохновения, сил, энергии и веры в свои силы. Потому я и обращаюсь все время к вам, уважаемые, дорогие зрители.

А в Москве, дома, у меня всегда была музыка. С ней в бесконечные свободные дни не расставалась ни на час. Рахманинов, Мусоргский, Глинка, Эрл Гарднер, Питерсон, «Франческо да Римини», «Ромео и Джульетта», Кит Джарет, Ахмат Джамал, Билл Эванс. На последних двух, джазовых пианистах, я и «засела».

Иногда импровизации Билла Эванса рождали в моей душе мечту о счастье вопреки всему — безработице, неурядицам в личной жизни. Он играл, а я думала, что всё еще впереди. Парадоксально. Но так было. Жаль, что я не могу сказать этого ему. В Эвансе мне нравилось все! Построение аккордов. А главное — мысль!

Вроде импровизация, но она совсем не случайна. Есть стержень. А на него уже накручивается, завивается что-то новое и новое. Как плющ, который покрывает ковром дом, оставляя свет в

окнах. Со временем так я строила и роль. Если нет костяка, скелета, то и импровизация не идет. Танцевать легко на твердом полу. Тогда ты можешь шататься и кружиться, как тебе вздумается, в любую сторону.

А зал филармонии! А «Весна священная» с любимым Евгением Светлановым! То была музыка не красивая, а властная, полная бурной динамики. Я смотрела на профиль Светланова. В нем ощущалась воля мощного человека. Как это меня укрепляло, спасало в те мои холодные годы всеобщей «оттепели».

А в семидесятые все изменилось. И в политике, и в экономике. Следовательно, и в культуре. В начале семидесятых обо мне вспомнили. И я начала играть все, что мне предлагали. Снималась и «пробовалась» у всех режиссеров, которые еще помнили тот мой давний успех. А зрители все еще спрашивали и интересовались: куда же она так внезапно и надолго запропастилась?

Снялась в небольших музыкальных ролях, то есть в ролях, где были музыкальные номера или песенки. Это «Табачный капитан», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки». Спела в роли актрисы Юлии Джули в фильме «Тень». И много песенок в телепрограммах-однодневках. Подыграла и подпела в телевизионных «Бенефисах» Сергея Мартинсона, Ларисы Голубкиной. Наконец, сыграла в своем «Бенефисе». Спела «Песни войны», «Любимые песни». Сыграла актрису в музыкальном фильме «Рецепт ее молодости». Последние роли с музыкой — «Аплодисменты» и «Моя морячка».

Но вот что интересно теперь, когда прошло время. Так много названий, а настоящей, полноценной картины, где бы в «десятку» попало все: и музыка, и тексты, и сюжет, и режиссура, и актерские работы, и оператор, и монтаж, и оригинальный звукоряд всего фильма — нет. Такого фильма, кроме того, первого, про карнавальную ночь, не было. Везде что-то сильно хромало или отсутствовало. Замечательный сюжет, но нет музыки. Или заумные тексты, которые понятны десятку людей. А в залы приходят тысячи. Да что тут разбираться. Не было у меня в кино полноценной музыкальной роли.

Да, в стране у нас, уже в мою бытность, «Карнавальная ночь» явилась первой ласточкой после знаменитых александровских фильмов с Любовью Орловой. Вот эта одна карнавальная ласточка и летала столько лет в полном одиночестве. Иногда фильм ерундовый, а песня поется сама по себе. И фильма никто не помнит. Да, очень много у меня в жизни случилось музыкальных «плевков в вечность». Это замечательно точное определение гениальной Фаины Раневской. Сыграть в плохом

фильме — это все равно что плюнуть в вечность.

Потому и подходят зрители, теперь уже всех возрастов, с восхищением от той девушки с тонкой талией из «Карнавальной ночи». Жестоко так про себя. Но это факт. А факт — упрямая вещь. Это точно.

Но сколько драматических ролей! В роли я не пою, но без внутреннего лейтмотива, который звучит рядом с текстом, нет ни одной роли. Как нет ни одной роли, где бы на тот момент я не пользовалась иногда даже жуткими духами.

«Старые стены» — лейтмотив «Фанни Валентайн». Духи — «Белая сирень».

«Сибириада» — лейтмотив «Утомленное солнце». Духи — «Шипр», мужские духи. Ей, героине, они нравятся. Она курсирует от Сочи до Салехарда. Вокруг одни мужчины. Пахнет «Шипром», она привыкла. Я их перемежала с «Красной Москвой».

«Идеальный муж» — лейтмотив вальс Била Эванса. Духи — «Мадам Роша».

И так каждая роль. Разбираю героиню от музыкальной темы до колготок, чулок, резинок, крючков, кнопок и «молний». Наверное, потому со мной и непросто работать. Гримеров было десятки. «Моих» — лишь двое. Художников по костюму — десятки. «Моих» — три человека. А режиссеры… Парадокс, но почти ни один из режиссеров, которые снимали музыкальные картины, в музыке тонко не разбирался, поручая все или композитору, или музыкальному редактору, или опытному звукорежиссеру. А режиссеры, которые снимали драматические картины, мучительно искали, выискивали роскошную закадровую музыку.

Любимая моя закадровая музыка в фильме Андрона Кончаловского «Дворянское гнездо», композитор Вячеслав Овчинников! Я ее записала на магнитофон с телевизора.

Какая же это радость! Счастье! Очень, очень все интересно и любопытно. Никто, никто не хотел переходить в этот скользкий, неблагодарный музыкальный жанр. Я сама столько лет ходила во второсортных музыкальных «актрисенках».

Что она может? «Ты все пела — это дело, так пойди же попляши». А сейчас все поют, все пляшут. Э, это жанр, в котором должно быть что-то от Бога. А так… Никогда никакие трудоспособность и усердие не заменят таланта. Существует Нечто, эдакая изюминка звезды. Вышел на сцену — все притихли. Все поняли — да, в этом молодом существе сидит загадка, тайна. Без тайны нет интересного настоящего актера, танцовщика. Привет всем, у кого есть эта тайна, загадка, изюминка Звезды.

А у меня время перестройки. Про это вы уже читали в третьей

главе. К главной своей музыкальной работе я уже потихоньку подбираюсь. О ней в следующей главе.

Глава пятнадцатая. Всему начало — случай

В одно прекрасное июньское утро я проснулась с острым ощущением, что что-то обязательно произойдет. Что же произойдет? Из какой области? Из области бытия или чего-то душевного? Как-то, когда моя Маша была маленькой, у нее спросили: «Что тебе подарить на день рождения?» — «Ну, что-нибудь из еды или из одежды».

Так что же произойдет? Не буду гадать. Только бы не растерять этого ощущения. Утренний туалет, завтрак, новости ТВ. Какие мои основные пункты беспокойств и волнений на тот июльский день 1997 года? Только бы не было голода и пустых прилавков. Только бы демократия не зашла еще дальше за пределы. Только бы не было катастроф и жертв. Про заказные убийства смотреть тяжело. На весь день настроение пропадет. В новостях «взрывов» вроде нет. Что читать? В общих чертах освоила ранее запрещенную литературу. А что-то уже давно ничего не читается. Газетные сплетни и скандалы заполонили всех и вся. Детективы никогда не любила. Но почему вокруг: и на телевидении, и на прилавках, и в электричках — у всех детективы?

Читаю Агату Кристи. С ней мозги не устают. Удивляюсь, как такие хитросплетения приходят на ум милой женщине. И перелетаю то в Египет, с его тайнами древних культур, то на загадочный Восток, то в отель «Бертрам». И вдруг («вдруг»!), маленький рассказик «Случай из жизни женщины средних лет». Ничего детективного. Даже как будто не она его написала. «Вы удивитесь, если узнаете, как мало на земле счастливых людей. Что? Вас это не интересует? Но это интересует меня. Я долго работал статистиком и решил использовать этот опыт в сфере человеческих судеб. Я открыл это Бюро счастья. Да! Здесь делают человека счастливым! Несчастье — это болезнь. Такая же, как грипп или ангина. И как при любой болезни, главное — установить ее причину, уверяю вас. А установив причину болезни, ее, конечно, можно устранить, то есть сделать несчастного человека счастливым».

Это говорит шеф Бюро счастья женщине, которая пришла со своей горестью. Ее муж увлекся молодой секретаршей. А ведь они «выбились в люди» не сразу. Она и экономила, и справно вела хозяйство. А когда «стали людьми» — она уже и не нужна.

«Я сделаю вас счастливой», - заверил шеф. Но за счастье

нужно платить. Шеф просит у нее за работу пять тысяч фунтов. Это дорого. Женщина уходит. «Она вернется! Поверьте бывшему статистику!» И конечно, она возвращается. С деньгами. А что делать с ними? «У гробу карманов нима». Как говорится, «сижу в президиуме, а счастья нет».

Шеф бюро знакомит эту женщину с молодым человеком. Этот молодой мужчина так нежно и умело, — ведь это его «хлеб», - за ней ухаживал, что и сам не заметил, как увлекся ею всерьез. И женщина преобразилась. И муж заново влюбился в свою жену. Забыл о своем увлечении. Только жена! Прости-прости! Прости.

Собственно, остальное уже не важно. Здесь, в этом небольшом рассказе, как в анекдоте, сжаты все жизненные любовные переплетения. То он, то она, то оба. То кто-то подлил яду. То кто-то разбил: общество, коллектив, партком, местком. Варианты разные. Но из одной и той же оперы — «про Любовь». Надо почитать об Агате Кристи. Что у нее было с «любовью»?

Интересно, что еще ребенком она обладала живым, ярким воображением. Любила музыку, пела и играла. И придумывала себе подруг, которые в ее жизни не встречались. Ее личная жизнь сложилась печально. Муж ей объявил, что у него есть другая женщина. Тяжелая депрессия. Исчезновение писательницы, ставшей к тому времени известной всей Англии. Полиция, собаки-ищейки — никаких результатов.

И вдруг она нашлась. Она поселилась в отеле под вымышленной фамилией. Читала газеты, совершала прогулки, посещала танцевальные вечера. Происшедшее с ней объясняли краткой потерей памяти. Душевная драма, пережитая ею, часто звучит в ее произведениях.

От шока Кристи потеряла память. Стоп. Что-то подобное я слышала. Но с кем это было? На съемках кто-то из артистов старшего поколения рассказывал об Алма-Ате. Туда перебрались очень многие кинематографисты. И там, в эвакуации, во время войны снимали фильмы. Да-да, как-то в семидесятые годы я пробовалась на одну из ролей у одного очень известного режиссера. И все думала, что же с ним связано такое, чего я долго не могла себе представить. Его жена, Янина Жеймо, наша неповторимая Золушка, добиралась в Алма-Ату целый месяц… Поездами, под обстрелами, под бомбежками.

Все уже думали, что ее нет в живых. А она добралась. Ну а у ее мужа уже другая жена. От сильного шока она забыла буквы. Не могла читать. Пришлось жизнь начинать заново. С алфавита.

На пробе я невольно думала, как точно у Марины Цветаевой: «С язвою бессмертной совести как справляетесь, бедняк?» Предательство, обман. И вслед все те же депрессии, потрясения.

Как оправиться? Где ответ? Какой? Ответ, как ни крути, один — унизительный, горестный.

Какое счастье, что я читаю и не потеряла память. Память у меня еще сильнее обострилась. Иногда забываю фамилии. Значит, они не так нужны. Нужные — я помню все. Пока. Последнее слово одно из самых важных слов в жизни. Если после всех житейских и профессиональных восторгов это слово тихонько добавляешь, значит, приземление будет не таким жестким.

«Сережа, почитай рассказ. Что-то в нем есть». Я читаю медленно. Он же читает, как машина, 200 км/час. Через несколько минут он сказал: «Знаешь, ты права, здесь лежит идея мюзикла». — «Ты думаешь?» — «Я думаю, это мог бы сделать Александр Бородянский. Завтра с ним созвонюсь». Вот такой, до смешного простой и легкий диалог и состоялся в то прекрасное июньское утро.

Мы идиоты. Даже не представляли, за какой невероятный труд беремся. Не знали, что это за айсберг. А откуда было знать? Разве есть каноны, законы или хотя бы намеки, как и с чего начинать? Забегая вперед, я признаюсь, что иногда этот музыкальный «труд» вызывал отвращение, желание провалиться сквозь землю, исчезнуть, вовсе отказаться от него.

«Я уже не хочу. Уже не могу. Ничего не знаю. Извините. Отпустите».

Как трудно ждать вдохновения и озарения. Ждешь этого озарения, этого невысказываемого «золотого» прорыва! За ним ведь что-то откроется. Но когда этот прорыв пожалует?

Драматургу Сергей Михайлович дозвонился. Сережу называю так, потому что его, Сережи, самого немало, в смысле килограммов. Ума много и деспотические данные хорошие. И диктаторские данные в порядке. Короче, наверное, он первый близкий мне человек, которому я подчиняюсь. Нечасто. Но бывает.

Драматург Александр Бородянский. Много сценариев в кино. Но к нему нас бросило то, что он автор музыкальных фильмов: «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх». Александр Эммануилович интересный человек. Говорит мало, но очень внимательно слушает. Для него хочется рассказывать и проигрывать что-то из жизни, порой совсем-совсем отдаленное от нашей темы. В нем есть уверенность и стойкость, что особенно чувствовалось в минуты сомнений и неуверенности. Как-то само собой все взоры обращались к нему. А неактивная разговорчивость была совсем не от недостатка дружелюбия. Наоборот. Он замечательно смеялся. И от этого опять рождались мысли, шутки, эпизоды.

И в один прекрасный день он сказал: «Первый акт готов».

Я же с самого начала знала, что стихи, тексты арий, дуэтов и т. д. будет писать Юрий Ряшенцев. Я работала с ним в фильме «Рецепт ее молодости». Он слышит музыку. Но в нашей работе нужно было искать нечто отличное от того, с чем мы сталкивались в «Рецепте». Что такое вообще в России музыкальный спектакль? Наверное, все же многими любимая оперетта. Мюзикл у американцев. Оперетта у нас.

Поговорили: «Ты меня любишь?» — «Я люблю тебя!» — и подкрепили эту же тему дуэтом: «Если мы вместе — сердце на месте, вдвое день светлей…»

А как добиться, чтобы ария, или дуэт, или квинтет, где собраны все действующие лица, были бы продолжением сюжета? Чтобы в музыкальных номерах продолжалось действие?

Мы начинали с чистого листа. Нет ни традиций, ни индустрии этого жанра. На Бродвее одни мюзиклы. Намного реже драматические спектакли. И вообще, приехать в Америку и не побывать на Бродвее, не посмотреть мюзикл?.. Это считай, что ты в Америке и не был. Как раньше приехать в Москву и не побывать во МХАТе. А позже — «Таганка», «Современник», «Ленком». Я в Америке встречала людей очень далеких от музыки. А они, борясь со сном, сидели на этих мюзиклах, чтобы потом сказать: «Конечно, видел, ну а как же! Прелестный спектакль! Такая музыка!»

Музыка. Кто будет композитором?

Поначалу взялся поставить спектакль Леонид Трушкин. Он очень музыкален. Будучи артистом, сам много пел с гитарой, выступая в концертах со своим давним другом Константином Райкиным. Насчет музыки он предложил поговорить с Раймондом Паулсом. Но у Паулса не было полутора лет на то, чтобы отдать их такой сложной работе. И он оказался прав. Ровно полтора года жизни до самой премьеры заняла работа над мюзиклом. Музыку к «Бюро счастья» писал петербуржец, композитор Виктор Лебедев. Впервые я познакомилась с ним в фильме «Небесные ласточки». Это был своеобразный парафраз на старую оперетту «Мадемуазель Нитуш». В Америке, стране мюзиклов, сколько таких двойников. «Miss Saigon» — это сюжет оперы «Чио-Чио-сан». А мюзикл «Nine» сделан по фильму Федерико Феллини «Сладкая жизнь».

Расскажу о нем.

Мужчина и много-много женщин. Вся сцена — шахматная доска. Мужчина в центре. Вокруг него, на черных квадратиках, разные-разные, всех возрастов — дамы, дамочки, девушки и девицы. Музыка — пусто. Актер — пусто. Но костюмы!.. В первом

акте — все одеты в розовое, во втором — в черное, а в третьем — в бледно-зеленое. А фасоны! Вот уж где разгул фантазии! Роскошно! Две замечательные актрисы. Одна — звезда из Франции. Мы потом с ней сфотографировались. Вторая… Я видела много мюзиклов на Бродвее. Она — лучшая из всех. Жаль, что не снималась в кино. Ее знают нью-йоркские театралы. Одета она была в черный, кружевной, обтягивающий все части ее красивой фигуры, комбинезон с длинными рукавами и высоким воротником-стойкой. И только яркие рыжие кудри. Свою главную арию она спела стоя в позе «березка». Ария длинная, смешная. Я многого не поняла, но по тому, как смеялись в зале, пела она что-то очень остроумное. Вот когда надо знать язык со всеми сленгами и прибаутками. Когда она вернулась в нормальное положение, зал изнемогал от удовольствия и благодарности за доставленную радость. Да, не жаль семидесяти пяти долларов за билет, хоть и не лучшие места.

Композитор Виктор Михайлович Лебедев — автор музыки ко многим фильмам и спектаклям. Зрителям он более всего известен по мюзиклу «Небесные ласточки», «Гардемарины». Но главное — у него всегда замечательные мелодии. Человек он преинтересный. Была на радио «Эхо Москвы» такая передача — «Как денди лондонский одет». Меня спросили: «Что такое, по-вашему, денди?» Если из западных звезд — то это Дэвид Боуи. По тому, что на нем надето, я могу определить тенденцию в моде на завтра. Ну а если говорить о «нашем» денди, то это Артемий Троицкий. А про себя подумала: и Виктор Лебедев. Удивительно, что такой персонаж с артистичной внешностью — и не снимался. Хотя нет — снимался. Снимался со мной в «Небесных ласточках». Он в небольшом эпизоде сидит за роялем. А я пою песенку Бабетты.

Посадили его к роялю, потому что, кроме него, никого нельзя было посадить. Никто рядом не выдерживал конкуренции. Картина телевизионная. Недорогая. Денег на костюмы мало. А Лебедев пришел на съемку просто поприсутствовать. И еще потому, что любит балет. Не балет — а балерин. Все его жены — балетные. Все как «флейты водосточных труб», одни хрящики. Он из тех редких мужчин, которые действительно не лукавят, говоря, что любят только изящных. Лебедев пришел на съемку в таком костюме, что все сразу оживились и воскликнули: «Вот он!» На композиторе был темно-синий бархатный пиджак, который у нас в моду войдет только через год. Синяя рубашка, синий галстук. Но от разности фактур, от чуть поблескивающего галстука… Нет, не продолжаю. Нет слов. Галстук заменили бабочкой, и «денди» сел к роялю. В «Ласточках» интересная музыка. Особая и очень

свежая для середины семидесятых годов. И конечно, мелодии. Я знала несколько его более ранних музыкальных тем и предложила использовать их у нас в «Бюро счастья». Они у нас звучат.

Один наш друг никак не может влюбиться. Он говорит, что ему очень хочется красивой большой любви. Но все не то, все не то. Слушает увертюру к «Бюро» на ночь. И когда слушает эту главную музыкальную тему спектакля, он верит, что Она обязательно ему встретится.

Зрители, которые музыкально тонко внутри устроены, этих мелодий не могут не оценить. Есть такие зрители, которые смотрят наш спектакль по многу раз. Но я опять забегаю вперед.

Прошло несколько месяцев работы над спектаклем. Дело двигалось с большим скрипом. А в один день все обрушилось.

Я чувствовала, что Трушкина многое не устраивало — мало идей, не те тексты, не острая драматургия. Я его напрямую спросила: «Может, ты не хочешь, не будешь это делать? Да или нет? И всё». Он ответил: «Конечно, буду».

А через время — вышел из игры. И это хорошо. Нет смысла работать без запала. Мне же играть в его театре и «Недосягаемую», и «Чествование», и «Позу эмигранта». Как смотреть в глаза? А когда все ясно, просто и нормально — ну, нет так нет. «Што бог ни делаить…»

С его уходом повисла мрачная туча. Пошел обложной дождь. Паруса надо спускать. Вся группа притихла. И думаю, что у каждого мелькнула мысль: «Бери шинель, пошли домой». Я тоже спотыкалась. И не находила уступов, чтобы карабкаться дальше. И только один человек держался, верил и заставил всех поднять головы. Сергей Михайлович Сенин. Я не знаю, чего ему это стоило. Я не знаю, скольких шрамов на сердце. Интересно, что он сходится с людьми довольно легко. Но редко-редко кого-то допускает близко к себе. В нем глубоко скрывается никому не открывающееся «я». Его достоинства и недостатки здорово дополняют друг друга. Он может быть резким и даже грубым, но никогда не изменит своему кодексу чести. «За честь, за дружбу» — это тоже его тост. Трудности он ни на кого не перекладывает. Не жалуется. Сам в себе все перемалывает.

Тупик. Как выходить из этого тупика? В моей жизни такой тупик впервые. Это не роль, когда приходишь в картину, а группа уже вся собрана и подготовительный этап завершен. Тут же — целина. Впервые я присутствовала с самого рождения первого слова, ноты, фразы. Это такая роль, в которой я только интуицией что-то нащупывала. В кино я режиссеров знала. Но поставить театральный, а тем более музыкальный спектакль умеет не

каждый кинорежиссер. Это все равно что сняться актеру в клипе, где профиль, пятка, крыша, мотоцикл, зубы, корабль, небоскребы эффектно монтируются подряд. А звучит простая песенка про цветочек полевой. А сыграть большую драматическую сцену, да одним куском, чтобы в ней и поплакать, и посмеяться, да еще и попеть, а может, даже и затанцевать, — это совершенно разные профессии. Может быть, сравнение не точное, но явное и простое.

С взаимопониманием я работала в Театре сатиры с режиссером Андреем Житинкиным. В один из тех грустных вечеров был спектакль «Поле битвы после победы принадлежит мародерам». Сергей Михайлович пошел на спектакль со мной. Сколько раз он смотрел спектакль, когда выпускали. Но вот уже год его не видел. Спектакль стал другим. Он оброс «нами». А мы растворились в персонажах Радзинского. Спектакль прошел, впрочем, как и всегда, с большим успехом. «Люся, давай позвоним Андрею Житинкину, все скажем, как есть».

Позвонили. На следующий день встретились. Я спела Андрею то, что уже в сыром виде было готово. Мне нравятся люди, которые сразу взвешивают все: и время, и занятость, и интерес к работе — и говорят «да». Или «нет». Может быть, потому, что я сама так устроена. Он сказал, если я так увлечена, если у меня такой азарт к этому материалу, то он за это дело, считайте, уже взялся. Я этого никогда не забуду. Уметь быть благодарным — неоценимое качество. Я его превыше всего теперь ценю в людях. Я Андрею очень благодарна. Понимаю, что как бы сама себе делаю комплимент, но это так. Я ему благодарна. Очень. Только жаль, что он выпускал параллельно еще другие спектакли и мало времени уделял нам. Но из тупика вырвались.

И дело пошло! И наша группа оживилась. И паруса развернулись в нужном направлении, набирая и набирая скорость.

Дошли до аранжировок. Приехал из Петербурга Анатолий Кальварский. Думаю, что в стране он один из немногих штучных людей… И штук-то таких — две или три. Не больше. Уже давно и исполнители, и театральные спектакли обходятся записями маленьких электромузыкальных составов. Больших джазовых оркестров в стране «по штукам». А симфоджазовых больших составов, кажется, вообще нет. А уметь писать аранжировки на такие составы — это сегодня редкость. Дефицит. На вес золота.

Кальварский сел за рояль. Мы с ним спели и записали весь первый акт, со всеми нюансами, которые надо было отразить в оркестре. Пианист он блестящий. Через две недели первый акт был готов. Переиграла я все роли. Каждую примеряли на актера — самого подходящего на такую-то роль.

Ночью мы не спали. Обговаривали, разыгрывали, перезванивались, анализировали — где, почему и как появляется именно та или иная музыкальная тема. Все были друг с другом на телефоне. Петербург — Москва. Москва — Петербург. И опять. И опять.

Пришло время записать на «Мосфильме» всю оркестровую фонограмму. Опыт показал, что, когда исполняешь весь спектакль под аккомпанемент одного рояля, где только несколько человек слышат будущее оркестровое звучание, — это очень неблагодарное и непродуктивное дело.

Актеры, прослушав, не совсем понимали, куда все выплывет. Одним интересно, но это же надо много репетировать, и петь, и танцевать. Нет времени. Другим — надо ездить на гастроли. У них музыканты, нужно зарабатывать деньги. Третьи тянули — то да, то нет. Это, я вам скажу, преинтересно. Четвертые когда-то мечтали попасть в музыкальную работу, а сейчас занялись более реальным делом, которое приносит не только успех. Надо было искать людей, которых интересует эксперимент. Надо было искать актеров, которые могут идти на красный свет. Которые могут рисковать. Спектакль не проверен ни в Москве, ни в Петербурге. Ни на родине, ни за рубежом.

Лично мной все более и теснее овладевала уже совсем было заглохшая мечта сыграть драматическую роль в мюзикле. Неужели нельзя сыграть драматическую роль, пересказанную языком музыки, яркой аранжировкой. Неужели невозможно? Неинтересно играть диву в перьях и блестках. Это уже блестяще сыграли другие там, на родине жанра. А мои небольшие блесточки с перышками хороши на фотографиях и в далеко не блестящих ролях. «Хэлло, Долли»? Весь мир распевает эту музыку. Но в русском варианте я же буду петь: «Привет, парни! Я пришла, парни!»

Ну?! Нет. Хочу сыграть обыкновенную женщину, у которой блестки в душе. Которая бы душевно расцвела так, что, будучи в скромной одежде, показалась бы зрителю звездой, от которой идут лучи, блестки и нерастраченная нежность.

Ах, эти мечты. Ах, эти видения. Ах, это «хотелось». По-моему, я спела весь спектакль, проиграла все роли раз сто. Пела всем: и актерам, и музыкантам, и знакомым, и спонсорам, и друзьям московским, и друзьям, приехавшим в Москву из дальних стран. Всем! И каждый раз я открывала в персонажах новое и новое. И все более четко на первый план выходила фигура Шефа Бюро. Это он «крутит» обстоятельствами. Он закручивает сюжет. Сначала хотелось, чтобы он хорошо пел и был артистичным. Но по тому, как выписывались роли, как менялась, переставлялась,

разрасталась важность того или иного персонажа, амплитуда возможностей главного героя требовала от актера так многого… Что просто такого актера, как выяснялось, и нет. Никто эту роль не «тянул». Одно хорошо. Другое плохо. Одно есть. Другого нет. Точно как у Гоголя в «Женитьбе»: «Вот если бы нос Ивана Ивановича да к глазам Семена Семеновича…»

Всему начало случай.

Видит Бог, об этом артисте поначалу и не думали. Это только видел Бог. На то Он и Бог. А мы, смертные… Но об этом артисте в самом конце.

С самого начала работы над спектаклем очень хотелось, чтобы роль мужа героини сыграл Шура Ширвиндт. Сколько же мы с ним в жизни наиграли! И в кино, и в театре. Памятуя, как с ходу, без раздумий я пошла в его бенефисный спектакль «Поле битвы после победы принадлежит мародерам», я была на все сто процентов уверена, что он поступит так же. Дурацкое это мое свойство все переносить на себя. Может быть, это недостаток воспитания? Наверное. Но моя интуиция меня подвела. Шура долго созревал. То большая занятость, то сырой текст арий, то будущие планы, то еще что-то. А роль и музыкальная характерность, определенная вокальная тиссетура придумывались для него.

Его «отход» для всех был большим огорчением. Ничего. Я задавила в себе это огорчение. И работала с ним в Театре сатиры как ни в чем не бывало. Он такой. А я такая. Значит, так тому и быть. Буду считать, что это нормально.

Надо сказать, что актеров чуть старше среднего и старшего поколения среди мужчин, которые могли бы петь, танцевать и быть драматическими актерами, почти нет. Они были. Но многие ушли от нас. Навсегда…

Что делать? Нужен актер, который заново освоит это жанр.

Я снималась в двух фильмах с Александром Михайловым. В фильме «Нелюдь» он остро сыграл отрицательную роль интеллигента-ненавистника прошлого режима, ненавидящего свою партийную жену и даже сына. А ведь была когда-то большая любовь. Сложная была у него роль, очень сложная. Еще сыграли в знаменитых «Голубях». Саша — сибиряк. Героя сыграл объемно, смешно и трогательно, да еще все время с «плюсом», которого требовал жанр картины. Держать в течение всей картины этот «плюс» могут далеко не все артисты.

И опять я пою весь мюзикл. Саша сидит напротив. Внимательно слушает.

«И тут я пою? Ну нет, это я… не мое… да нет. И здесь тоже я? Да вы что, ребята?»

А ведь он уже начал до нашей встречи петь на сцене. А вот «синкопчики», «зашагивания», «отставания» — вот это надо было осваивать. Учил он свои партии с веселым азартом. Споет «по-новому», посмеется — вот черт, что придумали, — и опять поет.

Михайлов артист особенный. К роли он идет тихо, как бы подкрадывается, как неумейка, незнайка. Но те, кто с ним работал, внимательно прислушиваются, что там у него актерские жилки внутри делают, куда выплывут. И в один прекрасный день на репетиции выходит Саша да не Саша. И говорит, и двигается Саша да не Саша. Всё. Он схватил роль за рога, подчинил ее себе. И она предоставила ему все свои прелести.

Когда Саша бывал в дальних гастролях, в роль мужа героини стремглав влетел актер театра «Современник» Борис Дьяченко. Это он за десять дней до премьеры «Недосягаемой» с ходу с блеском сыграл главную роль. Я знала, что он музыкален. Встретились. Еще раз я спела весь мюзикл. Партии свои он разучил быстро. Несколько танцевальных репетиций — и на сцену. Это другой «мой муж». Но суть та же. Обаятельный мерзавец. Интересно, что ни одному актеру не нужно было этого объяснять. Ну никто не задал вопрос: «А почему?» Интересно, все очень интересно.

Роли милой девушки у Агаты Кристи в рассказе не было. Было только упоминание, что у мужа героини таковая есть. То есть «по-фоменковски»: «Каждый мужчина имеет право налево». В спектакле Бородянский, Ряшенцев и Лебедев ее «оживили». Но я точно знала, чего бы мне не хотелось. Мне не хотелось, чтобы между двумя женщинами был банальный скандал, неприязнь. Хотелось, чтобы они друг другу понравились. Моя героиня понимает, что ее муж обманывает эту девушку, как он всю жизнь обманывал и ее саму. Ведь она его прекрасно знает: «Лживость фразы, лживость мысли, лживость жеста». А девушка и подумать не может, что эта милая женщина и есть «жена». Ведь муж ей наверняка говорил, что его жена нудная, облезлая грымза. Да я, пожалуй, такой и выгляжу в первом появлении. Значит, нужно искать актрису не вульгарную. А приятную и добрую. Может быть, чем-то даже напоминающую героиню в молодости.

И мы обратились к Алене Свиридовой. Она прекрасно чувствует джаз. У нее интересное и необычное лицо — узкое, удлиненное. Она стильная. И лицо, и фигура индивидуальны. Она часто появлялась на телевидении и здорово выигрывала в сравнении с другими молодыми поп-звездами. Я опять пела весь спектакль. И было ясно, что ей «ясно» все. Когда она появилась на «Мосфильме», все мужчины оживились. А это в роли, да и в жизни немаловажно. И человеком она оказалась добрым и приятным.

Мы попали в точку. Спела она свои арии легко, профессионально. Певица есть певица. А как будет играть драматические сцены? Есть режиссер. А рядом и мы, коллеги. Доброжелательные. И это главное, но об этом впереди.

Когда Алена была в дальних гастролях, в ее роль вошла драматическая актриса Инна Агеева. Актриса профессиональная, умная и многое умеющая. Она пришла из театра «Летучая мышь», где у Григория Гурвича, царство ему небесное, играла музыкальные роли. Вошла и быстро, и легко. И тут же прошла трагическое испытание. На одном из ее первых спектаклей — чего никогда не бывало! — прямо посередине ее арии «вырубился» микрофон. Зал на две тысячи мест. Оркестр пятьдесят человек. Звук живой. И актриса, не моргнув глазом, допела свою партию без микрофона. Зал взорвался! Такое мужество нельзя было не отметить. У нас же, за кулисами, случились микроинфаркты. Но публика в зале, и мы с перебоями в сердцах и душах, но с гордостью за партнершу заканчивали спектакль.

Итак, молодой герой мюзикла «Бюро счастья». Это он должен заставить героиню преобразиться и начать жить заново. Кто, откуда, где? Где взять молодого героя, чтобы с первым появлением в зале все женщины ахнули, а мужчины стали бы ревностно подсчитывать свои годы и пошевеливать своими мускулами. На сцену влетел молодой мужчина, с прямой спиной, породистой небольшой головой, с улыбкой…

Сделаем остановку. Улыбка… Эта его улыбка самого циничного и вредного растопит во что бы то ни стало. Гедиминас Таранда! Много ли мы слышали таких имен, сразу запоминающихся и заставляющих обратить на себя внимание. Гедиминас Таранда. Профессиональный танцовщик классического балета.

— Гедиминас, вы поете?

— Пробую, — ответил он и опять улыбнулся.

Ну, если человек так улыбается, он может все.

Извините, как всегда, немного перескочила. Итак, на сцену влетел молодой мужчина! Для меня «Имперский русский балет», возглавляемый Гедиминасом Тарандой, начинается с номера «Неоконченная встреча». У героя этого танца особая пластика, присущая мужчине, знающему себе цену, уверенного в том, что любую женщину он подчинит, поставит на колени, влюбит в себя обязательно.

Он движется как роскошный бездушный манекен, каждую секунду уверенный в том, что он прекрасен. К нему в объятия взлетает хрупкая и нежная девушка. И я вижу, что она ему интересна. И очень нужна. Нужна именно она. Но… Но! А что

«но»? Что «но», если она так страстно к нему летит? И неожиданно мне становится жаль этого одинокого, закрытого от всех маской циника и покорителя женских сердец. Что же у него в жизни было до нее? Очевидно, что-то было. Это точно. И я хочу, чтобы они остались вместе. Зал замирает. Всем хочется того же. Наверное, это и есть та самая эротика. Зал возбужден. Хочется любить! И точно.

Его движения становятся уже не такими точными и уверенными. Он ее нежно обнимает, прижимает к себе, незащищенную, чистую. Но внезапно по его телу проходит нервная волна чего-то прошлого, не забытого и… и он выпускает ее из рук. Свет погас. Конец номера. И только тут я отрезвляюсь и понимаю, что это был только балетный номер.

Как давно я не встречала такой чувственной балетной постановки. Балетмейстер Николай Андросов. Он блестяще поставил этот человеческий дивертисмент. Как он только прочувствовал в танцовщике драматического актера. Встретиться с этим балетмейстером моя мечта.

Наша первая танцевальная репетиция. Стою у входа в танцзал. Уже надела мягкую обувь. Уже готова. Но в зал не вхожу. Мысли разные. Вон как все порхают. Всем лет по двадцать. Люся, стоп! Куда я лезу? Танцем никогда не занималась. Разве то, что все проходят в театральных институтах. Так, двигаюсь, как бог на душу положит. Опомнись. Но все. Уже поздно. И вдруг как рассмеюсь. Вспомнила, как Ю.В. рассказывал анекдот. Приезжает русский народный хор на гастроли в Америку. Выходит переводчик и рассказывает публике содержание песни: «Сейчас вы услышите русскую народную песню. Одна пожилая леди обращается к своему супругу с просьбой. Она желает посмотреть Америку. На что ей супруг, пожилой джентльмен, отвечает: «С удовольствием, дорогая, но туда еще не проведена железная дорога». И хор исполняет русскую народную песню:

Говорит старуха деду:
«Я в Америку поеду!»
«Куда ты, старая…
Туда не ходят поезда!»

Нет, только представить себе: стоит звезда и навзрыд хохочет! Вокруг никого. Ненормальная? Безусловно. Когда я вспоминаю себя в тот момент первой репетиции, всегда покрываюсь холодным потом от стыда и неуверенности…

Мне было, было над чем посмеяться. Юмор не пропал. Это уже кое-что. «Она этого не сможет… перестаньте… ха-ха-ха». Ой,

наверное, это обо мне. Пора привыкнуть, но по душе резануло.

— Да прекрасно все она сможет, — голос Таранды. Точно. Про меня. Захожу. Иду на красный свет светофора. Когда на него не пойду, значит, меня больше нет. Да, опять воевать, доказывать. Зубы заскрежетали. Но вошла с улыбкой. А момент действительно был не из простых.

«Посмотрите номер», - обратилась ко мне репетитор. Таранда с тоненькой балеринкой показали то, что мне надо было освоить. Он ее «метелит» вокруг скамейки (это наша первая встреча) туда-сюда. Она то взлетает над его головой, то ее — об пол, не достигая, пола, конечно. Все же это надо рассчитать.

— Сможете? — спрашивает меня опять репетитор.

— Не знаю… вообще-то это очень красиво… Но так быстро.

Ритм действительно сумасшедший. А сама думаю, да ну его к черту! А то еще вот так красиво, в воздухе и умру. Ну как же мне не повезло с этим новым временем. Ну почему все так поздно?

— Тут все очень просто. Давайте разберем все шажками, по порядку, не спеша, — сказал Гедиминас. И опять улыбнулся.

Ну и разобрались.

«Спасибо, спасибо, — говорила ему я в душе. — Гедиминас, спасибо вам… за поддержку».

Ну а работу над его ариями, над нашими партиями я взяла на себя. По шажкам, не торопясь, учили, репетировали и пели столько, сколько ему было надо. Работать он умеет.

Когда Гедиминас опаздывал на репетицию, он врывался на сцену, ни с кем не поздоровавшись, падал на колени, улыбаясь своей магической улыбкой. И все. Всех обезоруживал. «Напувал».

Когда я на сцене близко-близко видела его лицо, его глаза, мне казалось, что я его знала очень-очень давно и очень-очень близко. К нашему расставанию по сюжету спектакля мне становилось страшно: неужели вот сейчас кончится действие, и мы расстанемся навсегда? Как же это несправедливо. К концу спектакля уже нет его улыбки.

Он заканчивает свою роль на грустной драматической ноте. Ни он, ни моя героиня еще не знают, как будут жить друг без друга. Но ту неделю счастья они никогда в жизни не забудут. Но театр театром, а жизнь есть жизнь. И когда Гедиминас был в дальних гастролях, в спектакле появилась еще одна звезда. Она светила с того самого знаменитого спектакля Романа Виктюка «Служанки», где в пьесе Жана Жене женские роли исполняли мужчины.

Сергей Виноградов. Мужское сложение, мужской красивый тембр голоса, уверенные движения, повадки красивого мужчины. Таких актеров-мужчин могу сосчитать на пальцах одной руки. А

он в «Служанках» играл роль Мадам. Я так хорошо запомнила его в той роли, что, когда увидела его в жизни, я растерялась. И точно как Кутузов в фильме Рязанова «Гусарская баллада», который присматривался к Шурочке, изображающей молодого гусара, я присматривалась к Сергею — ну как же можно было так изящно и тонко сыграть Мадам? А куда делись широкие плечи? А что он там сделал со своими сильными руками?

Здесь в спектакле в роли Макса он меня подбрасывает как пушинку. А как можно так изменить тембр голоса? Казалось бы, я — актриса, привыкшая ко всяким перевоплощениям, а тут — смотрела на него, как девушка, впервые приехавшая в столицу, да еще сразу попавшая на кинофестиваль.

Он очень загруженный артист. Но в актерской своей жизни, как я поняла, должен был попробовать себя в мюзикле. И он нашел время. Ему было все равно, что он во втором составе. Ему важно играть, играть, пробовать и выигрывать. Нашел совершенно новые краски в роли. Освоил музыкальный материал. Чувствует ритм во всех поворотах. Он здорово выручил спектакль и внес в него свое актерское и человеческое неповторимое «я».

А Сергей Зарубин! Наш красавец Зара! Играет пять ролей в спектакле. Играет с таким азартом, удовольствием, легко перевоплощаясь из девицы в мини на высоких каблуках в служащего банка и наповал экстравагантного солиста ночного клуба. Когда он на сцене, у меня всегда особый покой и удовольствие. Смотрю на него и думаю: спектакль идет «как надо».

Алексей Павлов! Тот самый MD&C Павлов. Он появлялся со своей гитарой в сцене «Ночной клуб», и его фанаты были счастливы.

Он появлялся. Почему же прошедшее время? Да потому, что пережил смерть. Полтора года боролся за жизнь. И уже никто и он сам не верил, что жизнь когда-нибудь вернет его на сцену.

«Я вернулся» — под таким названием Павлов выпустил новый компакт-диск.

Леша, мы счастливы. А я еще думаю о том, что после твоей болезни, с большим страхом в душе, первый шаг на сцену заставила тебя сделать я. Мы после долгого перерыва исполнили «Московские окна» — ты, Паша Хотин и я. Когда я садилась к тебе на колено и пела «Я как в годы прежние опять…» и должна была смотреть на тебя… Я не могла. Душили слезы. Я старалась еле-еле присесть на твое колено…

Ты был еще так слаб. Но ты «вернулся»!

Вот такая наша труппа. Еще пятьдесят человек оркестр во главе с дирижером Константином Кримцом. Оригинальный

человек. Артист. С первой минуты его появления, когда он шагает к своему дирижерскому пульту, зал уже в ожидании чего-то очень-очень нужного, что уберет серость и слякоть на улице и в душе. Его глаза горят, он тонко чувствует настрой актера. «Ас, ас. Ас, ас, ас, ас!» — и оркестр льется под темпераментными взмахами его рук.

Со своим балетом пришел в спектакль балетмейстер Александр Посвянский. Кто знает, каким в нашем российском мюзикле должен быть балет? Просто подтанцовки, балетные соло? И то и другое. А у нас некоторые балетные артисты еще играют и драматические роли с текстом. А как вначале стеснялись. А теперь шпарят тексты и получают удовольствие. Это сразу видно по их лицам.

Пишу обо всех в превосходной степени, я знаю. Но я так чувствую. Так всех уважаю, ценю и люблю. Значит, может быть группа талантливых людей без интриг, без зависти. Если ты талантлив, значит, ты человек полноценный. А полноценный человек лишен зависти. Завидовать нечему. У него своего полно. Мы хвалим друг друга, потому что похвала наша рождается случайно и невольно. Она рождается из нашего сходства, из сходства вот таких людей, которых объединяет обоюдная радость. И потому — похвала волнует. А как трудно работать с людьми, которые не нравятся. И как легко, когда наоборот. Я влюблена вовсю! А?! Такого еще в моей жизни последних лет пятнадцать не бывало. У нас нет за кулисами и привкуса этой гадкой, даже бессознательной зависти. Надо поставить слово «пока». Но не хочется. Ох как не хочется.

Я обещала вам, что в конце расскажу об актере, который сыграл у нас шефа бюро. Я думаю, что ко мне присоединятся все, кто работает в этом оригинальном российском мюзикле. Ода нашему любимому артисту. Исполняет вся труппа. Я лишь фиксирую на бумаге.

Николай Первый.

Началось после того, как сыграли «Бюро счастья» три сезона.

Смотрю ТВ. Смотрю фильмы. Еду по Москве — смотрю рекламу. Везде Николай Фоменко. Много? Хватит человек на десять! А мне мало. Мало! Когда я его вижу, я улыбаюсь. Я смеюсь. Я хорошею. Улетают мои неприятности. Мои тучки рассеиваются. Я вижу голубое небо. Я хочу жить!

А теперь — что было до нашего знакомства.

Как-то показали по ТВ группу «Секрет». А это кто там такой, тоненький кудрявый мальчик? На кого же он похож? Ой, да это же он ведет программу «Крестики-нолики». В этой программе Фоменко был остроумен, обаятелен, находчив. Но он музыкант.

Почему же в передаче не использован его музыкальный талант? И я уже жду появления объявленной новой программы «Империя страсти». Артист в гриме а-ля Элвис Пресли поет, движется, импровизирует, но с иронией к происходящему, а главное, с замечательной иронией к своей собственной персоне. И я полюбила его за «Империю страсти». Да, противоречивые мнения — «нет — да», «нравится — не нравится». Но как актриса я восхищалась и поражалась его лихому мужеству найти выход порой из безвыходного положения. Ведь его партнеры не артисты — ну-ка, попробуй, встройся «неартист» в неординарные условия игры «Империи». А Фоменко тут как тут. Всех «встроил» и сам в порядке.

Эта программа вне предыдущих канонов на ТВ. Николай Фоменко оторвался далеко от всех. Ну-ка, догони! Его новый телеоблик явился здорово технически оснащенным, исполненным духа новизны, противоречий и неожиданностей. А раз «высунулся», перегнал — били! Но ни один мускул на лице не дрогнул. Предательское телевидение, этот беспощадный «ящик» такое обязательно бы зафиксировал и укрупнил.

Вот же интересно. Чем больше человек известен, чем больше популярен, тем больше людей против него. Нигде в мире такого нет. Наверное, это типичный советский феномен. Николай Фоменко продолжал работать, не выбиваясь, в своей маске, в своем собственном и единственном жанре. Он мне был чрезвычайно интересен. Какой он? Где он, а где маска? Пошла в «Сатирикон» на «Трехгрошовую оперу», где артист сыграл и спел одну из самых невыигрышных ролей. Сыграл четко, суховато, с походкой человека намного старше своего возраста. Он мне стал еще интереснее. Какой же ты, Фоменко, — «Секрет», «Крестики», «Империя», Колян?

И как-то в один из вечеров состоялось телевизионное интервью с Николаем Фоменко. Умный, ироничный, грустный, имеющий точное, реальное представление о себе. А вроде пора под напором популярности это представление потерять. «Да, нет интересных предложений в кино, в театре. Предлагайте!»

Очень просто и искренне. Давно я не слышала от звезд такой интонации. А ведь сам-то — популярнейшая телезвезда. Он мне стал еще и еще интереснее. В это время началась самая сложная работа в мюзикле «Бюро счастья» — поиск актеров.

Кто родился с тем, что может профессионально петь, свободно ориентироваться в ритмах прошлых времен и в новомодных веяниях, быть комиком, быть драматическим актером, быть пластичным и оригинально танцевать, в мгновение, прямо на сцене сменить амплуа, уходить в импровизацию и

незаметно возвращаться в текст спектакля, чувствовать жанр фарса, когда начинает сцену в одном ключе (и зрители вроде привыкли, вслушиваются), а он — р-раз! — и на них ушат с холодной водой?! О-ох! — в зале. А он уже и в проруби хохочет. И оттуда владеет залом. В любую сторону твоей души. У меня такое ощущение, что он изучал психологию зала. Он удивительно чувствует, с какой охотой зал «цепляется» за возможность посмеяться. Это умение уравновесить эмоциональный драматический подъем со смехом — редкое дело. А еще у Шефа должен быть красивый голос. Что делать? Надо искать пути к Фоменко. Пути нашли.

Созвонились.

«Завтра в двенадцать часов? Да, буду. Пишу адрес».

Я почему-то боюсь популярных звезд, которые сейчас светят, и к ним не подойди. Ведь неизвестно, что будет завтра. Может быть, завтра они будут ждать, мечтать, грезить, чтобы хоть кто-нибудь ими заинтересовался. Но… Уже будут «светить» другие. Нужны ах какие мозги, какое хладнокровие, чтобы уметь себя распределить, обуздать, не взорваться.

Как мне не хочется, чтобы сейчас открылась моя дверь и вошла такая звезда. Да нет, вроде не должно быть так. Не надо. Как же не хочется. Но вот и звонок. Ровно в двенадцать. Я встретила его и почему-то поцеловала в щеку. Почему я это сделала? Не знаю. Неправда. Знаю. При его появлении я почувствовала родственное актерское устройство.

Он человек рисковый. Смелых много. Да просто выход на сцену — это уже смелость. А рисковать, делать что-то впервые… Какая ответственность, какая разноголосица писем, мнений. Знаю, повторяюсь, но риск — это хождение по острию. Какой сильный человек! Вот такого артиста я и поцеловала в щеку.

И я еще раз спела ему под «минус» все партии. Симфоджазовый оркестр, замечательные аранжировки. Как музыкант Фоменко должен был это оценить. После первого акта он встал, пожал руку и сказал: «Я с вами». Все.

Я знала, что, какие бы ни были ситуации в его жизни, в работе, я исполню любую роль, даже если это будет шестой лебедь справа. Исполню обязательно. В артисте Фоменко я не ошиблась ни на миг. Умен, как «сорок тысяч братьев». Репетировал легко и серьезно, весело и изящно. Но интересно сейчас, когда отыграли спектакль уже три сезона. Перед каждым спектаклем распеваемся. Как только Коля (теперь я его так называю, а он, с моего разрешения, меня «Люся» и на «вы») начинает петь, все мы, коллеги, балет, замолкаем и с неослабевающим (за три сезона!) обожанием смотрим на него. А

это, я вам скажу, совсем не по театральным законам. Никакого «клубка друзей».

Исключение? Да. А что сказать? Коля Фоменко — № 1. Во всем. Просто Николай Первый. Звучит хорошо. Мне нравится.

Боже мой, как редко, чтобы человек будил какие-то особенные необъяснимые чувства. И не умом, и не мужским обаянием, и не артистичностью, и не изысканным юмором. А всем вместе. И еще силой своей незаурядной личности, умением завораживать…

Он еще колесит по Европе с автогонками! И стал чемпионом России. Но это его совсем-совсем личное. Хотя, по-моему, это ужасно. Но я молчу. Но вот прочла в газете: «Шоумен Фоменко летает со скоростью 320 км/час», «Фоменко — российский Шумахер!».

А как интересно с ним на гастролях. Он очень много читает. Думаю, что, когда он один у себя в номере, он совсем другой. Уж слишком умен, а значит, все видит, слышит, есть над чем призадуматься. Горе, горе уму. Но когда рядом мы, обожающие его, и он чувствует, что это искренне… О! Остап Бендер может передать Фоменко эстафету. И не ошибется.

Ночью ехали в автобусе. Ранним утром сонные входим в частную гостиницу. Старенькое здание, отреставрированное, утопает в зелени. Но это разглядели уже днем. Название этого частного отеля не помню, или «Наташа», или «Елена». В общем, какое-то простое женское имя. Как только администраторша и девушки узнали Фоменко, тут же их лица «спросонья» оживились, зарумянились.

— Скажите, а Елена еще жива?

— Ну что вы! Конечно жива! Она такая добрая! Что бы мы делали без нее! Она нам дает работу! Она вообще-то очень красивая и молодая.

— Правда? Замечательно! Я так и думал.

Едем на спектакль. Входим в лифт. Нас встречает и сопровождает высокая молодая леди, одетая по последней моде своего города. Она неотразима.

— Скажите, а что это за здание?

— Как? Это самый лучший театр в нашем городе. Театр оперы и балета.

— И у вас большая труппа? Человек пятьдесят?

— Именно. Вы угадали. Пятьдесят человек.

— И «Щелкунчик» идет?

— Обязательно!

— Я так и думал.

Нет большего удовольствия, чем удовольствие открывать

большого артиста. Дипломатичного, остроумного, деликатного. Ведь ой как часто в репетициях, съемках, в стайерских актерских забегах все чары партнеров и партнерш рассеивались. А музыкальность…

Фоменко надо смотреть и слушать в «Бюро счастья». Когда двухтысячный зал вскакивает от нашей актерской энергетики, перепрыгнувшей через рампу к ним, к зрителям. И они ничего не могут поделать с тем бесом радости, музыки и праздничной фейерверкной атмосферы! И не расходятся. А мы смотрим на Колю. Он дирижирует. Он — Шеф. Ну, еще раз кланяемся или… по домам? Он не любит лишний раз «маячить». Но… И мы, счастливые, выходим на авансцену еще раз.

Одно не нравится. Его мало. И то, что он еще ничего не сделал. Не сделал того, что обязан сделать, создать для нас. Мы будем ждать, Коля!

Глава шестнадцатая. Люди верят…

Но есть еще и герои, которых нет на сцене. Они за кадром. Кто они? И почему они герои? Потому что без них этот спектакль не состоялся бы. Поскольку рождение мечты проходило через меня, может, потому отчасти я пришла к премьере полуживой. Ведь я еще никогда не участвовала в добывании средств. А это для меня совсем-совсем новая страница жизни. Когда появилась идея этого мюзикла, весь первый этап — создания оригинальной пьесы, музыки стихов, записи фонограмм на «Мосфильме» — приходилось оплачивать из собственных средств. Ушло все, что отложили на «черный день». На кого мы могли рассчитывать? Только на людей, у которых я вызывала доверие и уверенность, что все получится. Вот же как…

До перестройки в Госкино могли запустить фильм с такой формулировкой (воспроизвожу то, что слышала сама): «Если там играет Гурченко — фильм можно запускать». Это, согласитесь, уважаемые зрители-читатели, очень дорогого стоит. Это надо заслужить. Это тоже есть момент счастья в жизни. Мне доверяют. Мне верят. Государство вложит деньги в кино с моим участием и получит прибыль.

То время кончилось. Кто в меня верит? В меня верил, и, очевидно, давно, Сергей Абакумов. Потому что, как только начал организовываться Московский английский клуб, он стал вести со мной переговоры о вступлении в этот клуб. Но я уже давно не верила ни в какие клубы, фонды и партии. Я вежливо отказалась.

Отказалась раз. Отказалась два. Но встретиться-то можно? Встретиться можно. Шла я к нему с желанием наговорить резких слов обо всех фондах, партиях. Но встретилась с человеком, который убедил меня, что ему нужна именно я. Он со мной говорил как режиссер, которому в фильме нужна именно эта актриса. Ему нужна была именно моя интонация, моя мысль, даже мой тембр голоса.

История незабываемая. Позже, когда началась работа над музыкой, и я ему спела главную партию героини спектакля, он прямо преобразился. Услышал все нюансы в аранжировке, отметил такие тонкие детали, чего почти не встретишь, если человек не музыкант. И он сделал очень много, чтобы этот неподъемный спектакль состоялся.

Какие же нас преследовали неудачи! Вот все уже вроде гладко пошло, так на тебе — дефолт девяносто восьмого года. Закрывались спектакли, проекты. Закрывались или совсем, или до лучших времен. У нас месяц труппа работала на всю мощь, молча

и бесплатно. На сцене сто человек. Вокруг распускаются оркестры. У нас — пятьдесят музыкантов. А за арфой и литаврами еще и машину надо посылать. Спрашивается — для чего вам, идиоты, такие декорации, оркестр, балет? Возьмите пьеску — два человека, два стула, — и вперед! А удовольствие? А удовольствие и радость для себя и для зрителей? Радость полноценная. Ни с чем не сравнимая. Это и есть счастье. Счастье!

Да, это не заработок. Да, это не деньги. Да, с деньгами хорошо. Но и без них тоже может быть хорошо, когда смотришь в конце спектакля в зал. Ради этого можно пожить и поскромнее.

Городские строители меня не забыли. Помнят мои фильмы. Что значит — помнят? Значит, какой-то момент жизни у человека связан со мной. И этот момент был счастливым. Как я всегда помню Марику Рекк, Жанетту Мак-Дональд, Любовь Орлову. В этом порядке они вступали в мою жизнь, украшая ее и преображая все вокруг меня. Строители помогли выстоять спектаклю.

И конечно, Сергей Борисов. В те самые жуткие дни дефолтовского девяносто восьмого года, когда у всех полная растерянность, страх перед завтрашним днем. Когда сегодня еще идет репетиция, а завтра уже и неизвестно, что будет. Что говорить, как оповещать людей? Хоть все и молчат, но все переживают и чувствуют то же. Борисов увидел перед собой двух потерянных людей. Ах, если бы я была одна! Да я в тьмутаракань всегда поеду, для себя заработаю. Но то — я одна. А коллектив? А идея? А мечта?

Сергей Михайлович держался. Но те месяцы борьбы и выживания стоили столько здоровья, бессонных ночей, а порой и крайнего отчаяния…

«Ну ребята, ну спокойнее. Как-то выпутаемся…» — Борисов поддержал. И мы выпутались.

Этих людей нет на сцене. Это герои «за кадром». Они сидят в зале. И я чувствую их присутствие. И посылаю им со сцены свою нежность, свое тепло. Свою преданность и бесконечную благодарность. Сегодня поддержка театру, кино очень-очень дорогого стоит. Значит, в тебя верят.

В кино сыграл — и навеки. Театр — такая хрупкая, изменчивая штука. Эта хрупкая субстанция родилась, засверкала. И умерла. Завтра никак не получится, как было сегодня. Никак. Хоть ты будь переперепрофессионалом. Вчера радость. Сегодня огорчение. От взлета духа до обиды и горести лишь только миг. Пусть в фильме недолгое время, но там остается что-то от меня. Это что-то нельзя потрогать. Это миг жизни. Пролетевшая точная мысль. Шальное настроение. Это невозможно выразить словами.

А в театре жизнь за окном заставляет менять интонацию. Так случилось, что в Театре сатиры мы играли спектакль «Поле битвы…» на следующий день после убийства Влада Листьева. В городе скорбь, лица у людей растерянны. А нам играть. Присутствие людей в зале будоражило атмосферу театра, от которого всегда ждут свершения надежд и положительной энергетики. Что мы могли дать зрителям своим присутствием на сцене, если были такими же растерянными и не знающими, что сказать, как сказать и с какой интонации начать спектакль?

Ах, это «присутствие»… Это не кино. Театр — присутствие. Театр — место встречи, ожиданий. Но ведь при этом не изменили ни слова в тексте пьесы. До конца спектакля мы не изменили притихшей, растревоженной интонации. Это был незабываемый спектакль. И мы уже были не вчерашними. Уже не могли быть прежними. Мы меняемся вместе с людьми, которые сидят в зале. Театр — непрерывное движение. И со временем спектакль рассыпается.

А фильм — хоть ты его ножом, хоть колом, хоть в космосе, хоть в тундре — всегда одинаков. Так я поняла, что в театре на премьеру лучше не приходить. Первые пробные спектакли чреваты ложными впечатлениями. Где-то к десятому спектаклю начинаешь потихоньку достигать, чего хотели. А уж читаешь в прессе про то, что было на первых премьерных представлениях. Эх, кино, поневоле тебя вспомнишь.

Эти полтора года я жила работой над музыкальным спектаклем «Бюро счастья» как ненормальная. Впрочем, ничего для вас, дорогие читатели, нового. Ничего, повторяюсь. Так идет. Но это же впервые в жизни работа при мне начиналась с чистого листа. И я проходила все этапы, конструкции этого «здания». Все роли, музыка, тексты. Я была их первым исполнителем.

Для этого надо иметь стальные нервы и силы, силы. А меня все еще заносило, не умела рассчитывать свои эмоциональные ресурсы. «Чье сердце опыт остудил и, забывая, запретил». Оказалось, ко мне еще не подходило это. Нет, голова кружилась, я взметывалась… А потом стала выдыхаться. «Синдром выгорания» — вот этого я не учла. А это плохо. Мне важно было, чтобы все артисты спели так, как было задумано. Концертмейстер может только разучить партию по нотам. А нюансы? А отставания, а переакцентировка в словах?

> «Ну вот, а ты кипишь, бормочешь гру-баа-сти! Да я хочу друзьям спасти семью!»
> — «Спаси семью? Какие глу-паа-сти!»

Можно спеть «глупости» и «грубости», делая ударения на «у». Тогда пропадает «что-то», не знаю что. Пропадает, и все.

Музыкальный спектакль за полтора месяца??? Вот такой расклад. Актеры освободили это время. Это антреприза. Репетиционный зал — плати деньги. Танцевальный зал — то же самое. Оркестр в пятьдесят человек — люди, у которых есть семьи. «Проходим «Нищую» Беранже», - сказал дирижер. «Это про нас», - заметил тромбонист. Музыканты невесело засмеялись. Актеры тоже небогатые, хоть и звезды. Популярность неадекватна материальной стороне. Это феномен наш, отечественный. И видно, еще надолго. Может быть, когда-нибудь кто-то и прочтет, что за роль наш российский актер получил пять миллионов долларов. Пока это пишут, и очень часто, о западных звездах. Может быть, и придет такое время. «Жаль только, жить в эту пору…»

Ладно.

Идем дальше. Дала о себе знать старая моя травма. Вот о чем, оказывается, меня предупреждали врачи в семьдесят шестом году. А мне было смешно. Что? У меня будут такие последствия? «Послушайте комиссию, оформите инвалидность…» Да вы что? Сами, дорогие товарищи, оформляйте! И поехала на костылях досниматься в веселой детской музыкальной сказке «Мама». А вот сейчас все. Пшик. Домамкалась. Перед премьерой терплю, но чувствую — вот-вот…

Сергей Михайлович через наших друзей нашел врача. Врач спортивный. Травмы знает как свои пять пальцев. Поднял меня на ноги. Боли умолкли. Вечером премьера.

— А как вы спите? — спросил врач.

— Да плохо. А вы? — спросила я.

— И я не очень.

— А что вы пьете? Какое снотворное?

Врач назвал.

— Нет, такого названия не слышала.

— Я вам дам пару таблеток, попробуйте!

— Спасибо!

— Да, знаете, чтобы вы не думали о боли, выпейте вот эти две таблетки обезболивающие за пятнадцать минут до начала спектакля и спокойно играйте.

Вечер. Через час начало спектакля-премьеры. В спектакле много «сырых» мест. О себе подумала в самые последние дни. На что надеялась? На что-то, что, может быть, уже существовало, но еще не созрело? Какая ошибка. Вот уже и второй звонок. Нет, это не кино. В кино могут остановить съемку, перенести ее на следующий день. Здесь — нет. Публика в зале. Хоть полуживая, с

температурой — выходи на сцену. Плакать будешь потом.

За кулисами нервная «радость». Никакой паники. Все спрятали свои взрывные клетки в себя.

— Сережа, врач сказал, чтобы на всякий случай выпила две обезболивающие таблетки.

— Конечно, освободишься от этой мысли. Я ему верю.

И я выпила две таблетки. Третий звонок. Ничего не понимаю. Говорю медленнее обычного. Все соображаю. Но что-то не то. Вижу бледное встревоженное лицо Сергея Михайловича. «Может, отменим спектакль?» Нет, вы слышали такое? Отменить спектакль!!! Отчего? «Начинайте. Уже десять минут восьмого!» — я точно помню, как посмотрела на часы. После увертюры первым начинает спектакль Коля Фоменко. Скоро и я «запою». Открылись прозрачные занавески «моей квартиры» на втором этаже. Но что это? Зал, сцена, реквизит поплыли подо мной, передо мной, вокруг меня. И все вместе закружилось, как на американских горках в парке Горького. В голове четкая мысль: наверное, сейчас умру. Вы не поверите, я всем своим организмом порадовалась своему абсолютному спокойствию. Слушайте! Слушайте «сюда»! Оказывается, умереть — это так просто. Обрывается нить. И привет. Вот почему папа мечтал умереть в работе, в разгаре, в пути, в дороге.

Я не сделала ни одного промаха, не забыла ни одной реплики. Не помню, что в антракте была «скорая», что приезжал мой спортивный врач, поил меня крепким подбадривающим кофе. Но четко помню, что в светлом костюме оставалась в темно-синих колготках. Вот этого я себе не простила.

Вот как было дело. Уходя от врача, я в один карман пальто положила две снотворные таблетки, а в другой две обезболивающие. В той нервной обстановке совсем было не до того, чтобы разбираться. Да я вообще забыла о сне. Мне нужна была моя здоровая нога. Ну! За что же мне такое?! Я так работала, так не щадила себя… Все не как у людей. И опять схватка с самой собой. И опять противные диалоги с нею. Дура! Я дура и ты дура. Ой, как стыдно перед актерами. Я их так подвела. Все, оказывается, смотрели на меня с тревогой. А я ничего и не заметила. Вот же организм. Моему врачу (когда он вошел в дом, мне показалось, что это человек из фильма ужасов: огромный, бритая голова, черная рубашка, огромные ручищи. Очень, очень впечатляющая внешность), так вот, моему врачу, чтобы заснуть, достаточно половины таблетки, иногда одной. А я? Что я такое? Я отлично помню, что после этого спектакля дома я чувствовала себя до странности отчужденной от своего «я». Но так все на столе «срубала». Да что говорить! «Хавала» все подряд с

проснувшимся аппетитом голодной послевоенной харьковской школьницы.

Что это? Я так теперь думаю, что во всех критических ситуациях меня спасало чисто интуитивное умение, сноровка, что ли. Стянуть в единое целое все прошлые «выныривания» из сложностей с сегодняшними, случившимися вот-вот. Может быть, я не могу это объяснить внятно, но вся как сжатый кулак.

Если бы не тревога за кулисами, никто в зале ничего бы не заметил. Композитор Лебедев сказал, что я нашла новые интересные краски в роли.

На следующий день была еще премьера. Все первые десять спектаклей — премьера. Ну? Что теперь еще может случиться? Крутит-вертит мною судьба. Преподносит мне непредсказуемые испытания. Эх, как она злобно шепчет в спину: «Ну, подожди! Вчера кое-как обошлось, но я еще доберусь до тебя!»

Давай, уже ничего не страшно. Только бы не дать слабину. Только бы не побояться ввязаться в битву. Ведь, испугавшись, я стану негодной артисткой. Все, что получилось, все, чего добилась в этой жизни, я добилась сражаясь. Вперед! Открывайте занавес! Премьера!

Нет страха перед неудачей. Это уже кое-что. Вчера не сложилось. Так тому и быть. А что сегодня? Но опять дрожь. Она особая. Это не нервная дрожь и страх перед неуспехом. Это тревожное ощущение большой ответственности. Страшно не оправдать доверия людей в зале.

Сыграла вполне нормально. Без особых импровизаций, без особых взлетов. Увидела многие затяжки, пустоты. Буду подтягивать ритм, легкость. На то она и премьера. А жаль. Еще бы порепетировать дней десять. Но не получилось. Идем дальше.

Перед премьерой какой-то человек прорвался в гримерную комнату с запиской: «Море здоровья, океан счастья в Вашей одинокой жизни. Жена у меня интересная, полная, без углов, но могу уйти к Вам. Вчера мне Вас было очень жалко…» Значит, был вчера и пришел сегодня.

Ну! И кроме «ну!» нет слов. Хорошо это или плохо, что меня стало жалко? Он меня отождествил с моей героиней. Опять же, хорошо это или плохо? А «полная, без углов жена» это неплохо.

Всё. Три звонка. Сегодня и зрители, и гости, и пресса. И как говорит Фоменко: «По-е-ха-ли!»

Читаю. «Новый мюзикл — классический провал». Интересно, а сколько было провалов в российских мюзиклах, чтобы этот стал уже классическим? Как правило, люди верят всему написанному. Это я прохожу с двадцати лет. Сразу невероятно вознесли. Это очень-очень страшно для актера, когда успех опережает опыт. Это

случилось со мной. Преждевременный успех может довести до такого нарциссизма, до такого головокружительного самообмана. О! Вскоре у меня случился резкий нокдаун. Ожесточенные нападки. И меня нет. С тех двадцати-двадцати двух лет. Через время я стала учиться читать одно, а думать о другом и готовиться к другому. И до сих пор учусь.

Но все по порядку.

Когда сейчас по ТВ идут программы «Как это было», «Совершенно секретно», я вглядываюсь в лица очевидцев тех прошлых событий из жизни нашей Родины всех семидесяти лет, — нет, ни хроника, ни их воспоминания не могут воспроизвести того страха, который навсегда въелся в поры, в сосуды. Этот страх неадекватен словам. Что такое в пятьдесят восьмом году оглушительная статья в «Комсомольской правде», в «Правде»? А если это еще и фельетон? Что значила в то время разгромная статья органа Ленинского комсомола единственной партии? Это тихая одиночная камера. Тихая потому, что замолкает телефон. И знакомые, и друзья проверяются лишь тем, постучат они к тебе или навсегда исчезнут. О! Это не одиночество художника в толпе. Это изоляция от толпы, друзей, а иногда даже от родных и близких. Всё. Кислород перекрыт.

К слову сказать, мое уничтожение началось с вечно молодой газеты «Комсомольская правда». Я вместе с советским народом верила в комсомол и в «Комсомольскую правду». Ведь это правда молодых, бесстрашных. Этот дух молодого бесстрашия надолго поселился в том сером сталинском здании на улице Правды. Не знаю, вел ли там курсы Илья Шатуновский, но его заказной фельетонный сарказм крепок и живуч.

Теперь я думаю: а что же со мной случилось с тех самых лет? Была ли после того у меня молодость, беззаботная и розовая, как должно быть в двадцать? Перенесусь туда и отвечу: нет, не была. Я уже никогда не была молодой. Только притворялась. Но тогда не понимала этого. Понимаю сейчас. Долго носила маску жизнерадостной девушки. А всего-то — пара статей в прессе моей любимой Родины.

Перелетим из пятьдесят восьмого в годы нашей свободной демократической жизни, со свободной прессой, со свободными мыслями, о которых, кстати, мечтали все нормальные мыслящие люди. Год 1996-й. Осень. Репетиции «Недосягаемой». Параллельно записываю «Грустную пластинку». Несколько раз звонит мне, как мне сказали, скандальный, острый журналист насчет интервью в «Комсомольской правде». Ладно. Есть о чем поговорить. Встречаюсь с ним в тусклом фойе театра после репетиции. За мной заехал Сергей Михайлович. После интервью

мы должны быть на записи пластинки. Сидит вдалеке и что-то читает. Скандальный журналист с виду совсем не производит какого-то соответствующего этому слову впечатления. Я думаю — ну что же у нас с ним может «разгореться»? По всему, должен был состояться вполне нормальный газетный «костер». У меня есть дрова. Я играю женщину начала века. Соммерсет Моэм. Интересно ведь, как со временем меняется, и меняется ли женский характер. Разберемся.

«Эх, «оттепель» и семидесятые! Приучили вы меня читать журналы и критические статьи, где я могла очень многое для себя открыть, согласиться или еще подождать, подумать. Ах, журнал «Театр», «Искусство кино»!

Вот я и открыла свое восторженное, как говорил Бернес, «хавало». Сейчас мне ужасно неловко, что я собиралась «распространяться» на так называемую «творческую» тему. Еще расскажи, что это просто «какие-то муки творчества»! Как недавно одна молодая поп-певица сказала: «Нам, звездам, очень трудно жить». А спела всего полторы песни. Молодец. Без «мук». Ну, что у меня в жизни интересного… И начинаю с подъемом рассказывать о наболевшем и о том, что меня наполняет. Ну, точно как влюбленная подруга, что бы ни говорила, соскальзывает на предмет своей любви. Но мой подъем что-то не разогревается, а остывает, тлеет. Я становлюсь жалкой и тупой. Потому что человек на меня смотрит холодным отсутствующим взглядом. Так что же я? Куда? Зачем? И что мы здесь делаем?

— Скажите, — перебивает он меня, — а что за человек Кобзон?

«Аргентина — Ямайка 5:0». Пять-ноль — в его пользу. Это, наверное, и есть скандальность. Ты протягиваешь руку, знакомишься с человеком, а он вместо своего имени задает вопрос: «Скажите, у вас сегодня ночью был оргазм?» А передо мной образовалось черное пятно мгновенной депрессии. Такой забытой. Когда же это было? Было что-то. Но так давно. При царе Горохе.

— О! Кобзон так и сказал, что у вас будет такое лицо, когда услышите его фамилию…

Значит, разговор обо мне был. Скандальный журналист еще какое-то время смотрел на мое окаменевшее лицо…

Но… Как же начало расцветать его лицо! Началась работа! Среди «тысячи тонн словесной руды» он отыскал нужную ноту.

— Слушайте, вы такая откровенная в своей книге, а вот в интервью… Здесь, сейчас, в темном фойе, с впервые встретившимся человеком я должна быть открытой? Он ничего про меня не знает, не понимает. Да ему это и не нужно. Ему

нужен скандал.

— А ведь у вас тогда были тяжелые времена…

Ну зачем он это сказал? Ну и расстались бы мы, развелись, как говорится, «не сошлись характерами». Но он задел то, что, как ни засыпай землей, как ни топчи ногами, а травинка прорастает, как сквозь асфальт. Долгие годы ненужности, безденежья, боли и безработицы. Интересно, что страшное слово «безработица» теперь известно многим. А ведь в советские времена все были обеспечены работой. Кроме киноактеров. Годами без работы. Мне в «Аплодисментах» не посоветовали писать это больное слово. Его заменили словом «безролье». А это ох как не одно и то же.

Чувствую, что со своей нахлынувшей мгновенной активной депрессией не справляюсь. Я знаю это состояние. Когда я чужая, незнакомая. Когда некому защитить. И я сама «лаю» и отпугиваю нападающих.

— Слушай, а не пошел бы ты на …!

Боже мой! Во-первых, извините за выражение. Но его вы все прекрасно знаете. Оно теперь в книгах, на заборах, в лифтах — кругом! Есть даже словарь русского мата (автор — профессор Т.В. Ахметова). Это во-первых. А во-вторых, я увидела перед собой красивого, счастливого человека! Но с некоторых пор у меня в жизни впервые появилась защита. Сергей Михайлович мне сказал, что услышал в его интонации что-то очень недружелюбное.

«Ты говорила тихо, но лицо твое… не предвещало ничего хорошего».

Сергей Михайлович подошел к нам, попросил у журналиста диктофончик, отобрал пленку.

— Вы что?! Да вы знаете, кто я? Я… — И «скандальный» начал громко выкрикивать свою фамилию.

Позже я попадала в «Комсомолке» на его интервью. Я прозрачно разглядела, какое «острое» чувство удовлетворения он испытывал, «ковыряя», «интервьюируя» тех, кто больше и неплохо преуспел. Интересно все. Очень интересно.

Он шел за нами до самой машины, выкрикивая свою фамилию. Вот, Люсичка, как надо себя преподносить! А то:

— Как Вас объявить, Людмила Марковна?

— Как хотите, только без званий. Лучше всего — «У вас в гостях».

Дура! Надо все звания! Все регалии! Хоть все получила вроде заслуженно, но почему-то навсегда въелось: «Поет Марк Бернес!» — гром оваций в зале.

«Когда весна придет — не знаю…» — еще Николай Рыбников не появился на сцене, а уже бурная волна радости облетает стадион. А ведь у него так долго не было никаких званий. Звания,

ордена. Медали… Их несут на подушечках. Как у Вертинского: «За вашим гробом в слякоть, не за мной, а впереди меня…»

Публика сама дает звания артисту. Нет, это самое трудное испытание. Публика! Пока у меня есть публика, я есть. Дорогая публика, еще раз хочу вам сказать, что пишу для вас, потому что вы меня любите. Ну, может быть, не все. Может быть, через одного. Но этого мне препредостаточно.

Про диалог, пресса и «человек на виду». О прессе и тех, кто «выделился» своим умом, талантом и т. д., можно, наверное, прочесть целые тома. А я вам хочу рассказать конкретно о своих знакомствах, о своих столкновениях и открытиях.

«Комсомольская правда» извинилась, что прислала такого «крутого и скандального», и пообещала прислать нормального журналиста. Ладно. Как долго я привыкаю к чему-то, так долго и отвыкаю. Все мне чудится, что сейчас придут прежние профессионалы. Но новая жизнь разметала всех по разным газетам, журналам, каналам ТВ…

Как обещали, пришла приятная женщина. Я долго отвечала на ее вполне корректные вопросы. Уже и чай-кофе выпили, и разговор приятно переполз на разные-разные темы, вроде не для интервью. И я как-то растаяла. У меня открылся «клапан», наделавший мне столько неприятностей: все люди добрые, прекрасные…

> «Люди, главное люди, усе людя-ам, ничегошенька себе…»

И я потеряла бдительность. И сразу — бах! «А вот ваш второй муж, Кобзон…» Ну что, думаю, может, для начала исправить порядковый номер Кобзона…

Значит, сидят в редакции и совещаются, — вокруг кого бы выстроить очередной скандальный сюжетик? Кобзон сам везде охотно обо мне говорит. А вот она молчит. Почему она молчит? Разведаем. Прямым попаданием не получилось. Надо в обход, как нормальные герои. Это все мои мысли, а говорю я что-то про Кобзона, что он настоящий герой нашего времени и во все времена.

Вижу мраморную доску в концертном зале «Россия», вывешенную при жизни: «Здесь жил и работал…» Что-то говорю, а сама думаю… Если бы он сам не озвучил про наше «знакомство», я никогда и словом не обмолвилась бы о нем.

Это была одна из самых жутких ошибок в моей жизни. От него надо было бежать, как Гарун. Быстрее лани. Но меня некому было направить. Что толку, что один композитор был в ужасе: «Люся, что вы наделали?» А где вы были раньше? Дура, мне

казалось, что я его «перестрою». Какая наивность.

Ему так нужен был рядом режиссер его внешности, репертуара. Большие возможности не заменят вкуса, стиля. Те считанные дни за неполных три года принесли такую головоломку.

Что «это» такое? И что я помню? Бесконечные застолья после многочасовых концертов. За столом представители обкома или райкома или западная звезда. Или отечественная кинозвезда. Не я. Я тогда была прочно в «бывших». И тосты, тосты, прославления, прославления.

Эти встречи были так давно и так перманентны. Он так мощно умел завоевывать. Цветы, духи, натиск. Завоевывались все и вся. Я на Маяковский, он на проспекте Мира. А если нет общего дома, общего хозяйства, значит, нет и семьи.

Как это ни удивительно, но о Кобзоне я более всего слышала от Кости — в Москонцерте они сидели на партсобраниях затылок в затылок. Не так давно кому-то очень нужно было от меня получить о нем именно негативную информацию. Ну нет.

Прошло время. Ушли, очевидно, неприятности. А я уже давно вышла из того черного времени. И от него пошли разговоры о том, какая я хорошая… Куда ни приедешь — в другой город, другую страну, — повсюду, везде разговоры обо мне. Нужна реклама. «У нее характер непростой» или «Двум звездам не ужиться под одной крышей».

Я хорошая? Интересно. Многое, очень многое можно озвучить. Но зачем? Достаточно того, что три года после этого я не могла себе представить рядом ни одного человека. Одной, только одной. Боже сохрани. Никогда. Ни за что. Нет, нет. Я знаю, что тогда я многое поняла про себя.

Один очень остроумный музыкант на вопрос, на ком же женился его коллега, ответил так (ответил после большой паузы, очевидно взвешивая ситуацию, зная характеры действующих лиц):

«Знаешь, — сказал он, — при ней можно жить».

Грандиозно. Этого трубача никакая женитьба остановить не могла. «Эту песню не задушишь, не убьешь».

При ней можно жить — первый вариант. При ней жить нельзя — второй. Это вариант мой. Вот это я тогда точно и навсегда поняла. Я сразу чувствую себя несчастной, неполноценной, жалкой, неуклюжей. А зачем я? Я тогда не смогу выйти на сцену. Выходить к зрителям неполноценной? Боже сохрани.

Я уходила из браков. Потому особенно снимаю шляпу перед Костей. Вот это артист. Артист-тонкач. Так великолепно играть! И еще есть тип женщин, которые опережают Его измену. Это тяжелая жизнь. Должны быть веские моменты: или условия

материальные, или боязнь одиночества. Во всяком случае, у них бывают счастливые моменты женской мести. Я предложила в «Бюро счастья» в уста девушки, с которой героине спектакля изменяет муж, эту мстительную мысль и вложить:

Лишь тех, кто изменял мужчинам внаглую,
Лишь тех мужчины носят на руках…

А в фильмах я играла совсем не тех, к которым отношусь сама…

Нет, лучше еще раз зачеркнуть жуткий ворох видений и определить так: Кобзон есть Кобзон.

Как у Чехова. Антон Павлович зачеркнул большой монолог о жене и написал просто: «Жена есть жена».

Собственно, только этот момент и интересовал «Комсомольскую правду».

Естественно, на мою подпись материал этой статьи мне никто не давал. Журналистка была в командировке. Кому-то поручила передать мне материал, но тот человек тоже срочно уехал по заданию газеты.

— Ну как же? Вы обещали дать на подпись…

— А что вы хотите? Мне нужно было вас разговорить! Понятно?

О, это уже был совсем другой тон.

Молчи, Люся. Отстала от жизни. Сдаюсь. Через несколько дней включаю радио. Журналистка тоже не дала статью на подпись Игорю Моисееву. И статья пошла в газете в том виде, в котором хотела журналистка.

Игорь Моисеев. Ансамбль народного танца. Шестьдесят лет работы в этом коллективе. В Канаде, Румынии, Франции при помощи работников посольства я прорывалась на эти сказочные концерты. Вот где гордость обуревала за то, что я живу в стране, где такое несравненное явление! Зал орет, топает ногами, хохочет, притихает, а в конце стоит и не отпускает танцоров-виртуозов. Если б вы знали, да вы знаете, дорогие зрители, что это такое! Будет, будет все прекрасно у народа, который может вот так разметать в клочья все препоны, дипломатические сдерживания. Ни черта! Россия, Россия забила! Игорь Моисеев один из моих кумиров. Я его обожаю, преклоняюсь.

Теперь опять заскочим ко мне на кухню, где работает радио. Жаль, это был конец программы. Но мне этого было вполне.

«Пусть он сам отвечает за свой базар». То есть она напечатала все, что он ей, очевидно, с удовольствием рассказывал, открывал.

Интересно, позже, когда я репетировала банкиршу в пьесе

«Поза эмигранта», она по телефону из Израиля в Москву, «улаживая» очередные разборки, говорит: «Ты там скажи своей братве, пусть не наглеет. Приеду… ты меня знаешь…» После «братвы» хорошая была реакция в зале. Но что-то такое крутится рядом, что-то крутится такое знакомое, а что? Не помню. И вдруг на спектакле осенило: «Ты там скажи своей братве, пусть не наглеет… Что? Ну, за базар ответят по полной». Какая реакция! Все стало на свои места. «Базар»… Пусть отвечает за свой «базар».

А впрочем, и удивляться нечему. Что такое десять-пятнадцать лет? Даже не плевок в вечность. И не соринка, и не песчинка. За это время вся жизнь примет нормальные формы. Разве можно удивляться, что на вопрос, кто такой Берия, девушка отвечает с милой улыбкой: «Ой, я не знаю. Что? Отечественная война? Кажется, в году… тринадцатом. Гитлер… ну, он-то уж точно и был против революции». Это я не придумала. Это из интервью на улице в праздничный майский солнечный денек. Когда-то еще в школе мы читали: «Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя…» Неужели же мы тоже будем такими? Но нет. Был и Пушкин, который в тринадцать лет написал: «Со старшими мы братьями прощались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас…» Это тоже Отечественная война. 1812 года…

Сегодня, чтобы быть на виду, чтобы о тебе говорили, люди сочиняют все, что угодно. Уходят со сцены с шумом, но появляются на ТВ еще чаще. Появляются рядом с яркой звучной фамилией. Всё потихоньку «оттуда» переползло к нам. Сейчас у нас даже есть чему поучиться. Ведь при длительном дефиците правды люди жили слухами и верили. Так долго искали в темноте запрещенные «свободные голоса», что, когда открыли шлагбаум, сначала не верилось, а потом как пошла лавина! Все, кто имеет диктофон, — все журналисты и критики.

Недавно я была на гастролях и несколько дней жила в одной частной гостинице. Ко мне так хорошо и заботливо относились. Гостиницам государственным не чета. Разрыв колоссальный. Прихожу с концерта вечером — и фрукты на столе, и любимые вареники с картошкой. Я сказала, что их люблю. Вот уже и время отъезда. Приходит целая делегация. «Людмила Марковна, не откажите, дайте интервью молодому человеку. Он начинающий журналист. Уже печатается у нас в газетах».

Вареники были хорошие. Я их съела. Как тут откажешься от интервью. Молодой человек ужасно нервничал. Потом расстелил большой лист вопросов, и пошло… Для начала: расскажите интересный эпизод, любимая роль… О чем мечтаете? А потом: «Как относитесь к Ван Дамму?» Оказалось, его любимый артист — Шварценеггер. Наши фильмы не очень… Де Ниро — ничего.

Николсон — так себе. Тут я ему и говорю: «Вы знаете, когда я в фильме «Карнавальная ночь» играла роль привокзальной официантки, мне очень нравился там один повар. Он был такой мускулистый, как Арнольд…»

А диктофон все записывал. И молодой человек чувствовал себя наконец-то добравшимся до своей мечты. Он, пока не осуществилась мечта, работает младшим поваром. Это он вареники готовил.

Грустная история. «Беда, коль пироги начнет печи сапожник…» Как часто я встречала людей, которым доставляет удовольствие думать, что в них заложено нечто такое! Что стоит это только извлечь. Но как? И что?

На «Бюро счастья» были разные отзывы. И уничижительные. И вопросительные. И приличные. Но ни одного профессионального разбора такого большого штучного труда, где брошены запредельные силы. Этого не должна видеть публика. Но критика. Она же знает, чего стоит такой эксперимент. Ведь иногда одно точно написанное слово меняет роль, оживляет и взбадривает все действие.

Да я теперь и не знаю, где грань, которая отмежевывает журналиста от критика, репортера от ведущего. Потому что желание сделать свой материал скандальным, сенсационным есть у всех. Критикуют все. Всеобщая жажда открывать людям не совсем здоровые впечатления. Эти новости добываются любым путем. Авторитетов вообще нет. И если в начале статьи какие-то слова, отдающие должное интересному фильму, спектаклю, то в конце несколько фраз таких, что на следующий день не захочется и думать о том, как бы улучшить, изменить. Боже сохрани. Оно понятно. Чтобы выжить в ситуации свободного рынка, газеты, журналы должны конкурировать. Отличаться… Лес рубят — щепки летят. Идут бои, и понятно, на позитивном материале не просуществуешь. Нужна сенсация. Скандал. За него и гонорар другой. Но какие уродливые формы и правила игры без правил… Щепки… Щепки-то золотые разлетаются.

Сижу в «России». Майя Плисецкая и Пьер Карден. Если и была, есть и будет высокая планка в жизни, в профессии, в испытаниях через причуды изменяющегося времени, то это, конечно, Майя Плисецкая. У меня одна фотография Плисецкой анфас, другая — ее знаменитый профиль с длинными руками. В моем доме нет моих портретов. У меня есть портреты людей, которые мне ежедневно напоминают, что я должна! Нет, я никому ничего не должна. В прямом и переносном смыслах. Но я должна сама себе. Я выхожу на сцену. Для этого я многое себе должна.

Сижу в «России». Счастливая! Не хочу ни с кем делиться

своим счастьем. Хоть оно меня переполняет, вот-вот выльется, зальет всех! Нет. Не дам. Это мое. Сколько раз, нет, сколько лет я сидела в Большом на местах разных-разных, боковых и приставных! Разве я пропустила хоть раз «Кармен-сюиту»? Вот на экране Плисецкая в роли Китри из «Дон Кихота». И она сейчас на сцене показывает платье Пьера Кардена пятидесятых годов. Оно сегодня уже вошло опять в моду. Балерина показывает его абсолютно индивидуально. Это платье ее. От того, как она его с удовольствием и еще с чем-то своим интимным демонстрирует, этот наряд никогда не забудешь.

Так важно, когда характер и одежда поют дуэтом. Наверное, потому так мало настоящих моделей. Ну лицо, ну ноги, ну, девяносто-шестьдесят-девяносто. А дальше? На таких смотрят. А женятся совсем на других. Публика надолго берет в жены именно тех, у кого есть «нечто», та «изюминка», которая со временем становится прелестнее и желаннее.

Сижу в «России». Впереди меня в судорогах орут фанаты. Я их понимаю. Я тоже хочу. Как и они. Да я уже как они. Я уже ору: «Браво!» У меня тоже судороги. Судороги счастья. Пусть смотрят на меня, ненормальную, не умеющую себя вести, невоспитанную. В руках стискиваю букет цветов и пробираюсь к сцене, к высоте! Ну уж на сей раз, ну хоть в десятой доле передадут ведь вчерашний прием! Что вы, дорогие! Небольшая заметка. Никаких страстей. Никакого уважения и, боже сохрани, восхищения. Я, конечно, помню главный козырь того критика, наверное, очень молодого человека, — возраст. У него вся жизнь еще впереди. Планки и примеры ему не нужны. Он сам себе планка.

Масштаб личности, о которой «заметка», и масштаб того, кто ее пишет… Несоответствие.

Если отвечать на все стрелы прессы, не хватит времени для работы. Не хватит здоровья и нервов. Не хватит жизни. Безусловно, противно читать о том, чего ты не делала, чего не говорила, чего не было. Так как быть?

Стоим в очереди в гардероб. Ресторан «Планета Голливуд». Тут мы впервые. Мы с Сергеем приглашены на презентацию новой книги Андрея Кончаловского. Очередь в гардероб большая. Рядом ларек. Ну, чтобы не стоять под взглядами — «она, не она?», «как выглядит» — заняли очередь и отошли в ларек. Смотрим всякие ларечные вещицы: часы, кошельки, портмоне, сигареты, духи, шарфики… Ну и на очередь поглядываем. Девушки-продавщицы очень приятные, вежливые, симпатичные. Появляется кто-то с фотоаппаратом: «Можно сфотографировать вас на память?» Ну а почему бы и нет? Девочкам на память с удовольствием.

«Сережа, надо что-нибудь купить. А то скажут, что мы

жлобы». Купили туалетную воду и довольные пошли снимать верхнюю одежду. Был чудный, теплый вечер. Андрон был красив, нежен, внимателен.

Прошла неделя. На спектакле мне дают журнал. Я в шляпке, шубке, чему-то глупо улыбаюсь. А Сергей Михайлович отсчитывает деньги за туалетную воду. Под фотографией «мой» текст: «Ну, не хочу я фианиты, купи мне бриллианты!» Смысл передаю точный. Может быть, порядок слов не такой.

Уж так долго я жила в страхе и недоверии к критике… Нет, не так. Я была в ужасе перед неблагожелательной реакцией публики, которая верила каждому печатному слову! Так долго это длилось… что этот ужас атрофировался. Оказывается, и к ужасу, и к страху, да даже к жизни в тюрьме можно привыкнуть. Ну, конечно, с большими моральными и чисто физическими потерями. А может, на это и расчет? Тут тоже снимаю шляпу. И все бы ладно, но…

Но. Но! Люди читают и верят. Плюнула бы я на эту «мою» реплику под фотографией, если бы… После спектакля в Киеве подошла ко мне женщина. Ей не нужен был мой автограф. Она приблизилась ко мне вплотную. Внимательно посмотрела на мои театральные клипсы. На ее лице образовалась невозможная тоска. Она сказала: «А мне такие уже никто не купит…» Повернулась и ушла. Что в таком случае делать? Как себя вести? Догнать, объяснить, что этого не было? Спросить, что у нее случилось? А случилось точно. Сказать, что это веселые выдумки журнала, которые развлекают москвичей пределов Садового кольца? В пределах Садового кольца…

Ошибаюсь. Это не совсем так. На гастролях то ли в Омске, то ли в Новосибирске ко мне в гримуборную зашел высокий молодой человек с косой, перевязанной на затылке.

— Значит, так. Я режиссер ТВ. Недавно получил приз ТЭФИ. Мне нужна интересная передача. Но не о работе. Не о профессии. А просто: о личном, об интимном. Вы меня поняли. О личной жизни. Это интересует зрителя. А то тут я делал передачу с Константином Райкиным, так он все время говорил о работе в своем театре!

Вот что тут ему ответить? Что, может быть, эта его передача с грандиозным актером и была его лучшей программой? Что-то в этом духе я ему и сказала. Он остался очень недоволен мной. В его глазах даже появились искорки нескрываемой насмешки.

А ведь вы меня, уважаемые акулы пера, многому научили. Я освободилась от лишних ужасов, которыми пестрят все заголовки. Их предостаточное количество на улицах, в ТВ. Но усугублять, еще больше прибивать человека к земле… Если с утра газета —

удар, ТВ — удар, журнальчик — удар, то как же выстраивать свой день?

Агрессия. Она в метро, в электричках, на стоянках машин, в пробках. Уже с утра все загружены негативной информацией. А вообще, нужен ли талант сегодняшнему журналисту? И что это на сегодня за профессия? Я сделала вывод, что, к большому сожалению, в эту профессию сейчас приходят люди случайные и самоуверенные. Может, завтра… Не знаю. Сделала вывод: лучше самой отвечать на вопросы. В письменном виде. А наилучший способ общения — прямой эфир. Ведь жесты, мимику, паузы, улыбку разве на бумаге передашь? На ТВ можно одним взглядом передать истинное отношение к предмету разговора, где слова излишни. Пишите, смейтесь, хохочите, уничтожайте, кувыркайтесь… Я поняла — ни в браке, ни в популярности нет стабильности и нет определенности. Если моя подсознательная энергия переполнена агрессией, если нет в ней следов любви и счастья перед встречей со зрителями — мне конец. Не дамся.

Люди читают, верят, и ты поднимаешься или падаешь, в зависимости от того, что пишут. И постоянно обороняешься или переходишь в нападение. Я за свободу слова, но не за свободу сплетен. Сплетни, как и улицы «красных фонарей», пусть селятся вдали от центра. Да будь оно все неладно. Одно я сегодня знаю точно: если телевидение, газеты, журналы несут агрессию, происходит деградация души. Душа! Это та драгоценная субстанция, которую я должна сохранить для зрителя. С ней я к нему выхожу.

Какое замечательное чувство — освобождение.

P.S. «Мы хотели бы сделать о вас один фильмец…» Фильмец? Это конец. Это…

Глава семнадцатая. Марк

Конец книги «Аплодисменты» счастливый. У меня родился внук. Марк. Марк! Марк!!! Опять я с этими своими восклицательными знаками. Я к корням, к своему папе.

Он и мой папа, и дедушка Маше, и прадедушка Марику.

«Лёль, ну почему ты не назовешь меня Мариком?
Марк — ето як-то… Не… Марик, Маричик, як приятно…»

— Люся, мне так нравится мое имя Марк. Не встречал такого. И в школе я один Марк.

— Ах ты, мой сыночек, как ты все понимаешь. Как же мне радостно слышать это.

Я была такая счастливая, когда ты родился. Мальчик и Марк! Когда ты был маленький, ты спросил:

— Люся, а правда, что ты моя бабушка?

— А кто тебе сказал? — Мне один мальчик из нашего двора это сказал. А ты ведь Люся?

— Конечно, Люся.

— Люся, этот мальчик нехороший. Он мне такой взрослый анекдот рассказал… ну, совсем взрослый. Я люблю тебя, Люся.

Когда Марику было лет одиннадцать, он мне позвонил и намекнул, что ему очень хочется сапоги-«казачки». Я засмеялась, потому что все решалась, купить или не купить себе «косуху». Вот, думаю, оба туда же. «Люся, я все понимаю. Я тебя люблю».

На моем дне рождения в девяносто пятом он был с Машей-мамой и с Леночкой Капошной. Так ее называла моя мама. Лена все время что-то складывала, перекладывала, копошилась в своих игрушках. «Барыня-коробочка» — сказала бабушка Лёля. Она была остроумной женщиной. «Капошная» — смешно и весело. Мне нравилось, хотя Леночка больше любит, когда ее зовут Аленкой. Я и не спорю, но разве можно объяснить, почему, когда произносишь «Капошная», внутри разливается особое родственное счастье. Слов для объяснения нет. Счастье разливается. И всё.

В тот мой юбилей Марик-Маркуша-Маричик-Марк всех очаровал своими немногословными, но точными и не по возрасту осмысленными тостами. А главная мысль все та же: «Я все понимаю. Пройдет время. Всё и все станет и станут на свои места. Я тебя люблю, Люся».

Больше всего мои детки любили походы в «Макдоналдс». Все четко, все чисто, все быстро. Здорово, не по-нашему

вымуштрована наша российская молодежь. А еда — вот тут стоп. От этой еды в Америке каждый пятый-шестой необъятных болезненных размеров. Люди как студень, как холодец. Своими глазами смотрела и подсчитывала, сидя на 6-й авеню в Нью-Йорке в итальянском ресторане. Сидела и смотрела в окно на прохожих.

Вот идет мужчина с собачкой и с совочком. Под мышкой несет пестрый и весело расписанный пакетик. Думаю, ну, совсем с ума сошли. Собачье говно в веселый пакет. Оказывается, за собачью грязь на улице большие штрафы. Если полицейский не засечет, то любой прохожий устроит громкий скандал, вызовет полицейского. Ну просто все стукачи. В стране приучены к порядку.

И вот сижу. Смотрю в окно и считаю: четвертый, пятый и шестой — о! Шестой, а вот пятый — ну, необъятных размеров. Но идет с улыбкой. Одышка ему не мешает. Идет в ярком наряде. Идет как советский человек, который шагает семимильными шагами и верит, что вот тут, не за горами, его ждет неизбежный коммунизм. Выражение лиц у этих толстых американцев такое родное. Ведь я точно так же, с таким же светлым и счастливым лицом долго бежала к нашему светлому будущему. Должна признаться, что таких жоп я в нашей необъятной стране ни тогда, когда она была одной шестой частью мира, ни тогда, когда она стала просто Россией, ни в одной другой стране ни разу не встречала. Такой оригинальной, уникально устроенной задней немаловажной части тела — нет, не встречала!

Что такое, по-нашему, толстый человек? Когда много бедер и они плавно переливаются в то место, где была раньше талия. Ну, немного живота, а главное — пушистые бедра. А теперь поставьте человека в профиль. Ну опять же — живот. Но главное — человека много. Он — урожай.

Но это наш, российский урожай. А если заморский, то картина — о! Заднее место в профиль отстает сантиметров на тридцать, а то и на все полметра. Оно колышется и улыбается. Оно живет своей жизнью. Когда я первый раз увидела такой профиль, я неприлично ойкнула на всю улицу. А «профиль» идет себе весело и бодренько и ни в зуб ногой. Это было возле «Макдоналдса». С тех пор он у меня всегда ассоциируется с пышным задом и со скороспелыми химическими гамбургерами.

Когда у нас открылся первый такой буфет-забегаловка и стояла очередь как к Ленину в Мавзолей, занесла меня туда нелегкая с друзьями. Наелась до одури и с собой еще прихватила кулечек с нежными яблочными пирожками. Вечером съела остывший пирожочек — все! Смерть мухам и тараканам.

«Макдоналдс» — закрыт навсегда.

Но детишки умирали от этого буфета. Ели-ели, уже и джинсы порасстегивали. А Капошная превращалась в Капошенную. А все хочется и хочется, нравится и нравится. И это, и это. И с собой кулечек. Для бабули Лёли. А в машине хруп-хруп. Что делать? Ведь Лёля так любила кушать. Больше всего на свете. А они ведь ее правнуки! Передалось через поколения. Нет, пойду-ка я к своим деревенским тетушкам на базар. Там еще осталось что-то живое, натуральное. Почему я пишу о всякой ерунде, вдруг сейчас пришедшей в голову? Глупости все это. Все огородами да околицами. Почему? Да потому, что не могу вот так, реально, понять, представить, произнести. А написать…

Умер мой Марик. Все. Его нет. Декабрь 1998 года. Ему было 16 лет. За три дня до этого мне сделали операцию гнойного гайморита, заработанного еще в семьдесят пятом году на съемках фильма «Двадцать дней без войны». Делала я десятки проколов, но вот лежу в больнице. Надо сделать операцию. Это декабрь. А в мае я уже сделала операцию справа. Теперь слева. Лежу и все думаю, думаю, вспоминаю, что все мои болезни я заработала, как говорил папа, «честь по чести» на своей любимой работе. В кино. Все: перелом ноги, откуда все разладилось в организме после общих наркозов, болей, костылей, палок. Мучительный гайморит. А сколько мелких травм и холециститов с колитами. Лежу и думаю, что через две недели у меня спектакль, где нужны большие физические и душевные силы. А после этой операции — плохой анализ крови. Лежу, думаю, слышу, вижу, вспоминаю, веду диалоги…

Ах ты, моя любимая Родина! Все тебе отдала. Что ж ты так… Не могу себе позволить не работать. А как жить? Нет, лучше не думать о годах, силах, возрасте, деньгах…

Ну, когда же придет Сергей Михайлович? Но вот он пришел. Ходит по палате и молчит. Молчит и молчит. Да что же это такое? И точно, как почти во всех сценариях «она взяла себя в руки». Я взяла себя в руки и молчу. Кто кого перемолчит. Эта странная зловещая тишина затягивалась.

— Ну, рано или поздно все равно будет известно. Я не могу молчать. Случилось… случилась… трагедия с Мариком.

— В Англии?

— Нет, он уже прилетел.

— Заболел?

— Нет.

— Попал под машину?

— Нет.

— А что хуже? Ну не умер же?!

— …

— Умер? Господи! Да вы что?!

— Позвонил на автоответчик парень и сказал, что с Мариком несчастье, срочно позвоните ему домой.

Он умер от передозировки. В шестнадцать лет. От меня скрывали. Вот откуда невероятные повороты в поведении моей мамы, Маши…

Нет моего любимого мальчика. Ах, какие у меня были на него надежды.

«Люся, я все понимаю. Я тебя люблю».

Всё. Рухнула моя радость. Разрушились мои надежды. Больше мне терять нечего. Нечего и некого бояться и стесняться. Вхожу теперь, не оглядываясь, в свой подъезд. Могут подстрелить из-за угла и чем-нибудь жахнуть по голове. Да черт с ним! Все равно! Свобода. Демократия! И никто не узнает — кто, за что и почему. Кто Листьева? Кто Старовойтову?

Когда я росла в закрытой невыездной стране и ждала светлого будущего, людей сажали в черный воронок, как врагов народа. А через двадцать лет реабилитировали за «неимением улик». Так когда же было лучше жить? Тогда или сейчас? Это точно, что не дай вам бог жить в «переходный период». Да, демократии американской двести лет. Но я живу сегодня. Сейчас! Сей-час!

В Институте кинематографии я впервые узнала слово «репрессия». Отец моей дочери Борис Андроникашвили был сыном писателя Бориса Пильняка. Естественно, такой фамилии не знали, о таком писателе не слышали. В двадцатые и начале тридцатых его имя гремело. Загремел он в тюрьму после «Повести непогашенной луны».

На даче Пильняка в Переделкине в 1937 году отмечали день рождения его сына Бориса. Сыну было три года. В гостях друзья — известные писатели, художники. Борис Пильняк вдруг отозвал жену и, глядя в окно, сказал:

«Кира, это за мной».

Вышел из дому и сел в черный воронок:

«Я скоро. Иди к гостям».

Больше его никто никогда не видел. А вечер продолжался.

Борис, естественно, носил фамилию матери — Андроникашвили. Она отсидела как жена врага народа четыре года. Кира Георгиевна Андроникашвили была женщиной необыкновенной. Красоты совершенной. Высокая и аристократически худая. Понимаю, что так не выражаются, но иначе не могу, не знаю. Просто аристократическая женщина. Во всем. Как ела, как говорила, как умела слушать и слышать. Как

отличала человека, изнутри деликатно устроенного от Бога, от начитанного умника. Иногда я думаю, что для встреч с такими редкими людьми тоже стоит жить. Я ее ждала у прокуратуры, где она получила маленькую бумажечку: «Борис Вогау (Пильняк) посмертно реабилитирован за неимением улик». Ни где, ни когда умер или убит, ни где похоронен. Ничего.

Пильняк — это псевдоним. На хуторе Пильнянка он написал свой первый рассказ. С 28 октября тридцать седьмого года до лета пятьдесят восьмого обвинялся. А улик «неимение».

Для меня открывались вещи невероятные. А как же 1 Мая? Самый светлый праздник! А как же «за Родину, за Сталина»? А как же Победа? Все тогда перемешалось в моей темной совковой голове. А может быть, большинство людей верили и не знали этого? Вот как я? Если бы я впустила тогда в свою жизнь эту трагедию на сто процентов, — нет, ничего бы я не сыграла. Ничего. Не было бы ни «Карнавальной ночи», ни «улыбки без сомнения». А поселились бы одни горькие сомнения. Тупик.

> «Не-е, дочурка, я так думаю, што у нашей семье, вокурат, собралася уся советская власть! А може, даже и увесь плюс электрофикация усиеи страны. Во якое дела».

Когда я рассказала папе, что за реабилитацию семья получит тринадцать тысяч рублей, он долго думал, долго соображал, смотрел в окно. Очень долго.

> «Так ето же целое богатство, если до войны, а если на сегодня… не, на сегодня ето полный пшик. Ничёгенька не понимаю».

Папа опять был в большом несогласии с любимой Родиной.

Ах, мысли мои, скакуны. Начинаю одно, а залезаю в дебри. Но это же не кино. Там я профи. А тут… Ну, пошли «дальший».

Я вылезла из больничной постели. Оделась. Из больницы надо выйти незаметно. Приводить себя в порядок — не до этого. Нужно стойко все выдержать. Я должна. И мы с Сережей поехали на кладбище. Ну, как же я не буду со своим мальчиком Маркушей в последний час? Да я себе не прощу до смерти. Я знала, что там будут люди, которых я не знаю. Знала, что все понимают, — есть загадка в нашей, внезапно расколовшейся, семье. Ведь позвонили не Маша и не Саша — родители Марика, а кто-то из его товарищей. Я знаю, что он меня любит и ждет. Я иду к нему.

Он жил со своими родителями, которые захотели детей воспитывать по-своему: платные колледжи, зарубежные поездки, учеба в Англии — так, как принято в последние годы в имущих

семьях. Какое-то странное было соревнование. Вы известная артистка, но мы тоже не лыком шиты. У вас одно видео, а у нас два. У вас, у нас и т. д. Когда и откуда это появилось?

Моя Маша никогда не кичилась известностью своей мамы. До замужества была незлобивой, не завистливой и не хвастливой. Девочка красивая, приятная, хоть и несобранная. Ее муж — одноклассник. Девочками не увлекался. Увлекался обменом и перепродажей книг, тогда они были в цене. Ходил в поношенных вещах. Вот, думала, скромный парень, не будет упрекать мою дочь, что преподнес ей машины, роскошь и деньги.

И свадьба была в «Национале» приличная. И они были счастливые. А главное — сразу же въехали в свой дом. Может быть, по сегодняшним понятиям это не событие, но в июне восьмидесятого года въехать в трехкомнатную квартиру с одной соседкой! Ого! Мечта! Две свои комнаты. А когда умерла соседка, — и все три комнаты свои. Для меня это была московская хрустальная мечта. Она сбылась в тридцать лет. Одни сейчас, может быть, и посмеиваются надо мной, а другие, постарше, еще как понимают, какое это счастье жить без очереди в ванную и туалет.

Зять заканчивал институт, а моя Маша после медучилища все переходила с одного места работы на другое. Все что-то не ладилось. Все что-то забывала, в общем, работала без души. Ну раз, ну два, ну три я ходила, улыбалась. А потом чувствую, что больше улыбаться не надо. Не помогает. Ах, как это знакомо по ее отцу. Нигде не задерживался. И однажды приехал ко мне в экспедицию фильма «Роман и Франческа» и оповестил:

«Я ушел из министерства культуры. Не хочу я быть чиновником, получать жалкое жалованье, вставать в семь утра. Хочу быть свободным художником, вольным писателем».

Хорошо. Будь им. А жить на что? Вот последней фразы я не сказала, а еще больше стала вкалывать, не надеясь ни на кого.

Моя Маша стала суше, деловитее. С работы ушла. Она не понимала, кого слушать, по каким законам жить. Если по моим, то это скучно. «Что бы ни случилось, себя не распускай, старайся быть собранной, не сутулься, не кури». Она знает, что для меня ее курево. Папа всю жизнь после войны преследовал маму за курение. Но она все равно курила тайком. И если не успевала точно рассчитать папино возвращение, она вскакивала в испуге и махала руками, разгоняя дым. А папа тихим угрожающим голосом говорил: «Затуманиваете, Елена Александровна? Ну, я вам щас затуманю!» Это обращение на «вы» ничего хорошего не предвещало. И мама со скоростью пули вылетала во двор.

«Во, брат, як з дитями на массовки, так ели ходить, а тут — блысь, и нима! Во человек, мамыньки родные! Ну, што ты скажиш…»

Ну, вот и Маша меня боялась с этим куревом. А с бабушкой Лёлей они курили вдвоем всласть.

А ведь было светлое время. Свою первую стипендию она потратила на нашу, тогда веселую, дружную семью. Мне купила шляпку. И хоть с размером не угадала, но сознание, что дочечка не забыла о маме… Нет, это редкая, счастливая минута. Ее не забудешь.

А потом началась атака. Квартиру нам большую. Квартиру. Квартиру. Все остальное — это, с легкой руки зятя, «подачки».

Начались мои мытарства с квартирой. Я не могла ему объяснить. Мне было стыдно. Да, я имею известную фамилию, но нет у меня дара заводить знакомства с нужными людьми. Нет дара! Ладно. Звоню на Старую площадь. Записываюсь на прием.

Интересная жизнь! Со мной иногда происходят такие странные истории. Шла я на Старую площадь в октябре. А до того, в мае, то есть на 9 Мая, летела в Минск. Я люблю этот город с детства. Он первым принял на себя удар войны, сильно пострадал. Он мне родной. В этом же самолете летела правительственная делегация. На аэродроме все пассажиры ждали, когда выйдет первый класс. Ну, «ето як закон». Затем стали выходить на трап и простые люди. Подходит ко мне стюардесса и шепотом сообщает, что меня ждут внизу в черной «Чайке». И, раздвигая людей, повела нас с Костей к машине. И тут я слышу. Надо сказать, впервые о себе слышу.

«Ну, как же можно… наше, наше народное достояние и где-то в хвосте. И поедет общим автобусом? Нет-нет. Садитесь, пожалуйста. А ведь вы у нас, на Старой площади, не бывали? Других ваших видели частенько».

А за нами следом летела серая филармоническая «Волга». Весь взволнованный облик «Волги» говорил, кричал: «Товарищ Гурченко! Что же вы с нами делаете? Куда вас везут? У них же гостиница правительственная, а нам с вами совсем в другую сторону!» Около правительственной гостиницы из «Волги» выскочили перепуганные женщины, бросились ко мне пожимать руки, обнимать и так радоваться нашей встрече, ну, как будто я, по крайней мере, уцелела после катастрофы, землетрясения, как будто я их единственная на земле, родная и любимая. И тут же, тихонько косясь в сторону правительственной делегации:

— Мы с вами едем в другую гостиницу.

— Почему? — громко спросил тот голос, что говорил о

народном достоянии, — сейчас наши люди все оформят. — И положил передо мной номер свежей минской газеты. Праздничная, цветная газета с советским флагом. — Вот мой телефон. Если будут у вас вопросы, звоните, не стесняйтесь.

— Нет, я никогда не звоню.

— Вот поэтому я вам и записываю. Жизнь вещь непредсказуемая. Желаю вам хорошо выступить.

Костя газету ту сохранил. Да, жизнь штука непредсказуемая.

— Товарищ Гурченко, проходите, — сказала секретарша. Дверь открылась, навстречу вышел сам начальник, тот самый, что говорил «достояние».

— Ну, что у вас? Какие проблемы?

И я как расплачусь. Безнадежно, горько и устрашающе. Иногда я вижу себя в том кабинете, вспоминаю свои не к месту слова, слезы, замерзшие руки… Они проходят через всё… И задыхаюсь.

Вижу, как изменилось лицо начальника. Что могут подумать там, за дверями? А что мне сказать? Что нужна большая площадь? А кто они, где работают, почему увеличение? Знаю, какие очереди. У меня в мозгу смешались все мои углы и комнаты в коммуналках. И счастье, когда выкупила квартиру на Маяковской. И даже зависть и гордость, что моя дочь имеет в двадцать лет свою площадь… А когда у меня появилась трехкомнатная квартира? В сорок семь лет, на проспекте Мира, когда сломала ногу. И в мою двухкомнатую на Маяковской после успешного проката нескольких фильмов приходили зарубежные фестивальные гости и корреспонденты. В глазах у них полное недоумение: и вот это звезда?

Я придумала выход — принимала всех на ковре. Говорю, у нас обычай такой. А что? Посуда красивая, водка разлита в разноцветные штофы. Было очень даже весело. Режиссер Роберт Уайз (он снимал «Вестсайдскую историю») был со своей женой в гостях. Я их одарила хорошими сувенирами. Уходя, он заметил:

— Теперь я все понял про вашу страну. У вас действительно все равны. Наш водитель имеет собственный дом, правда, не в центре Нью-Йорка. В центре у нас квартиры дорогие.

Я сразу расправила плечи. Как и следует настоящей миллионерше.

— Да, — говорю, — мы здесь сейчас в Москве. Ведь фестиваль… — Хи-хи-хи да ха-ха-ха… — А так — на даче…

Эх, дорогие мои заморские гости! Какой бы это был феерический сценарий! Звезде двадцать лет. Сверхпопулярность! Прописана домработницей. Да так и назвать фильм — «Звезда-домработница». Производство ордена Ленина киностудии

«Мосфильм». Идет эмблема Мухиной «Рабочий и колхозница». Жанр — трагифарс с музыкой.

Когда из моих неточных фраз и объяснений не к месту… ну, говорят же некоторые женщины вместо «я ничего не понимаю в политике» «знаете, я абсолютно аполитична». Вот так и я тогда. На Старой площади. Ах, как не хотелось возвращаться домой и видеть недовольные лица. И чувствовать себя врагом семьи. Ну, вот я пошла. Я уже сижу. Уже не плачу. Слушаю.

— Это новое поколение, что вы хотите… А то, что муж должен привести жену в свой дом. А иначе не женись. Это давно забыто. Ладно. Что же придумать? Тридцать четыре метра? По норме не проходит. А первый этаж невысокий? Надо проверить по линии санэпидемстанции.

Записал телефон, адрес и отпустил меня с богом. В скверике на Старой площади меня ждал Костя. Я бросилась к нему. Он меня утешал. Да, будем ждать, надеяться. Ну, думаю, теперь жди этой станции. Но ровно через три дня пришла комиссия. А через время поставили на учет. В доме обстановка сразу потеплела. Ну! Что?

Да ты моя родная советская власть! Да больше такой в мире нет! И опять бескрайняя детская любовь к Родине, к красному флагу, к гимну, вера в советское завтра.

Ура! В меня влились новые силы, и я опять поехала петь, играть, веселить, рассказывать, отдавать людям влившуюся в меня новую энергию.

А «Время» в это время круто завертелось. Райкомы и обкомы разрайкомивались и разобкомивались.

Но разве это сразу распознаешь, если с детства привык, что они оплот, авторитет, власть. Нет, я еще неслась на прежних волнах любви к непобедимой Родине. Эх, папусик, родной, ну еще раз мне скажи, как ты меня в пеленках выносил из роддома. Ну, ну, пожалуйста.

> «Глянь, Лёль, у всех детей морды красные, а в моей клюкувки морда розовая и все влыбается. Не, Лёль, вот тебе крест святой, актрисую будить, ув обязательном порядку. Мою дочурку увесь мир будить знать, а женихи усе окна повыбивають…»

О, сколько раз я слышала это в разных папиных интонациях. И в пьяных, и в торжественных по случаю Дня Победы. И на Новый год или 1 Мая. Нет, на Новый год не помню. На Новый год много елок — самый большой заработок в году. Артисты это знают.

Стоп, Люся. Куда тебя заносит?

Позвонил Марик и спросил, можно ли он зайдет к нам в гости со своим товарищем. Сережа к нему очень нежно относился, у них были несентиментальные мужские отношения. Марика он называл Марчелло. А Марику это нравилось. И он громко смеялся. Он чувствовал, что мы очень счастливы его звонку и ждем его с другом. На меня его друг смотрел во все глаза. Узнал меня. Значит, правда я родственница Марика. Сначала они были робкими, а потом оттеплели, развеселились. Марик снова говорил, что все понимает, что все переменится. Вот они с другом придут на спектакль, если он не уедет учиться в Англию, как обещал его папа.

«Люся, я знаю, что ты хотела, чтобы мы учились в общей школе. Нет, Люся, в колледже хорошо. Там охраны у нас больше, чем учеников. Утром нас с Леной отвозит папин водитель, а вечером нас забирает мама. Нет, Люся, наверное, здорово учиться в Англии, так интересно».

Я оправдывалась. Меняются времена. Может быть, я уже чего-то не понимаю…

Пришел ко мне, как чувствовал, что больше не увидимся. Уехал в Англию до спектакля. Больше я его не видела.

Вижу сейчас. Совершенно незнакомый мне молодой мужчина лет двадцати пяти. Красив как бог! Бедный Ди Каприо… Не узнаю мальчика. Моднейшая стрижка, голова выкрашена в светлые тона, черты лица заострились, ушла детская пухлость и смешной широковатый нос. В лице все выстроилось в совершенную красоту. Длинные густые темные ресницы и изумительные верхние веки. Декабрь. Холодно. Какой-то мальчик опустился на снег, закрыл лицо руками и раскачивался из стороны в сторону. Больше я ничего не помню. Молчание. Говорить нечего. Непостижимо. И беспощадно страшно. Приехать из Англии, чтобы умереть? Когда это началось? Может быть, тогда, когда…

Лето. Дача. Буйный зеленый июнь. Любимое время года. Одурманивающие запахи травы, земли, сирени и черемухи. Жужжат пчелы и шмели. Вороны со стола уносят хлеб и металлические сетки для мытья посуды. Небо голубое-голубое. Все как-то здорово разложилось по местам: и работа, и состояние духа.

В стороне Маша и Саша о чем-то беседуют. Маша стоит ко мне спиной. Хороший, любящий и работящий зять «попался» (как говорил папа, если знакомился с добрым человеком). Моя мама, правда, не в ладах, а иногда и на ножах с Сашей. Но чего только не бывает в семье. Мы с Костей его успокаиваем. Она ведь уже в возрасте и т. д. У Маши и Саши любовь. Детки бегают, играют, орут и смеются. У меня две картины. С Костей полное

взаимопонимание и редкое человеческое, товарищеское, супружеское доверие. Доверие! А это главное. Ну, в общем, состояние полной эйфории, сравнимое с тем безмятежным блаженством, которое я чувствовала за десять минут до того, как клоун Олег Попов на съемках детского мюзикла «Мама» упал мне на ногу, размозжив кость на девятнадцать осколков.

Я стояла на льду на коньках и думала: «Вот я и дождалась. Я дождалась своего счастья. Меня приглашают сразу в несколько фильмов. Несколько ролей. Да каких!» А через десять минут — хлоп! И конец эйфории. Больница, операции и… Маша и Саша все еще разговаривали, но вот она повернулась ко мне лицом. И я увидела, что она плачет. Я посмотрела на маму. Моя мама стояла, крепко сжимая кулаки, — верный признак того, что она еле-еле себя сдерживает (я это знаю с детства). Значит, она эту сцену наблюдала раньше. А может, даже знает причину Машиных слез. У меня с Сашей всегда были чудные отношения. Машины недостатки я знала. Я всегда была на его стороне. Они заметили, что мы с мамой все видим. Саша отошел от Маши, приблизился к нам и сел на скамейку. Я искала глазами Костю, и, как только он увидел мои встревоженные глаза, сразу напрягся — в чем дело?

— Что произошло, Саша? Почему Маша плачет? — шепотом спросила я у него.

Молчание. Молчание долгое. И сразу же на всех нас, до этой поры безмятежных и счастливых, напало такое оцепенение, такое напряжение. Что делать? Моего папы нет. Если бы он был с нами, подобного не случилось бы. Да он просто не допустил, не запустил бы ситуацию так далеко. Он был так чувствителен к бугоркам и неровностям в отношениях. Но его нет. Давай, Люся, выступай. Твоя роль. И больше актеров на эту роль нет.

— Понимаете… мне бы такую, как вы…

Что? Это что, про меня? Ударило в виски, подпрыгнуло сердце, я мгновенно оглохла…

И только где-то далеко веселые крики Марика и Леночки, лай нашей собачки и карканье ворон. Моя голова распухла. Ее заполонили инородные тела и мрак. И боль! Боль острая, неотвратимая. Думаю, что это была не я. А та, которой я бываю, когда надо защищать родных, близких, себя, свой дом, свою Родину.

— Ты знаешь, милый, я бы с тобой… рядом не села.

Что там гоголевская немая сцена в «Ревизоре»! Моя мама упала на скамейку. Маша сразу перестала плакать. Костя притих. В прямые бои он не вступал. Что делать, у меня в таких ситуациях, после смерти папы, никогда защиты и опоры не было. Я знала, я чувствовала всем своим существом: за этих детишек, за

Машу, которую подняли без отца, я вот сейчас, сию минуту, могу собой закрыть амбразуру с самой страшной ракетной установкой. Знай это, папочка, и будь спокоен.

В то время у Саши уже были «отношения»… Из семьи он ушел. Позже до меня доходило: «Кому ты нужна с двумя детьми». Это тоже надо пережить.

Ну, что теперь об этом говорить… Ведь меня могло и не быть здесь, на кладбище. Маша не позвонила. Мама не позвонила.

«Люся, а ты знаешь, у меня в школе записано, что моя мама — Маша Гурченко, а у Капошной уже нет. Тогда папа уже вернулся».

За этой фразой стоит многое. Значит, тот год оставил в нем большой след. Ему тогда было семь лет. Год он был в доме единственным мужчиной. Тот год… Маша с двумя детишками выходит из трамвая. Одна на руках, другой держится за юбку. Как две обезьянки. Разве это видение когда-нибудь может изгладиться из памяти? Год приводили Машу в прежнее состояние. А Марик в семь лет пошел на почту разносить газеты. Пусть, думаю, с самого детства не чурается никакой работы. Они за ручку с Леной и с Машей носили почту, работали. А значит, выживали. Отдали Машу на курсы вождения. Отдадим ей машину, будет легче с детишками. Костя покупал билеты на все детские спектакли Москвы.

А Саша подал на развод. И тут моя мама резко выступила против развода. Надавили на меня. Здорово надавили. Ладно.

«Скажи, Маша, в суде так: «Я сама выросла без отца. Знаю, что это такое. Я хотела бы сохранить семью».

Их не развели. Назначили повторный суд.

«Маша, боже сохрани, такой позор. Как-нибудь переживем».

Но. Но!

«Это ты такая. А мы с Машей другие» — такая была позиция моей мамы. Но их развели. Моя мама сильно упала духом. Она понимала, что сильно перегнула в отношениях с Сашей. А я все читала (по-моему, впустую) лекции Маше:

«Вот мы смеемся с тобой над Лёлей, когда она причитает, что жизнь сложная штука, а ведь это правда, Машенька. Ни кино, ни театр, ничто не может сравниться с искусством жить. Тут и ум, и терпение, и хитрость, и лукавство. Да-да, Машенька. Искусство жить — это искусство и одеваться, и т. д. и т. п.»

— Мам, опять звонил Сашка. Не знаю, чего он хочет. Говорит, что забыл какие-то провода и что-то еще… Хочет заехать. Я тут же тебе перезвоню.

За год Маша расцвела. Опять идем по улице, и все заглядываются на нее, как раньше. Какая же я была счастливая.

Ждем с Костей звонка. Ждем час, два, четыре, пять. У них телефон занят. Костя поехал к ним. Вернулся и сказал: «Они сошлись».

Ну и слава богу. Никогда не лезть в семью. Я хорошо знаю, чем это кончается. Помогла, когда нужно, чем смогла, и живите сами. Они опять расписались. И именно в то время начался затяжной конец моей истории длиной в семнадцать с половиной лет. «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса».

Точно сказано в Писании: «Если ты имеешь дочь, и она вышла замуж, то у тебя может появиться родной сын. Или ты потеряешь дочь».

Папы нет уже двадцать восемь лет. Марика нет три года. Они, мои два любимейших на свете Марка, лежат теперь на одном кладбище. Думала ли я об этом, когда он родился?

Марик, Марк!

Глава восемнадцатая. Здравствуй, кляча!

Шел третий, во многом еще сырой спектакль «Бюро счастья». Я знала, что в зале находится режиссер, с которым связан тот наш первый ошеломительный успех. Теперь, с расстояния в сорок пять лет, этот успех особенно очевиден.

Эльдар Рязанов. Много артистов снималось в его фильмах. Он сам написал много интересного и о своих фильмах, и об артистах, и о себе. И все же ни один актер так не связан с ним, как я. И от того карнавального времени остались на свете в общем-то несколько человек.

После спектакля небольшой фуршет. Рязанов мной был доволен. Доволен был моей работой. Врать он не умеет. У него все на лице. Он тоже Скорпион. На него тоже лучше не нападать.

— Люся, сейчас дописывается один сценарий. Он сделал паузу.

— На какую тему? — спросила я, чтобы заполнить паузу.

— Да вот, название… Думаю… название будет «Старые клячи».

Вот почему была совсем «нерязановская» пауза. Он, видно, не забыл, что я однажды отказалась играть в его фильме «Небеса обетованные», хоть и роль писал в расчете на меня. Тогда я сказала, что «еще успею, Элик, это у меня впереди». И это он тоже, конечно, помнил. Ух, Рязанов. Скорпионище. Все помнит.

— Элик, ей-богу, противно, что «старые», но то, что «кляча», это точно про меня.

А в голове тут же созрела реплика: «Да какая разница…» Откуда эта реплика? Одна моя знакомая была увлечена одним человеком, довольно красивым, но у него от природы было на руке четыре пальца. А я, дура, у нее тогда еще спросила: ну как же, как же ты с ним можешь, у него ведь четыре пальца? И она мне просто-просто, буднично-буднично, как будто думала о чем-то другом, сказала: «Да какая разница…» Замечательная интонация.

Стою с Рязановым, еще ничего не знаю о роли, но уже увидела себя без зуба, с пучком полуседых волосиков, но вертлявой и несдающейся. Хорошо бы это совпало. И совпадет. Когда у меня подруга спрашивает: «Почему зубы не вставишь?» Я ей отвечу: «Да какая разница?» А вот того, что придется перепрыгнуть возраст, чтобы сказать молодому мужчине: «Вася, тусуйте меня!» Вот этого я еще не знала.

Ах, как я целовала художника по костюму Наташу Иванову за выцветший, когда-то розовый, теперь бежевый костюмчик годов эдак шестидесятых, который еле-еле сходился на груди. Праздник! А ровно в следующем кадре иду помолодевшей царицей по консерватории соблазнять молодого человека. Какое оживление в зале… Слышала сама. Значит, все рассчитано точно. Одеть актрису красиво — плевое дело. А вот найти вещь, которая говорила бы сразу о многом: о характере, о достатке, о прежних вкусах, о настроении на сегодня…

Четыре актрисы. Актрисы, которые известны и любимы публикой. У каждой за плечами большие интересные работы в театре и на экране. У всех у нас есть свои сольные куски. У всех всего поровну.

Сейчас, когда картина прошла по стране, вспоминая о работе в ней, в первую очередь я думаю об Эльдаре. В последний съемочный день приехал наш генеральный продюсер Владимир Досталь с шампанским и поднял тост:

— Все согласятся, если мы выпьем за главного человека — Эльдара Рязанова.

Согласятся абсолютно все.

Эльдар в картине был прекрасен. Ему интересно было работать каждый день. Я это видела. Он, если доволен, «худеет» на глазах. Это его особенное свойство.

— Элик, кого я играю?

Она из всех «кляч» артистка. Артистка по жизни. Всю жизнь «профукала» с подружками, увлечениями, «любвями». И осталась одна. «Профукала». Ясно. Отсюда и будем плыть. Только бы дать «образу» время прорасти, а какая спешка…

С первого съемочного дня, а вернее, с первой записи песни из фильма я себе зарубила на носу главную мысль. Все мы, все четыре «клячи» — пассажиры одной лодки. Соперничество в таких шатких морских условиях глупо. Главное, чтобы лодка не накренилась, чтобы не утонула. Ни на что болезненно не реагировать. Не вылезать. Не ввязываться. Не слышать того, что может отвлечь от главного. Все в одинаковых условиях. Работать друг для друга. Где боком, где спиной, где на общем плане. Главное, быть на месте в эпизоде, когда главную скрипку играет одна из нас.

Первой в этом фильме была не съемка, а запись песни матери. Сын одной из нас в Афгане.

Не к добру так ветер завывает,
Мой сынок давно не пишет мне…

Я пою в студии. Рядом Эльдар и музыканты. В окошко я вижу звукорежиссера, композитора Андрея Петрова и трех своих партнерш. Мы еще знакомимся, притираемся. Это первые встречи, хотя с Лией Ахеджаковой снимались. С Ириной Купченко десять дней дружно провели в Аргентине на неделе советских фильмов. А со Светланой Крючковой встретились впервые. Конечно, первые звуки они и есть первые, пробные. Но картина ворвалась сразу же в жаркую работу. Без подготовительного периода. Все очень быстро. Все с ходу. Соображать, прикидывать и пробовать некогда.

Я спела песню. Эльдар был доволен. Та песня — камертон большого эпизода, когда зрители понимают горе героини Лии Ахеджаковой. Через несколько дней ассистент режиссера мимоходом бросает реплику: «Вообще-то нужно было бы переписать песню. Эльдар не очень доволен».

Стоп. Я Эльдара знаю очень хорошо. Своего он добивался бы еще и еще раз. Ночь не спала. А ведь это только начало картины. Что будет дальше? Надо напрямую спросить Эльдара. И если нужно, песню переписать.

— Элик, если не очень получилась запись… я с удовольствием перепишу.

— Кто сказал???

Ярость, которая охватила его мгновенно (я уже знаю и это его состояние), показала, что этого его недовольства не было. Он в один момент прекратил все закулисные «штучки». Может, они ушли в подполье, но явных подобных ситуаций почти не было. Люся, стоп! Ни на что не реагируй. И я работала как ни в чем не бывало.

Вот он типичный момент интриги. Значит, кому-то это было нужно. Не надо разбираться в этом. Любить в кадре своих подруг. Ничего не слышать о них негативного за кадром. Близко ни с кем не сходиться. Значит, чему-то все же меня жизнь научила. К большому сожалению, человеческий контакт, доверительность — дефицит сегодня в кино, в театре.

Эльдар. Он титан. Остановилась картина «Тихие омуты», нет больше денег. Скудные государственные средства кончились. Доставай, режиссер, сам. Досталь предложил Эльдару сценарий «Кляч» и деньги, о которых говорят: «малобюджетное кино». Семьсот тысяч долларов. Две серии. А вот теперь и посчитайте, уважаемые зрители. Все ведь пишут о бюджетах США. Там только еле-еле звезда получает не менее полутора миллионов. А большие звезды! О! Джулия Робертс сейчас получает за роль двадцать миллионов долларов. Это так, на всякий случай справка. А Любовь Орлова до последних дней ездила и выступала

в клубиках от Бюро пропаганды советского кино.

Звезда — это свобода! Свобода от быта, от обязанности зарабатывать любым путем на жизнь. А ведь вся жизнь на глазах! Как держать уровень? Потому к слову «звезда» в наших условиях отношусь с глубокой и грустной иронией. Да! Звезда светит издалека. А не стоит в очереди за сосисками…

А ведь я была однажды западной звездой. Недолго. Три дня. Осенью девяносто первого года в Германии снимался фильм «Гардемарины». В этой картине я играла немецкую герцогиню Цербстскую, мать будущей Екатерины Великой. Фильм снимался и в Венеции, и в самых роскошных замках Московского Кремля, и в Петродворце. А в Германии снимали в старых холодных немецких замках. Эффектно, величественно, но очень холодно. А вся наша съемочная группа разместилась в общежитии командования советских войск. Я жила в генеральском номере. Огромные комнаты с кухней, кроватями и залом для гостей. Именно из этого номера мы с Костей за несколько лет до того ездили с концертами по гарнизонам для солдат и офицеров Советской армии. Тогда мы удивлялись: какой огромный номер. Тогда еще висели на стенах портреты советских руководителей ЦК. Теперь — только светлые квадраты на полинялых обоях. Жизнь в этом советском доме на красивой германской улице остановилась. «Что же будет дальше?» — спрашивали стены.

Тут-то меня и нашли немецкие кинематографисты. В Берлине открывали киностудию, ту самую, где во время войны снимались музыкальные фильмы с блистательной Марикой Рекк. Берлин воссоединили, отреставрировали и «подняли из пепла» разрушенную войной знаменитую киностудию. И как мне рассказали устроители, решено было выстроить концертную программу только из музыкальных номеров. Из тех музыкальных картин, которые набрали наибольшее количество зрителей в своей стране. Собрались актеры и актрисы из разных стран мира. Как вы думаете, почему обратились ко мне? Совершенно верно. Потому что «Карнавальная ночь» побила все рекорды по посещаемости в нашей великой и необъятной стране. Когда ведущий концерта объявил цифру, превышающую население страны, — зал вздрогнул. Оказывается, картину смотрели по десятку раз! Я сама ойкнула перед выходом на сцену. Вышла я в золотом костюме от Валентина Юдашкина. Публика, хоть и западная, оценила мое появление — и меня, и одежду, и резко поменявшийся свет в ожидании чего-то очень жизнерадостного и оптимистичного — очень-очень достойно.

Но все по порядку. Во-первых, меня переселили из генеральского номера в центр Берлина в небольшой отель,

известный тем, что в нем останавливались известные мировые звезды. Мои апартаменты не имели порядкового номера. Они имели название: «Грета Гарбо». И, беря ключ у портье, я просто говорил: «Битте, «Грета Гарбо». Много было в моей жизни роскошных номеров: и в Америке, и в Новой Зеландии, и в Каннах, и в Австралии, и в Маниле. Но такого изысканного, с удивительным изяществом обставленного старинной мебелью с саксонским фарфором! Ей-богу, не поверила. Перевернула тарелку — нет, точно фарфор настоящий.

О таких райских местах мне, наверное, и рассказывал папа после войны. Три комнаты в бледнорозовых тонах и позолоченная мебель. Комнаты на разных уровнях. Две ступеньки вверх — кабинет с роскошным письменным столом, — откуда вижу гостиную, а направо — спальня с огромной кроватью с замысловатыми золотыми узорами у изголовья. Лежу на кровати, а передо мной утопленный в стене телевизор — единственная современная деталь. Черт, как же красиво. Лежу одна на этой царской кровати и пропадаю напрасно. Даже поделиться не с кем. В Москву звонить уже бессмысленно. А маме все это неинтересно. Она старину ненавидела. Может быть, потому, что в 1925 году все это разрушили, как говорила моя бабушка, «подлючуги-провокаторы большевички». Может быть, потому. Маме было семь лет. В общем, поделиться не с кем. О ванной комнате молчу. Она, розовая, утопала в черном мраморе в полу, поигрывая десятками золотых краников, винтиков и душей.

На третий день звездной жизни трудно было представить, что возвращусь опять в генеральский номер. Лежу и думаю: все поздно, все не для меня, привыкать уже бессмысленно.

Я пела все те же «Пять минут» в новой аранжировке немецкого музыканта. Номер был сделан точно как в фильме, но, когда на репетиции я увидела квартет из черных певцов, которые на немецком запели: «Фюнф минут», — я так хохотала, ужас! Нет, правда, было очень весело и экзотично. А главное, совершенно неожиданно, непредсказуемо. Как же четко, по-немецки, муштровал режиссер, заставляя всех нас перемещаться по сцене — с точностью до сантиметра. Ни вправо, ни влево. Весь номер расписан заранее. А за кулисами я имела такой же личный вагончик, о котором я знала понаслышке. Это небольшая однокомнатная квартира на колесах. Сижу, смотрю на себя в зеркало и думаю: я сижу здесь, а на сцене ставят свет на дублершу. Да я сама могу постоять, я привыкла. Потом я один раз прохожу мизансцену, уточняют свет. И так три дня. Три репетиционных дня на одну песню! Немало! Зато результат!

Я «его» не видела, но когда пришла в гостиницу — фрау

Гурченко!!! И цветы в номере, и официанты как дома — все родные. Весь Берлин и Объединенная Германия смотрели прямую трансляцию по ТВ.

Пришла в номер, осмотрела «свои владения» — ну что? Что, Людмилка! Пора и «стоп» сделать. Ах, папочка, дорогой! Я бы отдала остаток жизни, только чтобы ты этот один день провел со мной рядом.

Такие мысли со мной были всегда в светлые дни, когда папины предсказания сбывались. Да, были и города, и страны, и номера роскошные, и призы, и ордена, и медали. Но почему же я пишу именно об этих трех днях? Да потому, что впервые в жизни получила немыслимый гонорар по тем временам. Да, думаю, и по этим. Тридцать пять тысяч немецких марок за одну песню. Во всех странах мы, звезды, имели суточные от Госкино. 3,8 доллара. Вот и крутись, скрежещи зубами перед витринами. А тут… Все купила, что хотела и чего не хотела. Что нужно и что хотела просто от удовольствия сказать: «Заверните». Купила дорогую аппаратуру. Купила по инерции. Забыла, что «дома» уже нет. Аппаратура долго стояла в молчании.

Наверное, и хорошо, что все произошло не в двадцать лет, а то бы, не дай бог, сошла бы с дистанции. Не знаю. Нет, вернусь в свой генеральский номер. И пойду по своей дороге — родной, знакомой и привычной. Это нужно смолоду, когда талант силен, в успехе. И тогда пусть за талант дорого платят. Обязательно. Талант — это редкость. Это дорого. И лучше «пока молодой». И тогда не так страшны темные полоски жизни. Ах, как я всем молодым желаю быть в «достойном» звездном полете!

Я знала, что деньги нам дадут небольшие, но сразу сказала, что сниматься у Эльдара я буду. Должна. Обязана. Обязана всей своей душой, судьбой, жизнью. Да, в концертах можно заработать за эти месяцы больше. Но…

В перерывах, когда мы могли перекусить, позвонить домой, Эльдара не было. Он ездил на приемы к людям, которые могли бы как-то помочь закончить недоснятые «Тихие омуты». Дошел до Примакова. Оттуда вернулся бледный, взволнованный. «Ах, что будет, то и будет… больше нет ни сил, ни… да ничего больше нет». Молчи, Люся. Забудь про себя. Вот рядом человек. Стольким миллионам и миллионам людей во всем мире он подарил вдохновение и веру в жизнь. Да черт бы все побрал! В одном Китае его «Вокзал для двоих» посмотрели девятьсот восемьдесят миллионов человек. Я сама там была. Я это читала. Я это видела на улицах. Ко мне подходили милые люди с раскосыми глазами. По мне, они все на одно лицо. Но ведь мы тоже для них все на одно лицо.

Но мое лицо они отличили. Значит, что-то близкое и родственное у них связано с моим лицом из эльдаровского «Вокзала».

А что говорить обо всех его картинах? Зрители знают все реплики из его фильмов, все смешные и драматические моменты. Эльдаровские картины как школьные стихи, которые никогда не забудешь. И вот он сидит, и собирает силы для съемки. Нет-нет, Элик, я тебя не подведу. От меня ты не получишь ни одного негативного оттенка.

Так это и было. Картина снималась в бешеном ритме, почти без выходных. Самым светлым, точным, собранным в этой картине был Эльдар. Ну и память… Через неделю после съемки объекта «Сторожка на кладбище» слышу телефонный разговор с монтажером фильма:

«Нет, вы посмотрите внимательнее третий дубль… да… там Ахеджакова великолепно упала… нет-нет, это именно в третьем…»

Ну?! Это ж надо! После этого объекта столько всего наснимали… Нет, он помнит, что именно третий… Ну Эльдар, ну зверь! И сама подбираюсь. Чтобы не опростоволоситься.

«Сторожка на кладбище»! Кладбище. В детстве, после войны, я испытывала свою силу воли. Я уже видела виселицы, видела горы замерзших голых трупов. Бомбежки, пожары, кровь. Меня уже с десяти лет этим не проймешь. Ходила я и босиком по снегу, как Зоя Космодемьянская. Но в двадцать лет поняла, что в капроне и туфельках ходить по снегу значительнее холоднее. Но это потом, через десять лет. А в девять!.. А смогу ли я одна вечером пройтись по кладбищу? А не выйдут ли мне навстречу скелеты? Надо попробовать. Страшно. Бежала оттуда во все лопатки. Сходила днем. Да нет, не страшно. Но ощущение вселенской пустоты, ощущение устрашающего, беззащитного одиночества осталось. Ну, тянуло меня туда. Тянуло, и все.

А сейчас, когда мы снимаем на Ваганьковском кладбище, я иду во время перерыва к своим Маркам. Я старая, без зубов, с красным носом, в розовом костюме «клячи». Меня никто не узнает. Даже музыкант, играющий на трубе, который всегда мне кивает. Я всегда даю ему денег. Помочь музыканту — святое дело. Во всех странах. А как же?

Как легко играть роль, когда не думаешь о фигуре, сутулой спине, не боишься сморщить лоб и забываешь об опущенных уголках рта. Уходишь в глубь своих мыслей… И никто из прохожих не отвлекает.

Мне идется свободно, я могу думать о своем горе. Сначала иду к маленькому Марку. Стою и не знаю, что ему сказать. Только

мои прежние фантазии стираются, растворяются. Ах, как мне мечталось… Я иду с ним под ручку. И все у меня спрашивают: «Скажите, разве у вас был еще и сын? Кажется, у вас одна дочь…» — «Да, дочь у меня одна. А это… а это мой внук… Его зовут Марк!!!»

И я вижу растерянные лица… И вижу, как они восхищаются статным красавцем, который влюбленно смотрит на Люсю…

Нет. Никогда этого не будет. Никогда. Какое противное окончательное слово.

А потом плетусь к папе Марку. Ну, ему-то мне всегда есть что сказать, о чем посоветоваться. Я ему рассказываю все. И про Марика, и про свою картину. И говорю, что стою не такая красивая, как он любит, но это роль. А в следующий раз я приду нарядной. Ах, папочка, «дорогенький мой». Ты бы, конечно, ничего сегодня не понял. Даже Лёля совсем отстала от жизни. Как много ты мне рассказывал о русском характере… «Помнишь, про Гогаля, про тройку?» Что-то происходит, папочка, с русским характером. Дрались, ругались, братались, открывали души и поддерживали друг друга… Что я могу тебе, папусик, сказать… Что-то все сыплется… Никто не доверяет друг другу… Горько.

Знаешь, я думаю, что сейчас на счастье могут надеяться только наивные мечтатели. А так… Предают друг друга. А близкие и, казалось, такие влюбленные — исчезают, растворяясь в толпе. Горько. Но вот и кончился обеденный перерыв. Надо «иттить» на работу. Как и в детстве с утра я слышала: «Надо иттить у школу, моя птичка, иттить грызть гранит науки. Ето главное». Так я, папочка, и живу. Только семья наша сильно изменилась. Прямо даже не знаю… не знаю, как и быть. Мама пишет мне письма, где говорит, что нас разлучили злые люди. Как будто она сама меня с двадцати лет не защищала от злых людей. Ей у Маши хорошо, там она нужнее. Но болят ноги, и ей нужен врач. В больницу она идти не хочет. Пусть, говорит, как раньше. А раньше, когда она жила со мной, врач, Костин друг по армии (впоследствии уехавший в Америку), приходил к ней. Он врач от природы. Поговорит с ней, выслушает ее внимательно, пощупает ноги, погладит по плечу. И смотришь, мама уже улыбается, грусть в глазах исчезает. И те лекарства, которые она еще вчера проклинала, как и всю нашу советскую медицину в целом, уже и хорошие, и полезные, и молодцы те, кто их изобрел.

«Ах, какой врач Янкель! Вот человек».

Врач, как и актер, — профессии, которым не обучишь. Гениальная Раневская так и сказала: всему можно в жизни научиться. А врач, учитель и актер… с этим рождаются.

В общем, нужен врач. Болят ноги. Это единственная в

мамином здоровье проблема. Никогда она не была в поликлиниках. Никогда не сдавала кровь, никогда не делала флюорографию. Однажды, после войны, — нет, папа еще не вернулся с фронта, значит, это было перед Победой, — у мамы начались сильные боли в животе. Телефонов у нас на Клочковской не было. «Скорой помощи» тоже не помню. Наши соседи, Соня и Шолом, остановили грузовик, и мы с мамой поехали в больницу. Какие больницы в разрушенном Харькове? Какое-то одноэтажное здание, наскоро отремонтированное. Окна открыты. Лето.

Маму положили, ей очень плохо, она бледная, стонет. Мне так страшно. Я ее никогда еще такой растерянной не видела. «Сиди здесь. Никуда не уходи», - приказала она мне перед тем, как ее увели внутрь больницы. Сижу. Жду. Думаю: если мама умрет, то меня отдадут в детский дом. Их, этих домов, тогда ого сколько было. И мама меня пугала: «Если будешь врать, отдам тебя в детский дом. Там ты увидишь, где раки зимуют». Мне так интересно было, а где же это «там» зимуют раки? От одного слова «зима» уже становилось страшно. Боюсь я детского дома.

Мамочка, дорогая, не буду врать, буду хорошей, «примерной», как говорила моя бабушка Татьяна Ивановна, мамина мама.

Сижу, погруженная в мрачные мысли. Как вдруг надо мной открывается окно: «Люся, держи!» И на меня летят мамино платье и рыжие босоножки на толстых каблуках. Моя мама в одном трико выпрыгнула из окна высотой около полутора метров. Я до окна не доставала. Я ловила вещи в воздухе. Это было ощущение волейбола. И мы побежали с ней быстро-быстро, подальше от больницы, от врачей. И все. Больше моя мама никогда в жизни ничем не болела. Ни на что не жаловалась. А папа не выходил из поликлиник. Ходил туда часто, с удовольствием, как в церковь. Носил то шоколад, то сигареты медсестрам и врачам.

И вот моя мама заболела. После смерти Марика она сломалась. Жизнь ее стала бессмысленной. Она его любила безумно. Она, наверное, не понимала его смертельной болезни. Стоило Марику ее обнять и сказать: «Дорогая моя бабуля», - как она молодела, становилась проворной и «чуковной» и не понимала, что он ее отвлекает, закрывает ей глаза.

Его не стало. Она прозрела. «Спаси меня, Люся». Да, да, святое дело. Какие могут быть обиды? До его смерти она мне писала: «Мне бы к врачу. Саше некогда. Маша не может». Я договорилась положить ее в больницу. Но в последний момент она отказалась: «Марик в Англии, Маша поехала к нему, я должна быть с Капошной». И вот его не стало. Мы еще раз договорились,

и Сергей отвез ее в хорошую, да чего там, самую лучшую больницу. Она взяла с собой блок сигарет. Поехала лечить ноги, а попала в реанимацию с легкими. Когда мы приехали к ней на следующий день, врачи показали снимок легких. Легкие были черные. Не было ни одного живого светлого места. Она терпела. И курила, курила, курила.

И теперь в обеденные перерывы я ездила с Сережей к маме в больницу. Эльдар понимал, если я опаздываю на съемку.

А теперь, если нормальный человек взглянет на меня со стороны. Приезжаю в гриме, с черными зубами, в темных очках, в приличной куртке, из-под которой выглядывает несчастная юбчонка моей «клячи». На меня смотрели в больнице с нескрываемым неприятием. То я «страшная, облезлая», то появлялась «красивой», с гривой кудряшек. И это у матери в реанимации! Ну, скажите, нормальная ли это дочь? Актриса. И этим все сказано. Это же безобразие. Это не по-человечески.

А кому объяснить, что сорвать съемку не имею права? Что кончилась советская власть. Каждая минута — деньги. И не государственные. Нет у меня положенных трех дней, если в моей жизни случится горе или беда. Время — деньги. И все. Начинаем, начинаем постигать законы загнивающего капитализма. Умри, но на работу выходи.

Сережа ездил к ней каждый день. Я через день. Глаза у нее были пустые. Жизнь кончилась. Марика нет. А больше ничто ее не интересует. «Прости, прости, Люся, меня. Прости. Спасибо. Спасибо!» А через три дня, когда вставили трубку в гортань и продели ее в легкие, она не могла говорить. В ее глазах был ужас! Вот больница и врачи, которых она больше всего в жизни боялась. «Вот как это, Люся, страшно», - говорили ее глаза. Говорить сама не могла. Только целовала руки Сереже и мне. Такого я от своей мамы не ожидала никогда. Мы в общем-то единственные, кто был рядом с ней постоянно.

Я много думала о маме. Ведь у нее и вправду не было жизни, кроме той, которую она провела рядом с папой. То было время, когда люди ничего не имели, кроме друг друга. У них ничего, ну абсолютно ничего не было, а они были счастливы! Потом война. Я, со своей славой и ударом об землю. У папы инфаркт. Любовь к Машеньке. Ее жизнь без папы, без любимой работы. И великое счастье — Марик! Вот и все. Остальное — нюансы, мгновения, периоды…

Похоронили ее рядом с папой. В одной могиле. Она была атеисткой. Ненавидела иконы, молитвы. При той больнице есть зал, где последний обряд расставания устроен как во всем мире — музыка, цветы, мрамор, торжественная аура. Все-все по

последнему слову. Моя мама в белом моем платке, который я когда-то купила в Эмиратах и так ни разу не надела. И на лбу лента, как хоронят верующих. Нет, пусть будет так. Папа верил:

«Не, што ни скажи, дочурка, а сила якая-то есь! Думаю, Бог, он де-то сидить на неби и усе видить…»

Бабушка, мамина мама, была религиозной. С утра до вечера молилась Боженьке и меня учила молитвам. Пусть уж и моя мама уйдет как верующая.

На похоронах мой зять, когда я протянула ему руку, отшатнулся от меня. Такой момент, когда все прощается… А что прощать? Что я ему не предоставила большую квартиру?

Ну и ладно. Маша при муже. И слава богу. А Марика пропустили, проморгали. И мне ничего не сказали. Ужас! Я знаю, что мы бы с Сережей бросились по всему миру в поисках его спасения. Когда я рассказала маме о том, как Марик приходил с другом… Она нахмурилась, о чем-то сосредоточенно подумала и резко сказала: «Лучше бы он у вас и остался…» Да что теперь…

И опять я в кадре. Мое настроение — это мое настроение. Моя роль — это картина. Это профессия. Это Эльдар. Это зритель, которому нет дела до моего настроения. Я на экране. Я персонаж. Я актриса.

А вот здесь, сейчас, я просто человек. Сейчас четыре часа утра. У меня бессонница. Я в любимом Минске на «Золотом шлягере». Вечером был концерт «Кинопанорама». Мои коллеги: Варлей, Волонтир, Голубкина, Анофриев, Зельдин, Боярский! Ах, какой концерт! Какая добрая публика.

Все переплелось: публика, свет, микрофон, коллеги, бессонница, боль в душе за Марика, маму… И опять «клячи», кладбище, могилы, кресты, тексты, сцены, картина, Эльдар, костюм, грим…

С художником по гриму Тамарой Сергеевной Гайдуковой не встречались после «Рецепта». Со своим непреклонным характером, она, как только пришло время, захлопнула навсегда двери «Мосфильма». А здесь, в этом «образе» (так говорит Тамара Сергеевна — «искать образ») нужна была только она. И я ее разыскала. Первый съемочный день, как правило в кино и как назло, был одним из финальных кадров всего фильма. Я появилась в красивом гриме, в синем платье с хвостом и в рыжей лисе. Обстановка в первый день нервная, многое не ладилось. Еще бы! Без подготовительного периода ворваться в большую картину!

— Что это за Марика Рекк! Мне нужна Люся Гурченко! — кричал Эльдар.

«Люся, спокойно», — сказала я себе. Ничего. Не обидно. Умение, умение выждать, переждать, перетерпеть, когда все вокруг подталкивает к обиде, суете, спешке. И мы с Тамарой Сергеевной, обе — несгибаемые и гордые — тихо и покорно удалились в гримерную. Прибрали высокое устройство надо лбом. Сделали его помягче. И все в порядке. Потом мы повторяли ту, первую прическу, и Эльдар уже все принимал. Тоже опыт. Чувствовать обстановку, атмосферу. Не забирать энергию у режиссера. На нем вся картина.

Зато на следующий день у меня середина фильма. Когда прошло одиннадцать лет с начала перестройки. Значит, моей «кляче» лет пятьдесят пять. А что такое пятьдесят пять лет женщине, которая махнула на себя рукой, ударилась после своей грешной бурной жизни в Бога? Живет интересами подруг. Одинокая, но прыткая, веселая, компанейская. Когда я появилась в таком виде… О! Какое удовольствие было на лице у Эльдара! Так оно потихоньку и пошло…

— Ну, теперь вы просто Пуся! — сказала Тамара Сергеевна, замазав мне зуб черным лаком.

И счастливая «Пуся» пошла с удовольствием в кадр.

С Эльдаром было три встречи. Начало пути. Середина жизни — «Вокзал». И вот «Клячи», третья дистанция, самая короткая. Я должна была с Эльдаром пройти эти пути. И я это сделала. В этой картине я его очень любила. Мы друг друга поразительно чувствовали, как будто прожили всю жизнь бок о бок. Как люди, которые прошли все испытания, размолвки, интриги, сплетни, зависть. Переступили через все и снова вместе.

Мы победили. Он все время чувствовал, что я живу с огромной неподъемной тяжестью на душе. Кладбище. Марик. Мама. И папа. Он это понимал! И мне было легче работать. Ведь как непросто жить, когда вокруг столько желающих «по-своему» оценить поступки, внезапно выскочившие слова…

Недавно Эльдар рассказывал мне, что только после «Карнавальной ночи», когда он выходил к зрителям, зал стоял. И вот после «Старых кляч» точно так же.

Глава девятнадцатая. Пока…

Стремительно меняется мир вокруг. Вчера катастрофа. Сегодня она лежит в папке будничных судебных разбирательств. Вчера смерть, сегодня похороны, завтра забыли.

Иногда, по утрам, я просыпаюсь с мыслью, что мое детство проходило на другой планете. Неужели мне только казалось, что любовь, верность, преданность, незыблемая вера в идеалы справедливости и папина доброта — это лишь «атрибуты», присущие определенному времени. Времени Прошедшему?

Есть, есть еще эти прежние бесценные чувства. Но мало. Это уже дефицит. Ведь летала же на волнах этих чувств! Теперь не летаю. Теперь только слегка подпрыгиваю. Осторожно. С оглядкой. Или шажком.

Но глубже… Нет, не хочу. Не могу больше глубже. Я так устала от своего сердца, которому всю жизнь были необходимы сильные чувства. Да успокойся ты, сердце! Ну почему тебе не хочется покоя? Что делать, если этому сердцу грустно все видеть без иллюзий? Все видеть с беспощадным реализмом?

Иногда я приказываю себе: остановись! Стоп. Раз нет прежнего неистовства, безумства и прекрасной глупости — стоп, Люся! Дай отстояться чувствам, ощущениям, которые вызывает сегодняшний день. А потом, потихоньку, все выстраивай заново, по-новому. Наверное, так? Может быть, в этом я открою секрет того, что происходит сегодня за окном? Не знаю.

Почему так поздно приходит страшное беспокойство, которое еще вчера не объяснить? Не знаешь таких слов. Ищу слова и не могу их найти. А если их найду, тогда все и пойму? Не понимаю. Не понимаю, почему я так долго не беспокоилась от встречи с возрастным моментом. А проще, почему не думала и не готовилась к этому неизбежному? Хоть выгляди ты на тридцать пять, а мозги, организм, прожитая жизнь? Куда это денешь? Уходят в свою жизнь дети. И не надо им мешать. Когда-то я читала, что сам Карл Маркс сказал о том, что от своих детей ничего не надо ждать. Все, чего вы ждете от детей, они берегут и отдадут своим детям.

Не всё и не все выдерживают испытание временем. Рассыпаются, распадаются дружбы. А казалось, дружба была навсегда. Нет, навеки. Только такими максималистскими, масштабными категориями мыслилось. Наверное, я сама во многом виновата. Была горяча, а следовательно, опрометчива. Но не на кого было положиться. Не на кого. Некому было подсказать. Что делать? Как быть?

Ведь в Москве меня с семнадцати лет никто не опекал, не пестовал, не обращал в свой образ жизни, в свою веру. Да я и не поддавалась никому. Это правда. Я взяла свою форму, внутреннюю и внешнюю, из воздуха того времени, в котором жила. Жила на интуиции. А как бывало страшно. Лежишь в какой-нибудь гостинице, в городке, где вечная мерзлота, или в местах, где «золото роют в горах», готовишь свои силенки для «улыбки без сомненья» и не смотришь на серые унылые стены, которые навевали тоску и безнадежность.

Нет, не прижилась я в Москве. Это я открыла недавно, когда на встрече в «Общей газете» собрались москвичи. Славные, известные москвичи, которые или родились в одном роддоме, или с детства гуляли на знаменитой Собачьей площадке. А я сидела, и мне нечего было вспомнить чего-то такого родственного, московского. Институт, общежитие, углы, комнаты… А коренные москвичи говорили на своем, особом московском языке. Все знали друг друга с детства. Их родители дружили. Их лечили общие врачи.

Когда я переехала в Москву, у меня часто были головные боли, часто была рассеянна и непунктуальна. Мной овладевали съеженность, настороженность от отсутствия любви, тепла и привязанности. Я оторвалась от родного дома. От папы, от мамы, от школы, от Харькова. Я испытывала настоящую потребность во внимании и симпатии. Не хватало любви!

И вот же парадокс! Знавшие меня по Харькову даже ни на йоту не представляли, что происходило в моей душе. Ко мне относились скептически. Само предположение, что одноклассница, соседка по двору снимается где-то на «фабрике грез» (ставшая такой знаменитой) — и страдает от нехватки любви? Само это предположение невероятно. Ведь мне так повезло!

Наверное, война в наибольшей степени укрепила в моем существе свойство особого рода выживания, которого некоторым приходится ждать годами.

Раз выпрыгнула из глубины — будь любезна, существуй на волне. О, какое это существование… Это борьба. Изматывающая, где бьют ниже пояса, подставляют подножку, улыбаются ненавидя. Я сейчас задаю себе вопрос: если бы я это знала, когда бегала по Клочковской и Сумской, по Благовещенскому базару и Рымарской, — бросила бы я отчий дом? Бросилась бы я в этот водоворот? Да! Я бросила бы отчий дом и бросилась бы в этот водоворот, не боясь опасностей, не боясь сломать себе голову и переломать ноги. Что и случилось.

А иначе что такое актриса? Как это определить? Большой и

мудрый русский артист Борис Андреев определил лаконично и точно: «Трудно придумать душу более одинокую, чем артист».

Как хорошо это ему было знакомо. С бухты-барахты, с кондачка такую горестную мысль не сформулируешь. Такие мысли приходят, когда ты в нокдауне и тебя обходят или перешагивают. А ты стараешься не видеть, не замечать. А вынужден сжиматься и выжимать из себя все, чтобы перетерпеть, взять на вооружение и больше не падать.

И все же, как нужно было мне в начале пути прочесть нечто подобное тому, что вы сейчас читаете, уважаемые зрители. Ведь ни разу ни в чьих-либо воспоминаниях, ни в кино, ни в газетах, ни в театре, ни на лекциях в Институте кинематографии — никто ни разу не озвучил истинную повседневную жизнь артиста. Никто. Ни разу. Было светлое будущее. Светлое и прекрасное. Благоухали цветы, раздавались несмолкающие аплодисменты. И казалось, что актером всегда владела лишь великолепная усталость. И съемки, и спектакли. И поклонники, и поклонения. И безбрежные возможности купить себе «что хошь», хошь дворец хрустальный. Такое было время. Все горькое накрывалось плотным покрывалом.

Время сорвало покрывало. Как прожить, чтобы не исчезнуть в густом тумане будней? Не знаю. Учусь.

Все еще учусь.

Когда потом, после очередного нокдауна или предательства я «вставала» и смотрела на свое лицо, оно не было усталым от происшедшего. Оно было усталым, казалось, навсегда. И непонятно по каким причинам, наверное от переизбытка жизненной энергии, в один прекрасный день все то, совсем-совсем вчерашнее, горькое представлялось прекрасным и переносимым. И я становилась закаленнее. Мой панцирь твердел. Я была уже опять готова к бою.

Иногда мне кажется, что я снималась постоянно. С детства. Я снималась, когда пела, когда говорила с кем-то, когда читала книгу, когда ходила по любимому полю. Мне не нужна была съемочная площадка. Мне нужен был лишь источник света: солнце, лампа, абажур, фонарик… Все, что горит и зажигается.

Опасная профессия актрисы. Надо уметь проваливаться. И провалы, и драма одиночества, о которой написал Б. Андреев, — это часто коллективный «труд» людей, коллег. После того как постоишь у «позорного столба» — после этого ничего уже не страшно.

Ну, что я «дую» и «дую» про свою профессию. Дорогие зрители! Я отвечаю на ваши вопросы в ваших письмах. Я отвечаю тем, кого интересует профессия актрисы в эволюции, как в песне:

«Я опущусь на дно морское, я поднимусь под облака».

После выхода книги «Мое взрослое детство» меня поразил взрыв активности людей. Тысячи писем. Эта книга меня тогда спасла. Она исключила все болевые вопросы. «Почему вы не снимались столько лет?», «как выжили?», «чем жили?»… А один вопрос взбудоражил меня, как никакой другой: «Как вы выбрались из этой глубокой темной ямы забвения?» Это взгляд со стороны. Как точно и горько. А я все барахталась, карабкалась к свету, не представляя, что нахожусь в яме. В пьесе, которую я сейчас репетирую, есть слова: «Актеры умирают раньше своей естественной смерти… От тоски, ненужности. Они умирают тогда, когда их забывают».

Я написала продолжение «Моего взрослого детства». «Аплодисменты». Прекрасные ваши письма. Вы делились со мной всем. Всем тем, чего не расскажешь ни маме, ни папе, ни мужу…

Оказалось, что многие были потрясены открытостью, откровенностью. В Ярославле одна красивая женщина в роскошной норковой шубе (видимо, жена какого-нибудь высокопоставленного чиновника) встретила меня в гостинице, пряча лицо в воротник, стараясь быть неузнанной. И единственным ее вопросом было: как вы не побоялись, решились быть столь открытой, откровенной? И как я ей ни объясняла, что мне нечего скрывать, она опять: «Ну, как вы так откровенно?!» И во всех письмах — то же. Значит, от актрисы такое было впервые.

«Как вы начали писать?» Да под напором Андрея Кончаловского — пиши и пиши про папу, про войну. После моих рассказов о папе на съемках фильма «Сибириада». И вот я села. ПИСАТЬ! Уже смеюсь. Сначала я пользовалась амбарными книгами по семьдесят копеек. И писала каллиграфическим почерком. Потом, очень скоро, не выдерживала и семенила до неразборчивых микроскопических закорючек. Потом злилась, что ничего не могу разобрать. Потом плюнула и перешла на свой естественный размашистый, бесовской, но удобный почерк. А что приходило в голову хорошего после — то и сбоку, то и поперек, то и между строчками. И ничего не могла разобрать.

Что я испытываю сейчас? Любопытство, острый интерес к тому, что происходит вокруг. Невероятные перемены в судьбе моих друзей, близких. Если люди бросают дом, друзей, уезжают неизвестно куда и зачем… Значит, «вдоль дороги все не так, все не так, ребята».

И вот не так давно занесло меня на любимый Страстной бульвар. Села я на скамеечку и: «А не совершить ли мне поездку? Нет, не в дальние края, а в себя, в глубину своей Души?»

Страстной бульвар. Вокруг все реставрируется и обновляется.

Москва строится, хорошеет, светится. Наконец-то! Теперь никто не скажет, что Москва самая темная столица в мире. Нет, нет больше «России во мгле». Едут почти одни иномарки. Кинотеатр «Россия» теперь «Пушкинский», где идут одни американские фильмы. Уже это давно не диковинка. Диковинка, если смотрят наш русский фильм. Да и публика около «Пушкинского» другая. На глазах с каждым днем проступают черты нового времени, новой эпохи. Во всем.

Уходят друзья и коллеги. Уходит целое поколение. Нет очень многих свидетелей чьих-то триумфов, провалов и успехов. И совсем неудивительно, что у кинотеатров другие зрители. Изменилось настроение прежней постоянной аудитории. Это печальный момент провала нашего кино.

Страна, общество разрушились и продвинулись вперед одновременно. Не все смогли встроиться в эту очередь у кинотеатра. «Нет денег», «Неинтересно», «Что было, того уже не будет, а что есть, то уже для других, не для нас».

Какая жестокая реальность. Ведь очередь в кинотеатр, желание познать мир, все живое, все интенсивное — это свойственно молодым. Я смотрю в глубь своей души и ощущаю, что реже и реже взбрыкиваю, реже мечтаю, реже хочу выходить в «свет». «Свет» мне иногда нравится только на короткое время. Но и там я сразу замечаю неотразимых, ультрасовременных особ. Эффектно! Очень. Но мое воображение неожиданно превращает их в старомодных. И я вижу их старомодными.

О, сколько я наблюдала такие метаморфозы. Иногда хочется войти в освещенный зал, где играет музыка, где красивые одежды и разные вкусные штучки. И смех, шутки, остроты. Посмотришь — а вокруг молодые, свободные, бесстрашные.

Значит?..

Актриса! Держи себя на градусе! Другого выхода нет. И с этим все ясно. Не имеешь никакого права быть минорной, притихшей и придавленной. Держись за чудное понятие «надежда». Держись!

Тут как-то возвращаемся с Сергеем Михайловичем со спектакля «Бюро счастья», бурно обсуждаем, что и как. Выходим из лифта и «привет»: у двери сидят две девушки. Как прошли, откуда знают код? Я их вижу впервые.

— В чем дело? Кто вы и что вам нужно?

— Мы шьдали вас.

Нерусские.

— Вы из Таллина или из Риги?

— Нет, мы ис Германии.

Оказалось, что они здесь в МГУ изучают русский язык. Одна

еще только-только начинает учить, вторая же, Дорин, вполне прилично говорит. А главное, смотрит на меня так внимательно, так пристально, что я немедленно соображаю, что говорить с ней надо просто и доступно. Ну, что ж стоять тут, у двери… Пошли в квартиру. Сергей Михайлович поставил чай, стал накрывать на стол. А мы знакомились.

Приехали они из небольшого городка Росток, живут в общежитии. Дорин в восторге от Москвы, от людей, от русского языка. В восторге от Пушкина и Толстого. Она разрумянилась. А я растаяла от счастья, что моя Родина так прекрасна и талантлива. Она прочитала мою книгу «Аплодисменты». Какая прелестная умная девочка. А ей всего восемнадцать лет.

Боже мой, какие взрослые дети! Я же в ее годы была круглой дурищей. Разве я могла бы вот так, свободно, прийти к актрисе в дом, говорить на ее языке, интересоваться ее жизнью. Мы в десятом классе бегали по Сумской туда-сюда (это место на главной улице Харькова называлось «стометровкой») в надежде увидеть любимого артиста из Театра имени Шевченко, чтобы потом долго его сопровождать шагах в двадцати от него.

> «Лёль, и што они там делають на етый стометровки? Ты бы, Лёль, проследила за ими. Ето ж што ш такое — туда-сюда, туда-сюда…»

Дальше «стометровки» нас не хватало.

Я показала Дорин бронзовое зеркальце с ангелом, что папа привез мне с войны. Она смотрела на красивую вещицу внимательно и серьезно. Мне было очень интересно понять, о чем в это время думала немецкая девочка Дорин. Наверное, ее прадедушка воевал… И что привлекло ее в России? Она сказала своей подружке что-то на немецком, но я не услышала ни одного знакомого немецкого слова. Подруга пошла в прихожую и принесла Дорин ее сумку. Дорин дала мне мою книгу для автографа, диск «Бюро счастья» и все остальные диски. Я подписала все и сказала: «Биттэ шён, my dear Дорин».

Видно, от моего нелепого смешения двух языков она с подружкой засмеялась громко и очень заразительно. Я тоже смеялась и ничего, ну ни одного немецкого слова не могла по такому случаю вспомнить. Только и крутилось: «Хендэ хох… Гитлер капут». И от этого мне еще веселее было.

— А это вам сувэнир.

Она дала мне красивый пакетик, а в нем… петушок на палочке!

Истощились к концу книги слова. Вот тебе и стоп, Люся. Не знаю, какими словами описать этот «сувэнир» от немецкой

девушки, которая прочла книгу, где, наверное, ей было интересно, а что же пережила русская девочка в войну. И что такое для ребенка война. И что именно в те страшные годы формировалась и выстраивалась моя мечта — быть актрисой. И Дорин не пропускала ни одного моего спектакля, ни одного концерта в Москве. И всегда с фотоаппаратом.

А однажды она после спектакля ждала меня и горько плакала. Оказывается, кончилось ее обучение, и она возвращается к себе, в Германию. Но ничего, она все сделает и опять приедет в Москву. И через время я получаю посылку: диск с песнями и портретом Марики Рекк. А в письме: «Наш город — тихий, чистый. Но я все равно скучаю по Москве. Много читаю русских книг. Только моя бабушка не разделяет моего увлечения русским языком».

Значит, я правильно поначалу подумала. Вот же, как все переплелось… Она мне, эта немецкая девочка Дорин, очень родная. А я ей так интересна.

Но мир переплелся еще парадоксальнее и заковыристее.

Совсем недавно Дорин на несколько дней приезжала в Москву и передала мне пленку. Дома поставила я эту пленку. И детский немецкий хор запел: «О, танненбаум, о, танненбаум. Ви грюн зинд дейне блеттер». Ну Дорин! Ну и Дорин! Этой песне меня научила в годы оккупации девочка по имени Зоя Мартыненко. Ее мама на целый день уходила на базар и запирала ее в комнате. И мы с ней разговаривали через дверь. Я в коридоре. Она в закрытой комнате. Мы громко пели вдвоем эту песню, не зная, о чем она. Об этом в одной из глав «Моего взрослого детства».

В Америке, два года тому, у меня были концерты. После концерта в каждом городе подходят люди, которые когда-то меня видели или были знакомы со мной. Чаще, конечно, мои, харьковчане.

— Вы… ты, Люся, меня, конечно, не узнаешь. Я… Зоя Мартыненко.

Передо мной, со вкусом одетая, стояла очень милая женщина. Рядом муж. Я никогда не вдаюсь в подробности, не задаю вопросов: почему уехали и т. д. Уехала и уехала. Значит, так надо было. А может быть, я уже к этому привыкла? Вначале интересно было. А со временем… Очень много людей разъехалось по миру.

Оккупация, Зоя Мартыненко, «О, танненбаум», Дорин…

Дорин одолела такую толстую книгу «Аплодисменты». Ей-богу, есть в этом что-то, чему можно радоваться, что есть момент счастья.

Я у нее спросила: «Кто тебе посоветовал прочесть мою

книгу?» Она сказала, что в МГУ все читали и сказали, что немецкой группе это будет особенно интересно.

А лет десять тому у меня была другая история. Звонит мне журналистка с просьбой прочесть рукопись, подготовленную на основе моей книги «Аплодисменты» для иностранцев, изучающих русский язык.

Я помню, что согласия на публикацию той рукописи не дала. Пожелтевшие сорок семь страниц. Конечно, здорово бы напечатать ее целиком. Сразу скажу, что карьера у этой журналистки сложилась хорошо. Она работает завотделом читаемой газеты. По сегодняшним законам «свободы слова» все правильно. Вот из ее приписки к рукописи: «Прошу извЕнить за некоторые исправления и «грязь» чернового варианта текста. С уважением…»

Когда я прочла те страницы, мне стало так себя жалко. И вот это всё? И это так про папу, про войну?

«Девочка томится в очереди за подачкой. Ее сильный и веселый отец воюет на фронте. Почему она вспоминает об отце, когда надо быть ловкой и хитрой и не пропустить свою подачку? Очень хочется есть».

«Трогательные истории из жизни раненых солдат, воров, исполненные звонким детским голосом, заставляли раскошелиться измученных войной людей».

«Так начинала свои первые публичные выступления известная киноактриса Людмила Гурченко. Экзерсисы песенного жанра складывались в опыт».

«Здесь следует сделать маленькое отступление и сказать несколько слов о ситуации в кино в конце пятидесятых годов. На нем еще лежит тень Сталина, от которой трудно избавиться».

«Пойдем-ка со мной». Иван Пырьев решительно взял ее за руку и повел в дальнюю комнату. Там «загорала» группа, и это означало, что работа не шла. «Попробуйте эту куколку еще раз». — Мастер, как и подобает человеку его ранга, был немногословен».

Это для иностранцев. Им все будет понятно про «куколку» и тень Сталина, которая еще на всем лежит? И что мастер повел ее в дальнюю комнату…

Прочти эту мою жизнь в сорок семь страниц… И Дорин никогда не подарила бы мне прозрачного апельсинового петушка на палочке. Она никогда бы не разыскала «куколку». Да что там…

Я на любимом Страстном. На своей скамеечке. Осень. Она для меня всегда печальная. Окрасится ненадолго золотым и красным, а затем снова все дымчатое и серое. И туман. И так больше полугода. Нет, это не Харьков. Все-таки я часто думаю о

девочке, о моем далеком «я»…

И все же иногда случается то, чего и не предполагалось. Для меня так поздно наступил час прозрения. И тут я в папу.

«Лёль! Смотри, якой я стал умный. Не пью, не курю, тибе по дому помогаю з усею душой!»

«Марк-котик, так сколько тебе лет?» — «Ну, Лёль, дело же не в етум. Главное, я другой».

Жизнь соткалась у меня из мгновений. Очень-очень разных. Самые прекрасные и мощные сгустки могут у кого-то быть в первой половине жизни, а у кого-то и в последней. А я? Может, лет через… ЕБЖ (в дневниках у Л.Н. Толстого эта аббревиатура расшифровывается так: Если Буду Жив), я раскроюсь для вас, дорогие зрители, совсем с другой стороны?

Вот недавно проснулась и сразу вскочила! Маюсь. Кручусь — не терпится! Да что же это тебе все не терпится? Ты же уже знаешь, что это «не терпится» потянет за собой неподъемный шлейф, пестреющий прежними иллюзиями, крушениями, придумками и новыми надеждами на «а вдруг»… Что же мне делать? Как остановить это «не терпится»? Нет, не могу. Поздно. Уже начинает бешено стучать сердце. Вот оно уже подпрыгивает к горлу, вот-вот выпрыгнет… А в подкорке души, в серых клетках мозга уже звучит мелодия, интонация, выкручиваются руки и ноги… Вот они уже все собрались и стучатся. И просят облечь их в «образ».

Да, да, да! Облечь их в образ ушедшего века… Есть! Знаю! Поехали!

> «Успокойсь, дочурка. И помни: хорошега человека судьба пожметь-пожметь да и отпустить!»

Да, это так. Но время другое, папочка, совсем другое.

«Прощай, Двадцатый…» Хорошее название. Нравится.

А сейчас я уже бегу на репетицию с оркестром. И знаю уже, что скажу в начале этого спектакля: «Дорогие зрители! Я живу и работаю для вас! Когда я в кадре, я предощущаю, как вы улыбнетесь или заплачете, глядя на экран. А когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты — о! Это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев, как наркотик, как водка, как адреналин! Спасибо за то, что вы пришли!»

Фух… Осень. Октябрь. Я это сыграю в ноябре, 12 ноября, в день своего рождения.

Солнце греет голову. Редкая осенняя истома в душе.

«Мне приснилось небо Лондона…» — доносится чистый завораживающий голос Земфиры из машины.

Я оглянулась. О, сколько машин. Опять пробка. Вот жизнь…

Живем, жалуемся, а машин… Уже давно не говорят «час пик». Пробки. Пробки, пробки, пробки. Всюду пробки.

Земфира. Ее голос, интонация «задумчивость мою в минуту разогнать сумели». И наступила, и разлилась по телу прекрасная уверенность, что всё в моей жизни — и дома, и на сцене, — нормально.

Люся, стоп. Разве только нормально? Нет, даже хорошо. Хорошо — и вполне. По сегодняшнему дню.

Да, все у меня хорошо складывается. Пока…

Фильмография

«Дорога правды», реж. Я. Фрид, 1955 — Люся.

«Сердце бьется вновь», реж. А. Роом, 1956 — Таня.

«Карнавальная ночь», реж. Э. Рязанов, 1956 — Лена Крылова.

«Девушка с гитарой», реж. А. Файнциммер, 1958 — Таня.

«Роман и Франческа», реж. В. Денисенко, 1960 — Франческа.

«Пойманный монах», телефильм, 1960 — Карродини.

«Балтийское небо», реж. В. Венгеров, 1960 — Соня Быстрова.

«Гулящая», реж. И. Кавалеридзе, 1961 — Христя Притыка.

«Человек ниоткуда», реж. Э. Рязанов, 1961 — Лена.

«Укротители велосипедов», реж. Ю. Кун, 1963 — Рита Лаур.

«Женитьба Бальзаминова», реж. К. Воинов, 1964 — Устинька.

«Строится мост», реж. О. Ефремов, Г. Егиазаров, 1964 — Женя.

«Рабочий поселок», реж. В. Венгеров, 1965 — Мария Плещеева.

«Нет и да», реж. А. Кальцатый, 1966 — Люся Кораблева.

«Взорванный ад», реж. И. Лукинский, 1967 — Грета.

«Белый взрыв», реж. С. Говорухин, 1969 — Вера Арсенова.

«Москва в нотах», телефильм-концерт, реж. Х. Лизендаль, И. Гостев, 1969.

«Дорога на Рюбецаль», реж. А. Бергункель, 1970 — Шура Соловьева.

«Мой добрый папа», реж. И. Усов, 1970 — Валентина Николаевна.

«Один из нас», реж. Г. Полока, 1970 — Клава Овчарова.

«Эксперимент», телефильм, 1970, — майор милиции.

«Корона Российской империи», реж. Э. Кеосаян, 1971 — шансонетка.

«Тень», реж. Н. Кошеверова, 1971 — Юлия Джули.

«Карпухин», реж. В. Венгеров, 1972 — жена прокурора.

«Летние сны», реж. В. Кольцов, 1972 — Галина Сахно.

«Табачный капитан», телефильм, И. Усов, 1972 — мадам Ниниш.

«Цирк зажигает огни», телефильм, реж. О. Воронцов, 1972 — Лолита.

«Дача», реж. К. Воинов, 1973 — «Степаныч».

«Дверь без замка», реж. А. Бергункель, 1973 — буфетчица.

«Дети Ванюшина», реж. Е. Ташков, 1973 — Клавдия Щеткина.

«Открытая книга», телефильм, реж. В. Фетин, 1973 — Глафира.

«Старые стены», реж. В. Трегубович, 1973 — Анна Георгиевна.

«Строговы», телефильм, реж. В. Венгеров, 1974 — Настя.

«Соломенная шляпка», реж. Л. Квинихидзе, 1974 — м-ль Бокардон.

«Дневник директора школы», реж. Б. Фрумин, 1975 — Нина Сергеевна.

«Шаг навстречу», реж. Н. Бирман, 1975 — Валентина Степановна.

«Небесные ласточки», телефильм, реж. Л. Квинихидзе, 1975 — Корина.

«Двадцать дней без войны», реж. А. Герман, 1976 — Ника.

«Преступление», реж. Е. Ташков, 1976 — Люба.

«Семейная мелодрама», реж. Б. Фрумин, 1976 — Валентина Барабанова.

«Сентиментальный роман», реж. И. Масленников, 1976 — Мария Петриченко.

«Мама», реж. Э. Бостан, 1976 — Коза.

«Красавец-мужчина», реж. Н. Микаэлян, 1977 — Сусанна.

«Обратная связь», реж. В. Трегубович, 1977 — Вязникова.

«Острова в океане», телефильм, реж. А. Эфрос, 1978 — первая жена Хадсона.

«Бенефис Людмилы Гурченко», телефильм, реж. Е. Гинзбург, 1978.

«Пять вечеров», реж. Н. Михалков, 1978 — Тамара Васильевна.

«Сибириада», реж. А. Кончаловский, 1978 — Тая Соломина-старшая.

«Уходя — уходи», реж. В. Трегубович, 1978 — Алиса.

«Познавая белый свет», реж. К. Муратова, 1978 — незнакомка.

«Особо важное задание», реж. Е. Матвеев, 1980 — Эльвира.

«Идеальный муж», реж. В. Георгиев, 1980 — миссис Чивли.

«Любимая женщина механика Гаврилова», реж. П. Тодоровский, 1981 — Рита.

«Отпуск за свой счет», реж. В. Титов, 1981 — Ада Петровна.

«Полеты во сне и наяву», реж. Р. Балаян, 1982 — Лариса Юрьевна.

«Вокзал для двоих», реж. Э. Рязанов, 1982 — Вера.

«Любимые песни», телефильм, реж. Е. Гинзбург, 1982.

«Шурочка», реж. И. Хейфиц, 1982 — Раиса Петерсон.

«Магистраль», реж. В. Трегубович, 1983 — Гвоздева.

«Рецепт ее молодости», реж. Е. Гинзбург, 1983 — Эмилия Марти.

«Любовь и голуби», реж. В. Меньшов, 1983 — Раиса Захаровна.

«Прохиндиада, или Бег на месте», реж. В. Трегубович, 1984 — Екатерина Ивановна.

«Аплодисменты, аплодисменты», реж. В. Бутурлин, 1984 — Гончарова.

«Герой ее романа», реж. Ю. Горковенко, 1984 — песни за кадром.

«Претендент», реж. К. Худяков, 1986.

«Вторая попытка Виктора Крохина», реж. В. Шешуков, фильм снят в 1977 году, вышел на экраны в 1987-м — Люба.

«Мечтатели», реж. С. Микаэлян, 1987 — Аполлинария Спенсер.

«Дорога в ад», телефильм, 1988 — Марта Хольман.

«Ожог», реж. Г. Глаголев, 1988 — Анна.

«Молодой человек из хорошей семьи», телефильм, 1989 — мать Арины.

«А был ли Каротин?», реж. Г. Полока, 1989 — Курнатова-Борджиа.

«Имитатор», реж. О. Фиалко, 1990 — певица.

«Нелюдь», реж. Ю. Иванчук, 1990 — Зоя Михайловна Шерстобитова.

«Наша дача», телефильм, реж. Г. Шенгелия, 1990 — Людмила Козлова.

«Прости нас, мачеха Россия», реж. Ю. Елхов, телефильм, 1991 — Наталья Зимина.

«Виват, гардемарины!», реж. С. Дружинина, 1991 — Иоганна Ангальт-Цербстская.

«СекСказка», реж. Е. Николаева, 1991 — Диана.

«Гардемарины-3», реж. С. Дружинина, 1992 — Иоганна Ангальт-Цербстская.

«Белые одежды», реж. Л. Белозорович, телефильм, 1992 — Антонина Прокофьевна Туманова.

«Прощальные гастроли», телефильм, 1992 — Нина Владимировна.

«Моя морячка», реж. А. Эйрамджан, 1992.

«Послушай, Феллини!..», реж. М. Швейцер, 1993 — Вера.

«Люблю», телефильм, реж. Ф. Бондарчук, 1993.

«Прохиндиада-2, или Бег на месте», реж. А. Калягин, 1994 — Екатерина Ивановна.

«Бенефис Людмилы Гурченко-2», телефильм, реж. Е. Гинзбург, 1994.

«Грустная пластинка», телефильм, реж. Е. Гинзбург, 1995.

«Старые песни о главном-2», 1996.

«Старые клячи», реж. Э. Рязанов, 2000.

«Старые песни о главном (постскриптум)» — 2000.

«Женское счастье», телефильм, реж. В. Пичул, 2000 — Маргарита.

«Прощай, Двадцатый…», телефильм, реж. А. Шадров, 2000.

Работа в театре

«А чой-то ты во фраке?» (по мотивам рассказа А.П. Чехова «Предложение»), театр «Школа современной пьесы», реж. И. Райхельгауз, 1991 — невеста.

«Чествование» (Б. Слейд), Театр Антона Чехова, реж. Л. Трушкин, 1993.

«Поле битвы после победы принадлежит мародерам» (Э. Радзинский), Театр сатиры, реж. А. Житинкин, 1995 — по наст. время — Инга Михалева.

«Недосягаемая» (С. Моэм), Театр Антона Чехова, реж. Л. Трушкин, 1997 — Каролина Эшли.

«Поза эмигранта» (Г. Слуцки), Театр Антона Чехова, реж. Л. Трушкин, 1997.

«Бюро счастья» (В. Лебедев, А. Бородянский, Ю. Ряшенцев), творческое объединение «Дуэт», реж. А. Житинкин, 1998 — Маргарита.

«Мадлен, спокойно!» (В. Асланова, Д. Тухманов), творческое объединение «Дуэт», реж. Р. Козак, 2001 — Мадлен Вердюрен.

Дискография

«Бенефис», 1980.
«Песни войны», 1982.
«Любимые песни», 1984.
«Да не верится», 1987.
«Люблю» (CD), 1994.
«Хорошее настроение» (CD), 1996.
«Грустная пластинка» (CD), 1996.
«Песни войны», «Любимые песни» (CD), 1997.
«Бюро счастья» (CD), 1998.
«Прощай, Двадцатый…» (CD), 2001.
«Музыка и песни к спектаклю «Мадлен, спокойно!», 2002.